



Ася Пекуровская
Когда случилось петъ С.Д. и мне

Ася Пекуровская

Когда случилось петъ С.Д. и мне



Сергей Довлатов
глазами первой жены



41361

Пекуровская А./Когда случилось п

45

20.08.01

SYMPOSIUM

СУПЕРОБЛОЖКА

SYMPOSIUM

Я родилась в Ленинграде 29 февраля 1940 года, закончила филологический факультет Ленинградского университета и в 1973 году эмигрировала в Америку.

В нью-йоркском аэропорту меня встретил Иосиф Бродский, который, рассказывая о здешней жизни, среди прочего сказал: "Учти, что в Америке, приглашая женщину на ужин, мужчина приглашает ее в постель". За двадцать восемь с лишним лет жизни в Америке я так и не дождалась этого феминистического приглашения. В какой-то момент ожидание превратилось в мечту.

В 1974 году я попала в американские академические круги, от которых ожидала чего-то вроде оливковых рощ, где бы прогуливались праздные люди, проводящие досуг в споре об умозрительном. В университете, в котором оказалась я, велся учет единиц ночных бдений и рождения мистических печатных трудов.

В 1983 году я закончила труд под названием "Стерильность метода. Пять предисловий к пяти книгам. Достоевский, Кант, Леонтьев, Набоков, Блок". Среди читателей сего труда, написанного по-английски, никого кроме самого начинающего автора не значилось.

Начиная с 1983 года мне привелось окунуться в деловую жизнь Америки – передача владения недвижимостью, проектирование и строительство.

С 1996 года занимаюсь только сочинительством.

В 1998 году я закончила предлагаемую читателям книгу. Ее окончательное название "Когда случилось петь С.Д. и мне" рифмуется со строчкой из Б.Л. Пастернака "Когда случилось петь Дездемоне" без получения согласия у наследников поэта. Число читателей же перевалило за дюжину. Появились поклонники. Однако по силе эмоций ненависть к этому сочинению затмевает любовь.

В 2001 году я закончила рукописный вариант книги под условным названием "Механизмы желаний у Федора Достоевского" (550 стр.). Эта работа может быть уподоблена работе французских стеклодувов. В качестве исходного материала была использована глава о Ф.М. Достоевском из книги "Стерильность метода". Читательский круг состоит пока из одних доброжелателей. Конечно, помогает отсутствие естественного отбора.

В 2003 году завершила работу над томом о В.В. Набокове под названием "Две камеры-обскуры", являющимся стеклодувным вариантом соответствующей главы "Стерильности метода".

В 2005 году закончила сочинение под названием "Метафора Иммануила Канта в хореографии Агриппины Вагановой".

Умерла в Америке 29 февраля 2006 года. Похороны оказались пышными, но немногочисленными. Присутствовали старуха-мать и состоятельный муж, уже построивший планы на остаток жизни. Ком земли упал на единственный цветок, приколотый к приглашению на ужин по формуле Иосифа Бродского.

К 25-летию со дня смерти С.Д. Довлатова в 2015 году планирую ответить на вопрос, интересующий всех читателей: "Помогла ли Довлатову его слава в России добиться бессмертия или ему приходится уныло повторять свой земной опыт?"



9 785890 911605

КЛАПАНЫ СУПЕРОБЛОЖКИ

Ася Пекуровская

Когда случилось несъё С.Д. и мне

Когда случилось петъ С.Д. и мне

Ася Пекуровская

Когда случилось нечто С.Д. и мне

Санкт-Петербург

SYMPOSIUM

2001

УДК 82/89
ББК 83.3
П24

Предисловие Валерия Попова

*Художественное оформление
и макет* Андрея Бондаренко

На суперобложке:

Сергей Довлатов и Ася Пекуровская
(Ленинград, 1962)

Всякое коммерческое использование текста, оформления книги — полностью или частично — возможно исключительно с письменного разрешения Издателя. Нарушения преследуются в соответствии с законодательством и международными договорами РФ.

© Издательство «Симпозиум», 2001

© А. Пекуровская, 2001

© В. Попов, предисловие, 2001

ISBN 5-89091-160-0

© А. Бондаренко, оформление, 2001

ОГЛАВЛЕНИЕ

<i>В. Попов. Ответный выстрел</i>	7
Завтра в дорогу	23
Колесо без верха и без низа	31
Самая страшная особенность	37
Не меняя позы	44
Больно ударился	50
Замкнутое суждение	62
Сквозь бездны и бездны	79
Догадывался о скрытом значении	100
Стеклянные розы дождя	110
Споры часов между собой	117
В неизвестном направлении	127
Взгляд без зрачка	136
Между двумя мирами	141
Осенняя мансарды	151
Падают капли дождя	165
Апокалипсическое пустынножителство	174
Театральное представление	190

Себя, как мстителя	199
У египетских колоссов	217
Персонажами своих мечтаний	228
Те поздние слезы	246
Все глубоко несчастны	264
На исходе пружины автомата	274
О солнечном круговращении	292
Спуститься до самого дна	303
По ту сторону рассветов	314
Каменным пейзажем	331
С каким-то мрачным воодушевлением	341
Улыбаться белыми зубами	355
Подкрадываются к истине	377
Без человеческого лукавства	384
Смотри, сломаешь мне ногу	400
Как остров смерти	405
Жизнь, построенную на знаменитости	409
В другой стране	421
Слышно пение труб	425

Ответный выстрел

«...Из какого сора растут стихи, не ведая стыда?» — вопрос этот волнует многих даже больше, чем сами стихи. Книги про «жизнь гениев» расходятся гораздо большими тиражами, чем книги самих гениев. Насладившись совершенством, все непременно хотят узнать: а из какого сора это, простите, выросло? Как жили гении со своими близкими, пока создавали свои шедевры? Не лучше и даже, говорят, похуже нас и «не ведали стыда»? Так мы и думали! И только после ознакомления с «сором» наступает удовлетворение: вот так! Мы не хуже — мы лучше! Произвести «ответный выстрел» в сторону гения, измучившего нас своим совершенством, всегда приятно. Поэтому книга первой жены Довлатова Аси Пекуровой «Когда случилось петь С. Д. и мне» обречена на успех. Тем более что написана она блистательно: это не причитания обиженной женщины, а четкий слог профессионала. Это не жалоба, это «ответный выстрел», который, как в известной новелле Пушкина, долго откладывался. Пушкин тот выстрел отменил, но Ася...

Помню, как однажды из окна троллейбуса я увидел Асю и Сергея, переходящих Суворовский проспект,—

наискосок, к угловому магазину. Было жарко, Сергей, с присущим ему вызывающим сибаритством, шел в домашних тапочках, и прохожие оборачивались. «Молодец! — подумал я. — Умест себя подать! И никогда не забывает об этом!» «Об этом», собственно, книга Аси, и читать ее мне было безумно интересно — и просто, по-житейски, и как «работнику пера». Вот, оказывается, как «делают себя» гении!

А саму Асю я встретил задолго до Довлатова — ее «звезда» взшла много раньше. Помню знаменитое в начале шестидесятых кафе «Север»: таких красивых, элегантных, интеллигентных людей, и в таком количестве, я не встречал больше нигде и никогда. Прошло всего лет семь после мрачной сталинской эпохи — и сразу такой цветник! И вот из полумрака кафе появляется легендарная Ася и подходит ко мне. Не помню, кто нас знакомит, — помню только ее: громадные, темные, слегка матовые, насмешливые глаза, удивительно гладкая, «нездешняя» кожа, эпатирующий короткий ежик (уже тогда с сединой, наверное еще искусственной). Красота, обаяние, насмешка, вызов — вот тогдашняя Ася.

— Подожди, Фима! — через плечо бросила Ася своему верному оруженосцу Фиме Койсману, знаменитому адвокату и, по слухам, богатейшему человеку города. — Не мешай — дай поговорить с умным человеком!

Фима что-то забормотал обиженно — мол, куда уж нам, дуракам, но и я в слове «умный» почувствовал ловушку, яму... чуть брякни не то — попадешь ей на язычок мгновенно! Ася на охоте! Немного поболтав, мы, кажется, оценили друг друга и стали друзьями. Появиться с ней — значило оказаться на скрещении всех взглядов, в лучах прожекторов, стать своим в питерском бомонде, в котором она, безусловно, царила, — и все хотели показаться с ней, все, кто «кроил»

тогда свою судьбу, включая Бродского. Наверное, когда-то такую же роль в литературной жизни играла княгиня Голицына по прозвищу Ночная княгиня — в ее салон не ленился заходить и Пушкин, понимая не хуже нас, где нужно показываться.

И Ася, с ее весельем, умом, страстью к интригам и розыгрышам, была, безусловно, в центре тогдашней замечательной жизни — и все тянулись к ней. В свою свиту она включила и меня, хотя иногда я пытался ей доказывать, что это я включил ее в свою, — и в этом постоянном соревновании, турнире каламбуров, острот, розыгрышей проходили те веселые дни и вечера.

Помню, как однажды забавлялись мы только нам двоим понятной потехой: обходили все магазины на Невском и спрашивали капризно: «Скажите, у вас есть шарфы хорошего качества?» — и, встречая удивленный взгляд продавцов, страшно веселились. Не смысл этой фразы был нам важен, а сочетание звуков, которым мы наслаждались. То, что главное для Аси — слово, игра, шутка — и победа в этой игре, было ясно уже тогда (хотя ее, кажется, только что исключили из Университета, и она устроилась на фабрику мягкой игрушки, но внешне она нисколько не менялась).

Однажды мы засиделись в «Европейской» (удивительные были времена!) в веселой компании — и вспомнили вдруг, что нас давно уже ждет другая, не менее блестящая компания у входа в легендарный «Восточный». Мы сбежали по лестнице и вдруг, на волне постоянного тогда веселья, лихости, страсти к розыгрышам, решили не брать пальто в гардеробе, а идти так — благо недалеко.

— Вы что — прямо из дома так? — удивились ожидавшие нас изыбшие друзья (стояла зима).

— А что, разве холодно? — удивилась Ася. На ее черный ежик падал снег. Кто, кроме нее, мог тогда поддержать нашу удачу? Ответу: никто.

Правда, проводив Асю до дому, доблистав и дошутив, я под покровом тьмы воровато крался к другой, безвестной портнихе, абсолютно ничем не примечательной, — хотелось после Аси расслабиться, отдохнуть и не блистать так-то уж... Может, и у Аси тогда была такая же тайна? Не знаю — даже думать о ней так не хочется: «Не королевское это дело». Она была Венерой Милосской, и представлять ее как-то иначе совершенно не хотелось: блеск ее не должен был стираться ничем! Главным для нее было — слово. И слава. Как, впрочем, и сейчас.

Довлатов тогда для ее славы не годился, находясь в армии — и в забвении, но впервые о Довлатове как о будущем хорошем писателе мне сказала именно Ася. Лишь она тогда заботилась о том, чтобы его не забыли окончательно, она была главной и, пожалуй, единственной хранительницей его имени — хотя Довлатов и тогда и после называл ее холодной и лживой. Но без нее он не поднялся бы — и хорошо это понимал и, может быть, за это и ненавидел. Помню, как однажды Ася произнесла — я от неожиданности даже вздрогнул:

— Как мой Сережа говорит: «Я иссо цказу цвое цлово в ицкуцве!»

Только так, дурашливо, и мог сказать тогдашний Довлатов о своей будущей славе, в которую совершенно никто не верил, включая самого Довлатова. А Ася? Похоже, верила, одна, и помнила о нем, и берегла место на Олимпе, и пригревала это местечко. Уже лишь за это можно быть ей благодарными. Хотя делала она это очень своеобразно, ощущая себя не в услужении у забытого тогда Довлатова, а, наоборот, покровительствующей ему. Она обязана была быть

на троне — а трон тогда занимал отнюдь не се несчастный (к тому же бывший) муж Сережа. Не Асино это было дело — ждать и тосковать.

Помню, как я заскочил на «Крышу» (ресторан в «Европейской»), чтобы купить сока манго. Удивительное дело — для нас, зарабатывающих копейки, этот лучший ресторан города был домом родным!

— Валера! — услышал вдруг я и, обернувшись, увидел за столиком Асю, а рядом с ней Василия Аксенова, бога и кумира тех лет. «Ай да Ася! — подумал я. — Ай да Вася!» Я сказал, что жду вечером в гости Арканова и Горина после их премьеры в Театре Комедии, и Ася (слегка уже заскучавшая всего с одним кумиром за вечер) радостно заявила, что они тоже пойдут.

Веселые, и самые толковые, времена, когда все были вместе, были дружны! Как приятно, что Ася в своей книге вспомнила их! Приятно, что не забыла она и меня, назвав «незабвенный Валера Попов» (хотя так, мне кажется, называют лишь усопших. Но это не важно). Славно было тогда!

— Нога вот болит! — покряхтывал Аксенов, пока мы спускались по лестнице. Я улыбался, понимая, что всеобщий (и мой, конечно же) бог, красавец, щеголь, умница, сибарит жалобами на больную ногу как бы пытался пригасить свое сияние, показать, что и он как все — вот, нога разболелась. (Если б я мог знать тогда о своей статье, написанной лет через десять, в которой я утверждал, что «неудачник» Довлатов глубже счастливого Аксенова, — но тогда я так не думал...)

Мы ехали в такси по темной улице Белинского, и мой кумир (он же поклонник блистательной Аси) все время покряхтывал, пытаясь поудобней разместить больную ногу в тесном такси.

— Прямо не знаю... отрезать, что ли? — просто-на-на он.

— Вы и без ноги будете очаровательны! — усмехнулась беспощадная Ася.

Мог ли ужиться с ней измученный Довлатов, вернувшийся из армии и потерявший почти все, а главное — надежды? Представляю, как она над ним издевалась! Но он не порывал с Асей — в литературном смысле, а она — с ним. Как дальновидны оказались они оба!

Израненная душа и измученное тело Сергея находили, очевидно, успокоение в его доме на Рубинштейна, где уже жила Лена, а к Асе он ходил для «литературной борьбы». Что его литературная судьба зависела тогда от Аси — это несомненно, и Довлатов, при всей бытовой ненависти, это понимал. Может быть, так же порой восставал Маяковский против всемогущей Лили Брик, проклинал ее, искал что попроще — и находил. Но в конце концов вновь возвращался к «железной Лиле»: отдых — это одно, а дело — это совсем другое... Довлатов это тоже понимал. Помочь Довлатову печататься в журналах той поры (шестьдесят четвертый год) было бы преступлением — зачем ему это? «Литературная работа» заключалась в другом, главном: они ковали слова, плели истории, которые так потом сгодились Сергею, и ненавидели друг друга при этом, понимая, что все достанется одному.

Добавлю вскользь, что и вторая, главная жена Довлатова, Лена, к которой он «ринулся» от Аси в поисках нормального, обычного очага, оказалась, на мой взгляд, тоже скорее «хранительницей литературного процесса», чем домашнего очага. Ее твердость, последовательность, требовательность, неприятие разгильдяйства оставляли для «отдыха», как понимал его Сергей, мало возможностей. Легко быть просто женой, но трудно быть женой гения, «блюсти» его гениальность. Думаю, они уставали друг с другом. Происходило это уже в Америке, не на моих глазах.

Мне довелось оказаться на далеком материке только через два месяца после смерти Довлатова (хотя мы переписывались, готовились к встрече). Фотография из последнего его письма — он с Леной на кухне — и подпись: «Вот какие мы теперь грустные».

Однако и Асе досталось... Вспоминаю один эпизод: после бессмысленной попытки общего нашего с Довлатовым загула (трудно пить в непривычном ритме) мы зачем-то, по настоянию Сергея, оказываемся у Аси, его давно уже бывшей жены, в темном полуподвале на улице Жуковского. Ася куксится: она болеет, сипит, горло ее замотано, в колыбельке хнычет маленькая дочь (которую Довлатов, оказывается, не очень-то и признает, уверяя, что к моменту как бы ее зачатия уже не обладал необходимым энтузиазмом). Однако Довлатов, несмотря на вполне внятные приглашения к выходу, почему-то не уходит, сидит, пресекая и мои попытки уйти. Что за издевательство? Звонок. Приходит врач. Заглянув к нам на кухню, уходит. Возвращается Ася, и в болезни сохраняющая главное свое качество — насмешливый ум. «Знаете, что врач сказал? — засмеялась Ася, придерживая рукой больное горло. — Сочувствую: у меня соседи — такие же скобари!» Сергей мрачно усмехается. Я рвусь уйти, поняв наконец, что тут происходит. Обычное для писателя дело — добывание слова, плетение сюжета. Вдруг сгодится когда? Но — тяжело.

И не одной Асе досталось! Как убедительно показано в этой книге, «не пожалел он и родного отца», и всех прочих. И не только «выжимал соки», но и потом еще «смешивал их», все перевирали, искажал, обвинял невинных и обелял подлецов. Довлатовские фальшивки, подлоги, обманы Ася изображает блистательно и точно, здесь ей нет равных. И не было бы Довлатову прощения, если бы «фальшивки» те не стали шедеврами. Но они — стали!

Я, например, понимаю: без лжи в искусстве не обойтись, ложь — это то, что создает именно автор, а факты — «сор». Помню, один классик учил меня: «Ври обязательно — с этого литература и живет. Если дело было летом, пиши зиму, если она была блондинкой, делай брюнеткой». Абсолютно верно. Хотя могу понять, что блондинкам (как и брюнеткам) это крайне обидно. Но для дела — необходимо. Припоминаю один эпизод — на него «купились» и проницательная Ася: «Однажды, после загула с Довлатовым, мы зашли к нему. Вскоре пришла его мама. „Познакомься, — сказал он. — это Валера Попов“. — „Хорошо, что Валера, но плохо, что с бутылкой“, — сказала мама. „Бутылка моя!“ — сказал благородный Сережа. „Нет, моя“, — сказал я. У меня тоже благородства навалом. „Если не знаете чья — значит, моя“, — усмехнулась мама и убрала бутылку в буфет». Случай подается как подлинный, но в одной из моих статей я пишу: «Странно, что Сергей, с его фантастической памятью, нигде не использовал этот эпизод. Единственным объяснением этого может быть то, что такого случая не было. Был случай — но не весь: последнюю, как бы мамину, фразу придумал я».

Ну как быть без вранья? Нет стройности сюжета! И Сергей — да и Ася — это понимали. Но обид «литературного процесса» друг другу не простили — и теперь Ася предъявляет счет. Читая эту книгу, понимаешь, что главные свои подвиги совершил Довлатов не в лагере, а здесь, когда — тайно, естественно, — решил использовать всех, даже самых близких и любимых, так, как понадобится ему, — и в жизни, и в литературе. Немногие отважились бы на это — ну так немногие и сделали что-то свое. А Довлатов — решился. Использовать ближних как «сор» для своих рассказов, баек, статей?! Однако даже меня, понявшего эту механику и тоже использующего ее, временами

охватывала оторопь от невообразимых довлатовских «художеств», описанных Асей. Чего стоит хотя бы сцена с направленным на нее ружьем! Ася скрупулезно прослеживает, как этот безумный вроде бы поступок потом был расчетливо и умело «использован» автором в его сочинениях. Не зря сам Сергей называл свои действия «полукриминальными». «Все на продажу!» Моменты, вернее, процессы превращения «сора» в «товар» прослежены Асей скрупулезно и неодобрительно: «сору» не всегда по душе, что́ из него лепят. Но и голос «сора», особенно когда этот «сор» — умные и страдающие люди, крайне интересен. Справедливости ради нужно сказать, что Ася в своей беспощадной изобретательности не уступает Довлатову, а порой и превосходит его. Так, меня едва не свалило с ног ее утверждение, что «Филиал» — одна из лучших и, главное, самая «американская» вещь Довлатова — написан, за исключением вступления, задолго до отъезда Сергея в Америку, с целью сведения счетов с ней, Асей Пекуровской!

И еще много раз Ася блистательно и со знанием дела разоблачает эти «фальшивки», то есть всеми любимые довлатовские сочинения.

Кто тут прав? Оба правы. И Асины книга четко дорисовывает картину литературной жизни — довольно жестокой, между прочим, штуки. Тем более — и Ася это прекрасно понимает — что наступит момент, когда «фальшивки» те окажутся реальнее жизни и в конце концов «нахлынут горлом и убьют». Как это и произошло с Сергеем Довлатовым...

Вот, оказывается, «из какого сора растут стихи, не ведая стыда», и как трагически это заканчивается. Вот, оказывается, как тяжело было «легкомысленному» Довлатову и его близким, как нелегко это, оказывается, — сделать дело, создать образ беспомощного,

обаятельного увальня и завоевать славу и всеобщую любовь!

Думаю, что книга эта никого не обидит, хотя споров вызовет много. Думаю, с таким же ужасом — и восторгом — мы прочли бы в прессе письмо от героини «Медного всадника», которая, оказывается, вовсе не погибла при наводнении и теперь во многом с Пушкиным не согласна. И ее можно понять! Всё исказили рифмы! «Ай да Пушкин! Ай да сукин сын!» Ай да Довлатов! Но и Ася хороша». И сейчас ее больше всего заботит слово. И — слава. И тут они с Довлатовым близнецы-братья (или сестры) и спуску друг другу не дадут. И наблюдать эту дуэль (вернее, ответный выстрел) интересно так, что не оторвешься.

«Незабвенный» Валерий Попов

Когда случилось петъ С. Д. и мне

Посвящается Маше

- *Вы слышали, Довлатов умер?*
- *Интересно, зачем ему это понадобилось?*

(Имена героев взяты
из реальной жизни)

Завтра в дорогу

«К счастью, я не принадлежу к числу людей, которые, растянув свой рот в улыбке, обнажают миру остатки вчерашней трапезы в виде осевших на зубах шпинатовых волокон. И это вовсе не потому, что я чищу зубы лучше других. Мое объяснение гораздо более категорично. Просто я не ем шпината. И так все складывалось в моей жизни, что я всегда считал шпинат, равно как и прочие атрибуты, тем или иным образом еды касающиеся, ценностью морального и эстетического порядка».

Если Сальватор Дали, которому эти строки принадлежат в более или менее адекватном переложении, видит своеобразие своей личности в сведении ее гастрономических потребностей к ценностям морального и эстетического порядка, то я хочу воспользоваться его авторитетом для не менее категоричного заявления о себе.

По прихоти судьбы я не принадлежу к числу людей, которые просыпаются утром с покаянной мыслью об упущенном вчерашнем дне, а засыпают в страхе от того, что завтрашний день может не наступить. Возможно, в том сундуке и в том бауле, где хранилось мое приданое и мое наследство, не осталось места для страха и покаяния. И не потому, разумеется, что они уступили место бесстрашию и безгреховности. Скорее всего, тот сундук и тот баул канули в Лету, как и их лексические формы, разумеется, если поверить, что право владения ими изначально признавалось именно за мной. Конечно, доказательств у меня почти нет. Осталась одна серебряная ложка, да и та погнутая и с зазубринами на

концах. Сохранилась еще скатерть из брюссельских кружев. То-то, что из брюссельских... — уже с страстием уличают меня тени далеких предков. Ведь брюссельские-то лежали справа. А тебе достались как раз венецианские, со следами рыбьего жира, — те, что никем не оспаривались.

Не скажите. Из приданого, которое никем не оспаривалось, был только мой характер. В нем все достоинства выполняли функцию всех недостатков, что не вызывало популярности в семье. А мне не то чтобы нравилось. Но так. Удобно для жизни. Но не подумайте, что я это свойство сама для себя выбрала. Просто износила с полдюжины башмаков, бот и полуботинок с людьми, чьи достоинства являлись их же недостатками, и пошло-поехало. Всего-то понадобилось полдюжины износить, не больше, причем в период полового созревания, хотя, конечно, могла бы износить и до него. Но не получилось. Я довольно много натерпелась оттого, что у меня ничего в жизни не получалось. Например, с точки зрения тех, что со мной износили полдюжины башмаков, бот и полуботинок, я представляла собой генетическое большинство. Конечно, это абсурд, никакого большинства я нигде не представляла. А впрочем, кто знает, что они имели в виду.

Вы, конечно же, думаете иначе, но я человек частный. И, если свериться с той записной книжкой, которая осталась в телефонной будке на станции метро в моем отечестве, круг друзей с годами приобрел очертания размытости. Когда-то, конечно, был совершенно правильный. Даже не круг, а вовсе квадрат, и даже параллелепипед. О них я еще скажу, дайте только расписаться. В каком-то смысле он был спасательным. Ведь в нем всего естественнее было опираться на безотчетные влечения, скажем, пускаться вплавь в Черное море или делать такие при-

знания, которые в мире строгих людей принято держать при себе. Когда человечество рядом с тобой говорит приглушенным голосом, а порой просто движением глаз, хорошо вдруг сказать что-то звонко, бросить ценный серебряный рубль николаевской чеканки во все без исключения затянутые шнурками шапки-ушанки. Впрочем, мне пора в упряжку. Уж больно меня заносит. А тут еще эта проклятая манера говорить, которая, даже без учета голосовых возможностей, раздражает большинство домашних животных. Впрочем, своих у меня нет. Я имела в виду Машиных. Вот как будто и все. Как видите, я редко сомневаюсь в собственной правоте, хотя на письме позволяю себе изрядное число допущений и оговорок.

Вы спрашиваете, молюсь ли я? Да, я молюсь. Но невнимательно. Я и в музее всегда хожу против течения. Добродетельные люди смотрят друг другу в затылок, а я иду им навстречу. И ничего. Либо они расступаются, либо я. Чаше ни они, ни я. И я молю всемилостивейшего Бога спасти меня от «добродетельных» людей. Ведь от безнравственных я спасусь сама. Вы спрашиваете, почему я говорю с обещательным уклоном, когда тут нужен как раз извинительный? Если по правде, то для меня что обещательный уклон, что извинительный... Мне главное, чтобы последнего контакта не лишиться. Конечно, для этого есть телефонные линии. Но ведь и тут своя канитель. На другом конце провода вам нет-нет и пропоют таким тоненьким, препротивным дискантом, как «дверь, ведущая в спальню» у Гоголя. И не пропоют вовсе, а так, намекнут, нашепчут, дескать, ваши объяснения пахивают чем-то малополезным, малоинформативным и даже не развлекательным вовсе. Одинокого путника легче всего убить таким тоненьким дискантом. Конечно, если рядом не случится

краснознаменный хор при исполнении, так сказать, «Полюшка-поля». Тогда сразу легче, как гора с плеч. Акустика.

Из всего сказанного, однако, не следует, что утрата контактов с прошлым включена в разряд моих жизненных установок. Как раз наоборот. По природе я человек общительный. К людям отношусь с большим энтузиазмом. Куда меньше интересуюсь картографией и пиротехникой. Научные факты меня убивают, хотя я, например, знаю, что жабы дышат легкими, а птица казуар рифмуется довольно покладисто, но не всегда пристойно. Короче, ко всему, что дышит, жует, отплевывается, повязывает салфетку, давит клопов, выпивает, слегка оттопырив мизинец, я благоволю по мере сил.

— Ваш образ мыслей,— шепчет мне колоратурное сопрано, делая долгий нажим на сонорные звуки,— сродни болезненным аберрациям психического характера.

— Откуда же вам это знать? — беспокоюсь я, продолжая сидеть на мраморных ступенях.

— Это общеизвестно. Откройте толковый словарь на эвфемистическом названии «инфантилизм». Множество зелий, распивавшихся вашим поколением, настояно именно на нем. Было время шкаликов и штофчиков. После них пошли графинчики. Потом зацвели абажуры цвета апельсиновой корки. А вам достался инфантилизм.

— Слава Богу, что достался! — кричу я.— В те дни, когда облака были высокими, снег белым, Россия — нашей родиной и еще никто не вызвался добежать-доскакать-долететь до того дуба, который оказался деревом, мы были самыми молодыми.

Теперь вообразите себе Америку с ее гражданским уложением и детской преступностью. Да чего там уложение или преступность! Вообразите вашего

дитятю. В Америке он становится американцем, держит в одной руке надкусанный бутерброд, а другой распивает кока-колу, попирая ногами белоснежный батист покрывала. И что, вы думаете, у него при этом на уме? Он желает рассифонить сахарную смесь по поверхности батиста, а потом заснуть перед включенным телеэкраном. Впрочем, очередность может быть иной. Ведь у него, у вашего дитяти, по тому гражданскому уложению, вся жизнь впереди. Однако чуть перевалит дитятя за свой рубеж, тут ему уже другой хвост кометы светит. А не пора ли, друг сердечный, тебе выпасть в темный осадок? А при чем тут свобода? То есть не то что демократия качнулась вправо. Как раз наоборот. Демократия сонорно стоит на своем сорок втором, как раз на широте Крыма. Но ведь она тоже не без своих капризов. Так что тебе, повзрослевшему дитяти, надлежит в своем темном остатке не выкрахмаливаться. «Так мне ж так сподручнее, — думает себе дитятя. — Я и сам того себе желаю. Не выкрахмаливаться, чтоб было мягко да морщинисто. Что с того, что они все еще твердят: отцы и дети, дети да отцы, хотя отцов уже, можно сказать, днем с огнем». А как нужно твердить? Подскажите — как?

Вот и представьте себе мою Машу, охваченную scarlatinным заревом, причем даже не своего, а моего инфантилизма, тогда еще не диагностированного, но уже отмеренного ртутным шариком в графе гражданского уложения.

— А вот ты ответь, — слышу я строгий голос где-то на уровне своего бедра, — почему на балет я должна ходить в колледж, а на уроки рисования в музей? Ведь я же девочка. Я люблю кока-колу. И почему у нас запрещен телевизор? На каком основании?

Были у нее и сверстники, тоже дитяти, уже набравшиеся серьезности и гражданской причастности,

диагностированных у их родителей. Их досуг и мозговой потенциал уже измерялся активом типа «бойскаутство», «slumber party» и групповые ристания, проходившие под именем «спорт». Моя девочка, надо отдать ей справедливость, отстаивая свои конституционные права, изъяснялась со мной исключительно по-русски, каких бы мук ей это ни стоило.

Система запретов и предписаний, насаждаемая в нашем доме, не была окрашена в моем сознании сомнением в ее непогрешимости, хотя не было такого провидца, который бы не узрел в моем родительском стиле заряда догматичности, жестокости и произвола. Конечно, Маше благочестиво внушалось, что она вольна читать и обзреть на экранах все, что ей заблагорассудится, исключая, разумеется, то, что уже заблагорассудилось поколению ее сверстников. Маша бунтовала, искала поддержки у взрослых. Появлялись взрослые, которые, потев, разъясняли мне, что моя позиция лишает ребенка самой драгоценной в стране, где мы живем, возможности — быть тем, чем она хочет, а хотел мой ребенок тогда именно того, чего хотели все ее сверстники, — быть как все. К счастью для меня и, надеюсь, для давно повзрослевшей Маши, судьба уберегла ее от этой драгоценной возможности, и уберегла безвозвратно. Однако результат был достигнут средствами, единственно доступными человеку, выращенному в нашем благословенном отечестве, — догматичностью, жестокостью, произволом и слепой верой в эстетический канон.

И все же был один момент в Машинной биографии, никакими эстетическими критериями не объяснимый, от которого ее охраняли от рождения и до того момента, к которому я с не свойственной мне осторожностью подвожу доверчивого читателя. На

Машин вопрос, где ее папа, к ней неизменно поступал поначалу уклончивый, а впоследствии откровенно лживый ответ:

— Остался в России, из которой мы эмигрировали без него.

— Почему без него?

— Разошлись, расторгли брак.

На этом Машин интерес, как правило, исчерпывался до следующего приступа детской любознательности. Однажды, в возрасте лет восьми, Маша получила школьное задание написать автобиографический очерк. Отличаясь обстоятельностью, она собрала имеющийся в наличии материал и, уже начав писать, вдруг спросила:

— А как выглядит мой папа?

Когда-то в молодости на Серезин вопрос о том, как я себе его представляю, я не задумываясь ответила: «Как разбитую параличом гориллу», тем самым сильно расширив диапазон его собственных представлений о себе, который ограничивался лишь образом Омара Шарифа. Впоследствии мои авторские права на «разбитую параличом гориллу» были переданы «своенравному, нелепому и бессмысленному» персонажу «Филиала» по имени Тася, который, по крайней мере в своей первоначальной версии, «писался» с меня. С учетом своих авторских прав тридцатилетней давности, вряд ли признаваемых на территории страны, где был задан вопрос, я ответила Маше, сделав надлежащую скидку на возраст:

— Твой папа похож на гориллу, такой же большой и неуклюжий.

Прошло несколько месяцев, прежде чем Маша в очередной раз посетила зоопарк. Постояв продолжительное время у отсека, где проживали гориллы, Маша произнесла, обращаясь скорее к одной из обитательниц отсека, нежели ко мне:

— Горилла мне нравится. Она ходит так же мягко, как мой папа.

Когда «папа» объявился в 1978 или 1979 году в Америке, послав мне экземпляр напечатанной Карлом Проффером повести «Компромисс» с дарственной надписью: «Милой Асе и ее семейству — дружески», я осмотрительно решила не оповещать Машу о приезде отца. Решение это в дальнейшем не пересматривалось, пока не случилось нечто поистине неожиданное. Однажды в нашем американском доме, как гром среди ясного неба, раздался звонок из Нью-Йорка: «Асеночек, — так называет меня моя подруга Нина Перлина, — умер Сережа. Часа два назад. Подробности пока не знаю. Позвоню позже. Похороны послезавтра». Я была в шоке. И тут мне предстоит покаяться перед Сережей, что моей первой мыслью все же была мысль не о нем. Как, в какой форме оповестить Машу о гибели ее отца в Нью-Йорке? Как объяснить двадцатилетней девочке, что, не будь ее мать тем, что она есть, Маша могла бы познакомиться со своим отцом при жизни.

Одно казалось кристально ясным. Нужно было немедленно рассказать Маше, и как можно подробнее, о ее отце, после чего предоставить ей выбор. Если то, что она услышит, склонит ее в пользу свидания с отцом, она поедет на похороны. И я поеду вместе с ней. Если по каким-либо причинам ей этот единственный шанс знакомства с отцом покажется неприемлемым, я поступлю по ее усмотрению. Наш разговор длился всю ночь. Маша стоически вынесла мои импровизированные истории об отце и о нашей молодости. Всю ночь из нашей комнаты раздавались хохот и всхлипывания. Часов в пять утра моя бедная девочка сказала: «Ну, иди спать. Ведь завтра же в дорогу. Когда еще удастся поспать, неизвестно».

Колесо без верха и без низа

Аполлон Безобразов был весь в настоящем. Оно было как золотое колесо без верха и без низа, вращающееся впустую, от совершенства мира, сверх программы и бесплатно, на котором стоял кто-то невидимый, восхищенный от мира своим ужасающим счастьем.

Борис Поплавский

Будучи человеком застенчивым с оттенком заносчивости, к концу третьего семестра в Ленинградском университете, то есть к декабрю 1959 года, я не завела ни одного знакомства, исключая, пожалуй, некий визуальный образ гиганта, идущего вверх по лестнице вестибюля университета в сопровождении хрупкой, бледнолицей шатенки, чьи светлые глаза и тонкие, укоризненно поджатые губы робко выглядывали из-под гигантового локтя, монолитно и рука в руку влекущего их за собой. Было очевидно, что сопровождение гиганта, Мила Пазюк, возникло там не «по воле случая слепого», а по предопределению свыше, и они оба прекрасно вписывались в сюжет «влюбленная пара», привлекая всеобщее внимание и сами ни в ком не нуждаясь.

Вероятно, картина суверенного великана так задела в моем воображении, что, когда я услышала вопрос, адресованный явно мне:

— Девушка, вам не нужен ли фокстерьер чистых кровей? — и увидела Сережино участливое лицо, я охотно и поспешно откликнулась:

— Фокстерьер у меня уже есть, а вот в трех рублях сильно нуждаюсь.

Моментально мы почувствовали себя уже давно знакомыми людьми, и Сережа пригласил меня к себе домой: покормить и познакомить с мамой — по-кавказски, но на Серезин манер, то есть в соответствии с ритуалом, о котором расскажу позже. Заручившись моим согласием, Сережа начал было спускаться по лестнице, как вдруг, то ли под бременем свободы как осознанной необходимости, то ли, наоборот, поддавшись самой этой необходимости, отвергающей свободу, он вспомнил об академической задолженности по немецкому языку, срок которой истекал в соседней аудитории в пандан с течением нашей беседы.

Оказавшись тоже человеком застенчивым, Сережа заметался в поисках выхода из ситуации. Как закрепить новое знакомство, уже построенное на обоюдном желании покинуть университет, и в то же время сдать зачет, требующий, наоборот, присутствия в университете? Вступали в конфликт ценности высшего порядка. Тут долг противостоял желанию, и, хотя было очевидно, что такие конфликты возникали у людей типа Серези чрезвычайно редко, являясь скорее лишь теоретической возможностью, в тех (немногих) случаях, когда они все же возникали, желание неизменно терпело поражение в борьбе с долгом, а долг продолжал оставаться долгом и расти, как все долги. Кроме того, несдача зачета по немецкому языку, налагаясь на уже сложившиеся тяжкие обстоятельства, грозила перерасти в роковые последствия высшего порядка типа исключения из университета и скандала в доме.

— Видите ли,— решил на признание Сережа,— тут есть одно досадное, хотя и не непредвиденное обстоятельство: у меня с немецким языком живого контакта так и не состоялось, как, впрочем, и с лю-

бым другим иностранным языком. Я имею в виду, в рамках университета. (Сереза учился тогда на финно-угорском отделении.)

— А за рамками? — спрашиваю я.

— Тоже нет.

— На что же вы надеетесь? — поддерживаю беседу.

— Честно говоря, ни на что, хотя я при прочих скромных способностях и ординарной внешности обладаю незаурядной памятью. При благоприятном стечении обстоятельств мне не составит труда удержать в памяти содержание этой книжки (откуда-то извлекается роман Германа Гессе). Однако не буду вводить вас в заблуждение, утверждая, что моя память беспредельна: все будет бесследно утрачено в момент, когда зачет окажется в книжке.

— Чего же вы ждете? — решаюсь я на своего рода мнение.

— Подходящего момента... Скажем, попадись мне сейчас Абелев или Азадовский, готовые исполнить свой товарищеский долг перед Довлатовым и перевести прозаика Гессе на доступный Довлатову, то есть общечеловеческий, язык, буду считать, что момент наступил. Тогда не пройдет и получаса, как я окажусь в вашем распоряжении... (Тут Сереза делает паузу.) — Разумеется, при условии, что вы согласитесь провести эти полчаса здесь (взгляд падает на угол деревянной скамьи университетского вестибюля) в тоскливом ожидании меня.

Зная немецкий язык в степени, достаточной для перевода Серезиною текста, я предложила свои услуги, которые были приняты с благодарностью человека, у которого в последнюю минуту раскрылся парашют. Сереза внимал моему переводу и следил за текстом с таким напряжением, как если бы он взялся проглотить себе подобного гиганта. Получаса

спустя он появился, помахивая зачеткой, и с улыбкой победителя бросил:

— Вот так. Нам поставили зачет. В наше настоящее ваш вклад оказывается первым. Люблю быть в долгу.

Хотя все происходило на моих глазах, поверить в то, что некая китайская грамота, коей был для Сережи, согласно его версии, немецкий текст, могла быть перенесена на камертонных вилках слуха из одной комнаты в другую, как нота «ля», было выше моих сил. Угадав причину моего недоверия (А что, если он знает немецкий язык не хуже меня?), которое, по-видимому, застыло на моем лице, Сережа сказал:

— Разве я вас не предупреждал, что обладаю феноменальной памятью? Чтобы поспеть за мной, вам может понадобиться золотая колесница.

Шостакович пишет о феноменальной памяти Глазунова, который мог, прослушав музыкальное произведение любого размера, тут же сесть и воспроизвести его по памяти. Учитывая жанровый диапазон Сережиных возможностей, можно сказать, что его феномен был соизмерим с глазуновским. Однако в отсутствие Глазунова и Шостаковича эффект Сережиной памяти не знал себе равных. Конечно, помимо памяти была сноровка. Представьте себе великана с обманчивой внешностью латиноамериканской звезды, который скользит по университетской лестнице в поисках приложения своих скромных духовных и физических сил, и тут ему навстречу выплывает хоровод восторженных студенток, проходящих, вроде меня, свой курс наук в университетских коридорах. «Да это же Довлатов. Ведите его сюда!»

Сережин аттракцион обычно начинался с воспроизведения по памяти шестнадцати строчек незна-

когого ему рифмованного текста, немедленно протягивавшегося ему из разных рук и исполнявшегося в первозданности оригинального звучания. Одаренный «повсесердно», ничуть не смущенный всеобщим восторгом публики, Сережа тут же выражал готовность побеседовать с аутентичным носителем любого языка без вмешательства переводчика. Ему приводили аборигенов всех континентов: американцев, европейцев, австралийцев, которых предупреждали, что им предстоит встреча с человеком, посвятившим жизнь изучению их родного языка и культуры. Сережа немедленно вступал с ними в разговор, начиная что-то объяснять быстро, почти скороговоркой, без пауз, завораживая эффектом звучания, не уступавшим эффекту спиритического сеанса. Русская аудитория слушала его, как слушают романсы Вертинского, уносящие вас «туда, где улетает и тает печаль, туда, где расцветает миндаль», в то время как оторопевший иностранец, не готовый к спонтанному соучастию, покорно держал улыбку восхищения на страдальческом лице.

Но не было такого слушателя, который бы отважился Сережу прервать и, Боже упаси, уличить в очевидном для нас всех шарлатанстве. Едва оправившись от шока, заокеанский гость спешил заверить Сережу — на своем родном языке или на своей же версии русского — в своем полнейшем восторге от его импровизаций. Разумеется, тут были и признания, мол, дескать, не мог в полной мере насладиться нюансами вашего маленького шедевра то ли ввиду неповторимости всякого экспромта, но, возможно, и по причине общей эфемерности всякого звукового ряда. Некоторые слушатели, преимущественно американки, затрудняясь с уверенностью определить принадлежность акцента, пытались все же угадать,

в каком штате проходил Сережа свои университеты.
«Was it Iowa or Wyoming?»

Когда кто-то восхищенно сказал Сереже:

— Боже, какая у тебя поразительная память! —
Сережа бросил небрежно:

— При чем тут память? У меня всего лишь абсолютный музыкальный слух. Получил по довлатовской линии. От матери.

Самая страшная особенность

...Ровно, твердо и даже добродушно смотрели небольшие, широко расставленные голубые глаза, которые имели ту особенность, отчетливо осознанную мною значительно позже и чрезвычайно редко встречающуюся среди европейцев, особенность, состоящую в том, что они ровно ничего не выражали. Поэтому-то я с первого раза приписал им добродушие. Не дай Бог вам, милый читатель, встретиться когда-нибудь с таким добродушием, ибо добродушие Аполлона Бездобразова именно, может быть, и было самую страшную его особенностью.

Борис Поплавский

«Девушка, взгляните в мои голубые глаза. Вы в них найдете вязкость петербургских болот и жемчужную гладь атлантической волны в час ее полуденного досуга. Надеюсь, вы не взыщете, если не найдете в них обывательского добродушия? Обладая незаурядным ростом и феноменальной памятью, скажете вы, мужчина может поступиться добродушием. Девушка, вы заметили, как темнеют мои глаза в момент откровенных признаний?»

Такого типа монологи, адресованные будущим и прекрасным незнакомкам, произносил Сережа в часы будничной трапезы, выдавая их мне, при этом жадно предвкушая другие подиумы на обруче вселенской орбиты. Однако в каждый знак препинания, в каждое новое слово, включенные в монолог, Сережа верил свято, ибо они-то и были святой правдой его обреченной на мечту молодости.

Хотя свой джентльменский набор Сережа выдавал сразу, при первом же знакомстве, особенно если хотел произвести впечатление, в чем никогда не отказывал себе, а тем более собеседнику, в силу то ли логического, то ли астрологического баланса опасность разочароваться в нем впоследствии тоже оставалась ничтожно малой. В своем графическом обличи Сережа был одарен удивительной диспропорциональностью. Короткое туловище плотно сидело на гигантских ногах, отмерявших шаги вверх по просторной университетской лестнице, а позднее вдоль перспективы Невского проспекта с точностью землемера. При этом короткие, детские ручки его либо утопали в мелких карманах уникального в своей единственности твидового пиджака, либо беспомощно и бездельно повисали в воздухе.

Однако Сережа справедливо избежал репутации бездельного человека. О его каждодневных и систематических занятиях с достоверностью и красноречиво свидетельствовали как его натруженный указательный палец правой руки (хотя, по анкетным данным, он должен был быть левшой), так и заусенцы на каждой фаланге. Человеком беспомощным его также нельзя было назвать, хотя в этом его личной заслуги было уже меньше. Не без тайного кокетства и гордости Сережа любил посетовать, с какой великодушной щедростью его мама, Нора Сергеевна, распоряжалась его мужскими ресурсами: «Ну какие грузчики! Сережа вам этот шкаф сегодня же доставит. По какому адресу? Записываю», «Нина Николаевна, милая моя, забудьте о ваших чемоданах. Сережа после занятий забежит к вам и поднесет их к перрону».

Неявно и в соответствии с им насаждаемыми законами вкуса Сережа гордился собой и своим ростом, легко носил свой вес, даже когда сильно отяже-

лел и сам больше чем что бы то ни было служил материалом для своего мифотворчества. Например, он любил рассказать, как при виде его ступни сорок седьмого размера, шагнувшей внутрь обувной лавки, продавщицы умирали от восхищения и сострадания, восхищаясь магической цифрой 47, о существовании которой дотоле не подозревали, и сострадавая от сознания безнадежности его поиска. Между тем ботинки этого размера поступали к Сереже хоть и слегка поношенными, но зато от самого Черкасова, который предварительно хаживал в них по сцене Пушкинского театра, представляясь то Иваном Грозным, то Александром Невским, и с семьей которого Сережина мама издавна прятельствовала. При этом трофей выставлялся на стол, протираемый рукавом уже упомянутого единственного пиджака из твидовой материи, и Сережа ревностно следил за тем, чтобы каждый из гостей в полной мере поучаствовал в ритуале всеобщего любования.

В физико-гастрономической ипостаси, пишу я, спохватываясь, что со словом «ипостась», возможно, ввиду его греческих корней, у Сережи с юных лет были особые счеты... В физико-гастрономическом обличии, поправляю себя я, Сережа был чемпионом гаргантюанизма. Он мог съесть ведро сосисок, восемнадцать бутербродов величиной в кирпич, раздуть живот до размеров взрослого ньюфаундленда и втянуть его в себя так, что вам доводилось физически ощутить слияние брюшины с позвоночником. Он умел поднять стул за одну ножку на вытянутой руке, при этом убеждая присутствующих в том, что никому в мире не удалось повторить этого эксперимента. Когда Леня Мак, о котором речь пойдет ниже, без труда повторил его эксперимент в усложненном варианте, легенда уже утвердилась за

Сергеем, и менять что-либо было поздно. Настоящее тем и хорошо, что опережается прошлым. И будь нам тогда известно, что за четыре года до Сереева рождения советской властью был расстрелян человек, способный поднять одной рукой не только стул, но и сидящую на нем человеческую особь, вопрос о Сереевом суперменстве мог бы приобрести иную окраску. Ведь человеком этим был не кто иной, как маршал Тухачевский, прозванный за военную доблесть Красным Наполеоном.

«Но в чем он истинный был гений...» — говорил когда-то адвокат другого питерского повесы, к довлатовскому ремеслу вовсе непричастного. Конечно, тут следует принять в расчет, что у Довлатова если и было какое ни на есть ремесло, то оно было такое, какого у того повесы как раз не было. Не исключено, что у Довлатова ремесла как такового еще не было, чем он весьма и весьма отличался от повесы, у которого ремесла не было вовсе, то есть не было другим макаром. Однако важным в этом рассуждении является то, что и тот и другой, можно сказать, для звуков жизни не щадили. Сереева, например, любил во всем насаждать свой «канон», разумеется, не библейский и даже не отпевальный, а скорее грамматический. Стоило Ане Крот неосторожно обмолвиться словом «слóжен», с ударением на первый слог, вместо «сложён», на нее с двухметровой высоты уже обрушивалось с укоризной: «Это дрова слóжены, а человек сложён». Только не подумайте, что Сереева подражал Гоголю. Конечно, за Гоголем тоже водилась привычка оборвать собеседника на полуслове, дескать: «Кто это научил вас говорить так?» Но откуда у Гоголя могли возникнуть готовые каноны? Если он что и канонизировал, то как раз поэтические вольности, а вовсе не каноны.

М. И. Лонгинову, например, он приказал называть Балтийское море «Балтическим».

Короче, Сережа обходился без Гоголя, так сказать, шел своим путем. Скажем, обронит кто-то фразу типа «пара слов», помеченную в академическом словаре Бархударова как «разговорная» и допустимая к употреблению «по преимуществу в мелочной торговле». Не успевала эта «пара слов» сорваться с уст своего неосторожного заложника, Сережа возникал в своей жреческой роли заимодавца. Он подходил к жертве осторожно, с кошачьей мягкостью восточного диктатора, и начинал издали, так что порой сама жертва и не подозревала о том, что ей было уготовано, и хохотала вместе со всем племенем. С грузинским акцентом, который он умел имитировать виртуозно, жрец Сережа выговаривал, любовно заглядывая в мерцающие предзакатным блеском глаза своей жертвы: «Зачем обижаешь? Мы тут все князья. А ты как сюда попал? Заблудился, что ли?»

Конечно, степень наказания согласовывалась с составом преступления, а состав преступления — с высшими законами раздела мяса и крови. По высшей мере, например, каралось неудачно оброненное «по средам», с ударением на корень, а не на окончание. Едва засвидетельствовав нарушение канона, Сережа приближался к жертвенному животному на манер паука, обволакивая его обманчиво-простодушными нитями липких слов. «Что никитинские среды происходили и в самом деле „по средам“, а не по пятницам, как среды у какого-нибудь незадачливого Довлатова, это я допускаю, — говорил он мягко, без попрека или угрозы паутинного удушья, — даже беру на себя с этим согласиться. Но зачем при этом русскую грамматику ставить под удар? И как только такое может выговориться: „по средам“, когда у человека так природой все устроено, что ему куда

естественнее сказать „по средáм?“ Ты что же, друг, на саму природу решил посягнуть?!»

Свои жреческие функции Сережа выполнял, как и все жрецы, за семейным и родовым столом, где традиционно совершались обряды еды и питья, так сказать, «смазывание крови», которое, на манер всякого тотема, обращало чужаков в друзей-кунаков. На завершение одного такого обряда не хватило всей Серезиной жизни. В году эдак 1961-м кто-то из сидящих у нас за столом затребовал тарелку с творогом, произнеся слово «твóрог» с ударением на первом слоге. С неизменной педантичностью Сережа внес поправку, передвинув ударение на конец: «Вы, наверное, имели в виду творóг?» Уличенный снял с полки орфографический словарь и, найдя нужное место, пригласил Серезу засвидетельствовать узаконенное грамматикой альтернативное произношение слова «творог» с ударением либо на первом, либо на втором слоге. Не умея капитулировать, Сережа пробурчал что-то себе под нос, что звучало примерно так: «Хотел бы я услышать, как императрице Марии Федоровне предлагают „твóрог“ на завтрак вместо творогá».

Спустя 35 лет открываю я русско-французский словарь под редакцией Макарова в поисках значения слова «тверезый», и первое, что бросается мне в глаза, это слово «творóг» с помеченным над ним, как единственно возможным, ударением на втором слоге. Памятуя о посвящении лексикографа, я листаю вспять страницы словаря и сижу долго, ностальгически перечитывая его незамысловатый автограф:

Ея Императорскому Величеству
Всемиловитвейшей Государыне-цесаревне
и Великой Княгине Марии Федоровне,
с Высочайшего Соизволения Свой Труд

с Глубочайшим Благоговением посвящает
Николай Макаров.

Жреца не подвело тотемное чувство стиля. Им ператрице Марии Федоровне действительно творог не могли подавать вместо творогá. Иначе им пришлось бы иметь дело с самим Макаровым.

Щедро одаренный природой от рождения, Сережа даже в своем обличии жреца избежал жреческого апломба, ибо, в соответствии с тогдашней модой, пренебрегал природными данными и ценил то, чего не имел, например личное упорство, спортивные достижения, успех и образованность. Впоследствии, когда на горизонте стало маячить почетное место в иконостасе литературных гениев и когда кропотливая работа над созданием собственного имиджа стала делом литературного долга потомству — детям и внукам, а долги Сережа привык отдавать, — пригодился и жреческий апломб. «Если обнаружите у Лермонтова строчку ничтожного значения, я буду абсолютно раздавлен. А если уж долю безвкусицы, то я откажусь от намерения эмигрировать и остаток дней (дней восемь) посвящу апологетизации безвкусицы», — писал Сережа Елене Скульской.

Не меняя позы

На оранжевой воде в маленькой лодке у самой набережной неподвижно сидела человеческая фигурка, казавшаяся с этого моста совершенно маленькой. Не знаю, сколько времени я стоял на мосту, но каждый раз, когда поворачивал глаза в ее сторону, фигурка продолжала неподвижно сидеть, не поворачиваясь и не меняя позы, с беспечностью и настойчивостью, показавшимися мне сперва бесполезными, затем нелепыми и наконец прямо-таки вызывающими.

Борис Поплавский

По мере нашего ознакомления с жизнью кулуаров, коридоров и лестничных площадок, служивших, при всей нерадивой сноровке администрации Ленинградского университета, агитаторским пунктом для прогульщиков и разгильдяев, круг Сережиных друзей стал пополняться генералами от литературы и продолжателями чеховской традиции: «Хорошо после обеда выпить рюмку водки и сразу же другую». Так на арену вышли Андрюша Арьев, Слава Веселов, Валера Грубин и несколько других будущих товарищей Сережи. Как истый кавказец и жрец анклава, Сережа не замедлил внести свою собственную лепту, открыв филиал кулуаров, коридоров и лестничных площадок у себя дома, на улице Рубинштейна, где сразу же получил признание у узкого круга, квадрата и параллелепипеда, ничего, кроме хлеба и зрелищ, от него не требовавшего. Сережа любил кормить гостей с избытком и, по обычаю российского хлебосольства, умел делиться последним куском.

Раздел пищи происходил в Серезиной хореографии и при негласном участии Неры Сергеевны. Ее стараниями на плите коммунальной кухни вырастала порция солянки на сковородке, которая могла бы составить дневной рацион небольшого стрелкового подразделения, хотя и подалась без остатка всего лишь узким кругом нашего анклава, чаще всего не превышающим четырех едоков. Сам Сережа питался результатами собственных трудов, исследуя те отсеки коммунальной кухни, где хранились трофеи, приправленные хлебосольными соседями. Главным поставщиком по части мяса и котлет была семья полковника Тихомирова. Овощи выдавались добровольно соседкой Зоей Свистуновой. Со сладким столом было туговато, так что одного определенного источника не было, а иногда и вовсе случались перебои, как и в прочих российских домах.

С едой и вокруг нее был связан разговор, который тек то в ключе футуристическом: «Сбросим Пушкина...», то на фасон Хармса: «Сбросим Пушкина, споткнемся о Гоголя». Но больше всего доставалось австрийцам и французам, причем не Гитлеру и Наполеону, а скорее Кафке и Прусту, которых то возносили на Олимп, то сбрасывали с Олимпа, при этом следуя главным образом колебаниям маятника Фуко или просто измерителей степени алкогольного погружения. Сережа всегда был на страже стиля и вкуса. «Вот мы говорим: Достоевский... А между тем Достоевский был смешон именно в самые свои патетические моменты. У него Раскольников где-то взял сестру и мать за руки, после чего минуты две всматривался то в ту, то в другую, и при этом мать Раскольниковыча, к тому же „Пульхерия Александровна“, как сообщает нам читавший Гоголя Достоевский, не выдержав грустного взгляда сына, раздражается рыданиями. Теперь представьте себе человека,

который в своих небольших двух руках (демонстрация небольших рук, которые, как известно, были в наличии) держит еще четыре руки, строго говоря, ему не принадлежащие, и в такой комической позе еще пытается, не без успеха, зарыдать от сострадания. Именно зарыдать. И именно от сострадания».

Располагая чутьем к слову, «безупречным», как аттестовали его впоследствии потомки, но еще не написав ни строчки, Сережа дебютировал, подвергая цензурным вымаркам погрешности стиля непререкаемых авторитетов, по преимуществу классиков. Конечно, о его причастности к установлению литературного канона в молодые годы речи не было, чего не скажешь о его эмигрантском опыте.

«Лучший поэт — Иосиф Бродский. Его Сергей боготворил... Лучший прозаик — Куприн... Лучшая вещь — „Капитанская дочка“... Тут ему вкус мог отказывать — он, повторяю, мечтал о читателе плачущем...» — писал, цитируя его, Александр Генис, представитель довлатовской свиты в эмиграции.

Когда Битов называет «тайной слабостью» Набокова, «разделяемой Верой Евсеевной», стремление учредить «ученические отметки русской классике: то одному четверку с плюсом, то другому четверку с минусом...», он, возможно, не учитывает того, что амбиции сродни набоковским разделялись не одним поколением русских писателей. «По моему мнению, Тютчев — первый поэт, потом Лермонтов, потом Пушкин», — наставлял своих современников Толстой. И если Набоков имел такую «слабость», кстати далеко не тайную, сильно подретушировать иконостас литературных гениев России, отнеся, к примеру, Достоевского к разряду дешевых собирателей сен-

саций, он всего лишь следовал традиции. Согласно той же традиции новые низвергатели литературных гениев не преминули оказать аналогичную услугу самому Набокову, восстановив во всех регалиях низвергнутого им Достоевского. В каком-то смысле Сережа, кстати принявший померное участие в восстановлении доброго имени Федора Михайловича, явился всего лишь продолжателем традиции цеха, который «бранил Гомера, Феокрита» по роду службы.

«...Хемингуэй плоский. Фолкнер объемистый, но без рентгена. А у этого — душераздирающие нравственные альтернативы... Я бы их так расположил: „Деревушка“ Фолкнера, „Преступление и наказание“ (угадайте, кто автор), „Портрет“ Джойса, „Гэтсби“, „Путешествие на край ночи“ Селина, „Арап Петра Великого“, „Гулливвер“, „Бовари...“, а дальше уже идет всякая просто гениальная литература. Пропустил „Милого друга“, „Мастера и Маргариту“, „Воскресенье“ и „Постороннего“ Камю», — вдохновенно писал он Елене Скульской.

Категоричность суждений о вкусе, как известно, не принятая на веру античным миром и вслед за Кантом западной цивилизацией новейшего времени, пустила свои нежные ростки на русской ниве. При этом именно нашим соотечественникам труднее всего дается признание того, что мы не устаем спорить о вкусах, определяя через понятие вкуса даже границы своего «я». «Вы любите ли сыр? — спросили раз ханжу. — Люблю, — он отвечал. — Я вкус в нем нахожу», — аукнулся поэт Жемчужников и иже с ним под именем Козьмы Пруткова. «Ты Кафку любишь?» — «Люблю, но только манную», — откликнулся им в другом столетии аноним. И если в Древней Греции

установление авторитетов осуществлялось особым цехом «рапсодов», в России литературный канон насаждался самостийно, по капризу насаждающего, причем мантия литературного судьи была, «от Гостомысла до наших дней», доступна каждому. Конечно, был еще Иосиф Бродский, который когда-то пропел, что вкус бывает только у портных. Но кто его тогда услышал?

Платон, как следует из «Иона», уподоблял суждение о вкусе действию магнита. Вкус, как и магнит, обладает свойством притяжения и отталкивания. Вероятно, согласуясь со вкусами Платона, магнитная стрелка греческой истории качнулась в сторону, ибо «рапсоды» были изгнаны из Сициона вслед за котами, которых, как известно, не было уже в Древней Греции. Что же касается российской земли, то она, не выполнив завета своего неродовитого гения, не родила «собственных Платонов», таким образом, не удосужившись изгнать «рапсодов» из своих пределов, что благоприятно сказалось также на судьбе котов. Конечно, в России, в отличие от Греции, котов было практически невозможно отличить от бездомных кошек, особенно после открытия магнитных месторождений. «Рапсоды» же не утратили способности насаждать литературный вкус даже в теплых климатических условиях.

«И я понял, что стихи должны быть абсолютно простыми, иначе даже такие гении, как Пастернак или Мандельштам, в конечном счете остаются беспомощны и бесполезны, конечно, по сравнению с их даром и возможностями, а Слуцкий и Евтушенко становятся нужными и любимыми писателями, хотя Евтушенко рядом с Пастернаком — как Борис Брунов с Мейерхольдом», — писал рапсод Сережа отцу

Не меняя позы

из армии, уподобляясь магнитной стрелке греческой истории, хотя уже без риска быть изгнанным из Сициона вслед за котами.

Ну а филиал кулуаров, коридоров и лестничных площадок, разумеется, попал к Сереже не из греческого меню, а скорее из латинского (*filialis* — «сыновний»). Однако не исключено, что и в Афинах, и в Риме литературные амбиции были неотделимы от амбиций по части «особенно поесть». Это Сережа почувствовал правильно.

Больно ударился

Потом Аполлон Безобразов заспорил с бедным семнадцатилетним юношей, носящим готовое платье, с неуместной и беспомощно-нежной улыбкой на полных губах о том, кто из них перепрыгнет через большее количество стульев. Они поставили по одному и по два стула посредине мостовой, и оба перепрыгнули препятствие, потом они поставили три стула, и Аполлон Безобразов перепрыгнул, а юноша этот в конце прыжка сел на землю и больно ударился... Аполлон Безобразов с невероятной жестокостью пригласил его перепрыгнуть через четыре стула...

Борис Поплавский

К понятию литературного вкуса и предшествующей ему репутации человека с литературным вкусом Сережа пришел, разумеется, своими молитвами, однако не без помощи завсегдатаев филиала на улице Рубинштейна. Речь в первую очередь должна пойти о ныне забытом, да и в свое время не сильно популярном, прозаике Федоре Чирскове, впоследствии удостоенном в Париже премии Даля, что не прибавило ему ни популярности, ни успеха в издательствах своего отечества. Не исключено, что в Фединых неудачах Сережа сыграл роль, обратно пропорциональную тому влиянию, которое Федя оказал на успех Сережиного восхождения. Общеизвестно, что Сережа не афишировал Фединога таланта, причем не в силу того, что не считался с его наличием, а по весьма и весьма таинственным мотивам, распутывание которых вряд ли уже актуально после смерти обоих, хотя судьба все же уготовила Сереже несколько непри-

ятных мгновений, связанных с чтением одной из Фединых публикаций.

«Что касается Феде, — писал Сережа, по-видимому в ответ на прямо поставленный вопрос, в письме к Юлии Губаревой, — то я прочел в альманахе „Круг“ его рассказ, в одном из персонажей которого, пошляке и большом засранце, с удовлетворением узнал себя».

О том, с каким удовлетворением Сережа любил узнавать себя в персонажах, едва ли дотягивающих до ранга «пошляка и большого засранца», у нас будет возможность убедиться в будущем. Однако от того застенчиво чарующего великана, о котором мы ведем здесь речь, и до того персонажа, в котором четверть века спустя Сережа «с удовлетворением узнал себя», не нужно было шагать через весь Египет.

Сережу с Федей связывала тесная и многолетняя дружба, которая, в силу нерасчлененности тотемного мышления тех лет, понималась Сережей же как тесная и многолетняя вражда. И если можно допустить, что Сережа когда-либо научился мыслить независимо, а у будущих поклонников Сережи, кажется, не возникает в этом сомнения, то благодарить за это они должны именно Федю Чирскова или во всяком случае Федю в первую очередь.

Федя не отличался кавалерийской щедростью, которую с избытком расточал Сережа, и чуждался всякого бравурного проявления чувства локтя, в связи с чем служил мишенью для Сережиного острословия, во всех прочих отношениях уступавшего Фединому. Федя был удивительной личностью в свои девятнадцать. Он обладал всем, что было тогда в цене, — острословием, страстью к каламбуру, к умной цитате, к праздности и артистическому разгильдяйству. Но

в нем все эти свойства органично уживались с тем, что было чуждо всем нам: усидчивость, тяга к порядку, к размышлению и, чего не знала наша праздная толпа,— одиночеству. Федя жил вне тотемного шаблона, который царил в наших рядах. И в этом заключалась причина его очевидной непопулярности. Не помогало и то, что, как и все другие, и более других, он был яркой личностью. Однако, что бы он ни делал, что бы ни говорил, а главное, что бы он ни чувствовал, все было продуктом его собственных ощущений, собственного видения. Возможно, он, как и Сережа, и даже с большим правом, чем Сережа, тайно считал себя непризнанным гением. Но сказать с достоверностью о том, что было у Феди на уме, не мог никто. Федя был одинок.

Будучи одарен саркастическим умом и преуспев гораздо больше Сережи в острословии, Федя отличался замедленностью реакций, в связи с чем создавалась видимость того, что он терялся под градом Сережиных шуток. Однако так обстояло дело лишь в присутствии толпы. В камерном кругу Федя был гораздо смелее, и порой Сережа уходил с поединка, им же спровоцированного, зализывая раны. Образцом Феदिного стиля, не допускающего поспешности, была реприза, произнесенная с задумчивой полуулыбкой, или короткая эпиграмма-экспромт, метящая в лицо очевидное и моментально распознаваемое. Помню одну из них:

Аллочка-красавица

Слушала Бетховена...

— Вам Бетховен нравится? —
кавалер спросил.

Встрепенулась Аллочка:

— Тот, что машет палочкой?

Очень, очень мил.

Однажды в морозный зимний вечер Сережа явился домой без пальто, которое, как выяснилось, пропало из университетского гардероба вместе с помещенными в карман одолженными тремястами рублями.

— По дороге,— рассказывает Сережа,— встречаю Федю. Идет, одно плечо выше другого, шея обмотана кашне, протягивает мне руку в теплой перчатке. Сразу видно, что у человека все в порядке, и если чего не хватает, так это собеседника. Останавливаемся. Ну, я делюсь с товарищем своим несчастьем. Дескать, такое случилось. Остался без пальто. Похитили триста рублей. зуб на зуб не попадает. «Из всего сказанного заключаю,— говорит Федя в ответ,— что в теплую погоду у тебя с зубами все в порядке, в то время как у меня, видишь, один зуб качается вне зависимости от погоды». Тут я вижу,— сворачивает свою повесть Сережа,— что он движется к фонарю с целью продемонстрировать свои не очень здоровые и сильно уступающие моим зубы.

Примерно год спустя Сережа звонит мне поздно вечером:

— Асетрина, слушай внимательно. Ты меня слышишь? Возвращаюсь я с Федей из Дома кино. Идем не спеша, беседуем. Обсуждаем западный кинематограф. Рирпроекция. Монтаж. Угол зрения. Угол отражения. Еще один угол: падения. Вдруг Федино лицо искажается такой гримасой и весь он как-то начинает оседать. От ужаса у меня самого что-то лопнуло в позвоночнике. «Тут у меня,— слышу я задыхающийся голос,— во внутреннем кармане пальто было пять рублей, которых недостает. Как ты думаешь, они уже закрыли свой гардероб? Ведь если я их завтра прищучу, уже может быть поздно. Пропьют».

Другим поедателем Сережиной солянки был до дерзости застенчивый Валера Грубин, который

обладал широким и открытым лицом, сияющей, обезоруживающей улыбкой, не допускающей мысли о том, что внешность может быть обманчива, а также способностью краснеть при произнесении звуков собственного имени. Сразу заняв положение завсегдатая сначала у нас с Сережей, а затем у меня без Сережи, Грубин нарушал рутину ежедневных визитов к нам внезапными и кратковременными исчезновениями, после которых возникал опять, как ни в чем не бывало размахивая спортивной сумкой, напиманшей сундук, из которой неизменно торчала водочная головка, и на лаконичный вопрос «Где был?» отвечал уклончиво: «Сначала на соревнованиях, потом пьянствовал». Все, что было известно о Грубине, поступало в виде Сережиных домыслов, к которым сам Грубин относился безучастно, и только лицо его, неизменно приобретающее цвет кумача, воздвигнутого освободителями над рейхстагом, выдавало присутствие зрения и слуха.

Впоследствии оказывалось, что спортивный гений Грубин, ни разу не обмолвившийся о существовании отчего дома, куда-то посылал трактаты о французской литературе, как-то оказывался почетным членом если не ПЕН-клуба, то Союза духоборцев, где-то печатал статьи о Достоевском, кому-то рецензировал научные публикации на тему «Крестоносцы со времен Папы Григория Девятого до наших дней» и для кого-то писал за ящик водки докторскую диссертацию на тему «Влияние Манифеста Александра Первого о присоединении Финляндии к России на „Апрельские тезисы“ Ленина».

Жизненным пульсом Сережиного филиала был бывший авиатор, еще не расставшийся с защитной гимнастеркой поблекшего хаки, хотя уже оставивший седую гриву своей стальной птицы. Слава Веселов во всем бросал вызов своей армейской профес-

сии, сведения о которой были нами извлечены из аксеновского эпитафия: «Там, где пехота не пройдет, где бронепоезд не промчится...» Вероятно, осуществив свое первое столкновение с литературой в небесной сфере, Слава попал в наш анклав с куском ватного облака, на котором то и дело проступали открытые им непревзойденные сюжеты.

— Сейчас Слава Веселов переписывает «Анну Каренину». У него с этим произведением особые счеты, — говорил Сережа, посмеиваясь.

По капризу, случайности или произволу в наших рядах оказался, впоследствии так же неожиданно и бесследно исчезнув, уже вписанный в анналы тотема Леня Мак, который появился в университете транзитом из Одессы, нуждался в ночлеге, получил его у Сережи в доме и стал членом семьи. Маленького роста, в очках, очень спортивный, в подчеркивающих каждый мускул панталонах, он был похож на боксера, был штангистом и называл себя поэтом. Однажды, будучи припертым к стене (если мне память не изменяет, на него свалился шкаф), он подтвердил свою принадлежность к гильдии поэтов, прочитав лирическую поэму, которая звучала так:

Она училась в Политехническом,
А я заочно учился в Горном.
И я ей свои стихи читал,
И я ей рассказывал про горы.

По утрам Леня разделял с нами традиционный Сережин завтрак, а в конце дня, который обычно проводился им в неустанных бегах по городу и заботах, его приглашали к трапезе, называемой ужином, оставляя его, таким образом, брошенным на произвол судьбы по части обеда. Однажды он попался мне в обеденное время, когда с вытаращенными глазами несся

по коридору университета в поисках чего-то упущенного. Еще не вполне осознав, с кем имеет дело, он выпалил, останавливаясь на лету: «Лапушка, накорми, я не ел три дня».

В один из тех ярких, солнечных дней, которыми особенно полна жаркая пора сдачи экзаменов, выпадающих на конец второго семестра, директором университетской столовой был назначен человек, почерпнувший свой гуманитарный опыт из золотого фонда отечественной литературы. Непосредственно ли столкнулся он с сокровищницей нашей словесности или присвоил чужие знания по этой части, сказать было трудно. Но бесспорным был тот факт, что новый директор начал свой первый эксперимент с того места «Мертвых душ», где у Гоголя сказано примерно так: «Как только Павлуша замечал, что товарища начинало тошнить,— признак подступающего голода,— он высовывал ему из-под скамьи, будто невзначай, угол пряника или булки и, раззадоривши его, брал деньги, соображаясь с аппетитом». Определенно расходясь с Павлом Ивановичем по части моральных ценностей и отторгнув принцип ложного сострадания в пользу сострадания истинного, новый директор приказал наводнить университетские столы образцами дармового хлеба и дармовой капусты.

Будучи в числе тех, кто первым признал и оценил широту подлинно русской благотворительности, Сережа проявил исключительную проворность в том, чтобы дать этой широте должный простор. Опередив прочих доброхотов, он ринулся на поиски Мака, который не преминул нам вскорости попасться на глаза.

— Я тут в столовой договорился с новым директором,— сказал деловито Сережа,— который проникся твоим положением и пообещал начиная с завтрашнего утра оставлять лично для тебя... на первом

столе справа... кое-что из съестного... например хлеб, а возможно, и капусту. Если тот стол окажется занятым, не вздумай чего-либо требовать, а спокойно проследи, чтобы он освободился, после чего садись и жди. Хлеб тебе непременно принесут. Возможно, даже и капусту.

Мак со слезами благодарности внимал Серезиным речам, и, пока новому директору университетской столовой не было суждено отправиться вслед за его предшественниками, в связи с чем тарелки с бесплатными хлебом и капустой растворились в фимиаме ими пропахшего воздуха, Мак, свято веря в Серезину заботу о нем и в избранность своей судьбы, проводил свой день до закрытия столовой в неусыпной мечте об открывающихся вакансиях на первом столике справа.

Маком была внесена особая, Маковая лепта в арсенал Серезинового суперменства. Обладая сверхчеловеческой физической силой, Леня мог, держа штангу на уровне плеч, сделать четыреста приседаний, что превосходило предел Серезиных возможностей, в которые поднятие штанги не входило, на величину, примерно равную тремстам восьмидесяти пяти. Ироничный Сереза, наблюдая за маковоцветным Маком, совершающим свой утренний ритуал приседаний со штангой, давал советы, которым упрямый Мак отказывался внимать, типа увенчать штангу каким-либо сувениром из домашней утвари, а однажды предрек Маку разрыв сухожилий, который игнорировать было глупо, ибо сухожилия и вправду порвались, поставив Мака в зависимость от Серези по части передвижения.

Сереза охотно согласился возить Мака от и до автобусной остановки на плечах, хотя в ходе первого же рейса выяснилось, что поступил опрометчиво. Усевшись верхом, Мак немедленно закурил, пуская

кольца дыма Сереже в лицо, а при подходе к альма-матер, когда Сережа взмолился, чтобы Мак убрал дымовую завесу, развеселившийся пассажир сделал честную попытку ее убрать, загасив окурок о Сережину макушку, в результате чего был отнесен назад к автобусной остановке и оставлен там в ожидании нового филантропа.

Генералы от литературы и продолжатели чеховской традиции составляли скромную долю в том узком кругу, квадрате и параллелепипеде, центром которого считал себя и был почитаем Сережа. Существовали и другие интимные аллеи, под сенью которых Сережа вершил свое ритуальное застолье, «делил», с позволения Баратынского, «шумные досуги разгульной юности моей». Список друзей этого круга составляли Игорь Смирнов, Миша Абелев, Саша Фомушкин, Нина Перлина, Марина Миронова, тогда подруга Миши Абелева, и более отдаленно — Сережа Байбаков, Леша Бобров и Костя Азадовский. В этих ежевечерних застольях текла наша жизнь, в которой все принималось как должное. Хрупкого вида Саша Фомушкин оказывался многократным чемпионом по боксу, отец Миши Абелева женился во второй раз, о чем свидетельствовало вошедшее в наш лексикон слово «мачеха», отец Смирнова был не то полковником, не то генералом КГБ, а отец Азадовского — лучшим в России специалистом по фольклору, под редакцией которого выходили уникальные издания сказок. Завсегдатаям вечерних посиделок, как, впрочем, и генералам от литературы, было известно, что Сережу можно называть Сереньким, как его любовно именовал Донат Мечик, его отец, Игоря Смирнова — Гагой, а меня — Асетриной, как когда-то ловко окрестил меня Сережа. С этими людьми связаны истории самого разного толка.

Однажды в присутствии Сережи Нина Перлина упомянула о своем знакомом, сочинителе экспромтов, перещеголявшем Пушкина. Сережа, всегда нутжно внимавший рассказам о здоровой конкуренции, тут же перевел свои мысли на язык собственных возможностей и глухо сказал: «Я тоже способен на экспромт». Выдержав подобающую торжественному моменту паузу, Нина потребовала доказательств, но натолкнулась на отказ сначала под предлогом отсутствия вдохновения, потом со ссылкой на то, что труд должен быть оплачен. Вознаграждение в размере рубля, тут же предложенное Ниной, устранило разом оба препятствия, после чего Сережа с готовностью приступил к исполнению экспромта, то есть, на секунду задумавшись, прочел нечто, походившее на чьи-то третьесортные стихи, вроде:

Я боюсь ваших губ, ваших локонов,
Я боюсь тех, что лгут, тех, что около...
Чтоб страшились вы нашего окрика...
Будьте счастливы, будьте прокляты...

Сделав такой разгон, он заметно вдохновился и выдал подлинный экспромт, благодаря которому пополнил свою казну суммой в один рубль:

Всем известно, что стихи —
Это вам не пустяки.
За такую сумму денег
Я писал бы целый день их.
Нина Перлина, греми.
Папа, шляпа, до-ре-ми.

В эмиграции оказались две Нины Перлиных, причем та, другая, была славистом и, вероятно, жила в Нью-Йорке, как и наша старая подруга, которая

и рассказала мне эту историю с чьих-то слов. Звонит другая Нина Перлина Сереже по его приезде в Америку с целью познакомиться и говорит:

— Здравствуйте, Сережа. Меня зовут Нина Перлина.

— Нина Перлина! Ну что за формальности,— откликается оживленный Сережа.— Немедленно приезжайте в гости.— Что другая Нина Перлина тут же исполняет.

Сережа открывает ей дверь и видит перед собой незнакомого ему человека, откликающегося на Нину Перлину. Минутное замешательство, а потом искренняя радость:

— Ой, Нина. Ну подумать только! Вы совсем не изменились.

У Леши Боброва Сережа был на первой в своей жизни свадьбе, где оказался назначенным шафером и в этом качестве был посажен рядом с невестой. На следующий день, описывая друзьям свадьбу Боброва, он говорил примерно так:

— Ну, ростом она примерно с меня, но уже в сидячем положении я ей сильно уступаю. У меня, собственно говоря... только ноги, а у нее шея, грудь, прочие выпуклости, а один зуб просто из драгоценного металла. Она, по-моему, мною крепко заинтересовалась, потому что, когда подали еду, придвинулась ко мне вплотную своей пылающей щекой и говорит: «Вы любите салат-т? Я так люблю салат-т».

Молчаливый Леша Бобров однажды имел неосторожность пригласить Сережу в баню, в связи с чем приобрел неостребованную славу Казановы. Помню, позвонил Сережа часа в два ночи:

— Асетрина, мог бы позвонить утром, но потом подумал, зачем тебе терпеть и мучиться до утра. Хочешь узнать, что было в бане? Нет? Ну так вот, лежу я себе и парюсь, а Бобров на верхней полке тоже как

бы парится. И вдруг вижу, на меня спускается шланг, такой типичный садовый шланг с нарезкой на конце. Приглядываюсь и вижу. Детородный орган. Но какой! И следом, вижу, спускается мыльная рука и так по-хозяйски его загребает и вверх уводит, а я мучаюсь, было видение или у меня фантазия разыгралась. Вот, живешь с человеком бок о бок, не подозревая ничего, женишь его, а он тебя — и мытьем и катаньем.

Замкнутое суждение

Аполлон Безобразов, никогда не ошибавшийся в людях, любил колебаться, любил одновременно утверждать и отрицать, любил долго сохранять противоречивые суждения о человеке, пока вдруг, подобно внезапному процессу кристаллизации, из темной лаборатории его души выходило отчетливое и замкнутое суждение, содержащее в себе также и момент доказательства, которое потом и оставалось за человеком неотторжимо, как проказа или след огнестрельной раны.

Борис Поплавский

Если можно говорить о таком явлении, как «литература шестидесятых» прошедшего сквозь смех и слезы столетия, то, едва сославшись на «время», необходимо тут же уточнить «место», причем уточнить со всей интимностью, ибо речь должна пойти не о России вообще и даже не о Невском проспекте, а, если позволите, о ресторане «Восточный», заведении питейном с элементами кулинарии высшего, по нашим, российским стандартам, пилотажа. Однако, несмотря на неотделимость наших литературных амбиций от всего, что могло быть выпито, разжевано и переварено, вовсе не за это «Восточный» ресторан вошел в нашу жизнь.

«Царил еще в Питере, не зная заранее своей гибели от руки „Садко“, великий „Восточный“ ресторан,— вспоминает много лет спустя писатель Сережа Вольф.— На Бродского. Я любил ходить туда каждый день, за вшивые 2 руб. 50 коп.

Выпить бутылку сухого с сыром, ну а вечером — чанахи, ничем не запивая, так как это следует делать наоборот... Однажды приходит. Высокий, красивый, якобы застенчивый (да нет, застенчивый) — огромный, право, на фоне портьеры между залом и, ну, как его... не залом...»

Сережа не упускал случая, чтобы не похвастаться тем, что обедал в «Восточном» ресторане каждый день, тем самым взяв на себя непосильную задачу разделить ежевечернюю трапезу как с его завсегдатаями, так и с лицами, к оному ресторану не причастными, при этом, разумеется, не погрешив против исторической правды. И в этом не было большой натяжки, ибо все наши друзья и родственники, прежде чем начать отыскивать нас по другим телефонным каналам, нарушали рутину всегда переполненного гостями «Восточного» ресторана неуместными просьбами пригласить Сережу или меня к телефону. Официанты, чье беззвучное перемещение по залу «Восточного» равнялось скорости отсутствующего при их перемещении звука, на ходу перепоручали задание скрипачу Степе, который был единственным человеком, исключая посетителей ресторана, которому спешить было решительно некуда. Приложив ухо к покорному и преданному ему «страдивариусу» и вторя его плачу молчаливым участием подернутых влажной грустью армянских глаз, Степа начинал лавировать под плывущими подносами и локтями танцующих пар (он был ростом немного выше спинки стула) по направлению к нашему столику, и мы уже знали, что кого-то из нас требуют к телефону.

Проведя в Америке более четверти века и так и не найдя места, где, при всей жестокости американской конкуренции, построенной на желании

заманить и ублажить клиента, того самого клиента запомнили бы не по щедрости чаевых, а по ему присущему, уникальному признаку, которым должно же как-то отличаться одно живое существо от другого, я с нежностью и чувством неоплаченного долга вспоминаю «Восточный» ресторан, где мы регулярно оставляли три рубля, к которым приравнивалась тогда стоимость бутылки вина и скромной закуски без включения чаевых и которые составляли цифру, ежедневно выдаваемую нам родителями в качестве карманных денег. Застенчивый Сережа («якобы застенчивый?») иногда вводил разнообразие в свое вечернее меню, ловко подхватывая с пустующего столика, чей владелец нерасторопно задерживался с дамой на площадке для танцев, оставленный без присмотра трофей типа утиной ножки или бутерброда с паюсной икрой.

В круг друзей, связанных встречами в «Восточном», входили, как было сказано, Сережа Вольф, Андрей Битов, Володя Марамзин, Володя Герасимов, Миша Беломлинский, его жена Вика, впоследствии ставшая моей подругой, Ковенчуки, приятели Беломлинских, Глеб Горбовский, а также всегда элегантный, всегда женатый на ком-то нском и загадочном, галантный без нужды в стеганом картузе с козырьком, любимец прекрасного пола и его же покоритель, ученый-физик Миша Петров.

О выходе из «Восточного» ресторана Володе Марамзине Сережа любил рассказать две истории. Начну с той, что пришла на ум стараниями подруги молодости Жени Сафоновой, о которой речь впереди. Марамзин, подвизавшийся мелкой сошкой на ниве «Ленфильма», оказался причастным к его внутренней жизни. В частности, он был осведомлен об одной слабости директора «Ленфильма» Киселева,

отдаленно касающейся женского пола. Например, критикуя директора картины за перерасход бюджета, Киселев любил сказать так: «Любая Зина Распердяева распорядилась бы деньгами лучше». При недовольстве игрой актеров он высказывался в том же ключе: «У любой Зины Распердяевой эта роль вышла бы интереснее». Однажды министр культуры Фурцева, прибыв на «Ленфильм», пожелала попристальнее ознакомиться с его работой. Киселев начал очередное заседание с легкой критики репертуара и, расслабившись, начал было высказываться в своей любимой манере: «Любая Зина...» — но, осекшись на слове «Распердяева», мгновенно произвел подстановку: «Любая Зина Королева смогла бы подобрать репертуар лучше». В этот момент из задних рядов поступил вопрос, в котором распознавался голос Володи Марамзина: «А что, Зина Распердяева замуж вышла?» В этом месте рукописи Алик Жолковский, которому пользуюсь случаем выразить свое нижайшее за, как я позволю себе вольно интерпретировать, поддержку, приписал на полях своим полуидеальным почерком: «Ну, „furzen“ (Фурцева) по-немецки и есть „пердеть“».

Володя Марамзин был первым литератором, вступившим в юридические распри с издателем. Вернее, он был первым из известных нам авторов, попавших в почетный список «публикуемых». История тяжбы Марамзина с издателем, пополнившая, ввиду ее анекдотичности, арсенал Сережиных историй, наряду с историями об Олеше получила мгновенное распространение и признание. Сережина версия звучала примерно так. Издатель отказался заплатить Марамзину за напечатанный материал то ли из-за недостатка денег, а возможно, из общих соображений — ведь не платить же добровольно писателю,

особенно если он при этом похож на еврея и имеет все шансы евреем оказаться? Марамзин требовал, издатель отнекивался, Марамзин кипятился, издатель стоял на своем. В результате все закончилось крупной неприятностью, и суду предстояло решить для кого: для издателя ли, в которого промахнувшимся Марамзиным было запущено пресс-папье, или для Марамзина, который запустил пресс-папье в издателя, допустив промах.

Адвокат Марамзина задает издателю вопросы.

— Говорят, кабинет у вас внушительный, просторный?

— Как раз наоборот, весьма небольшой и душный,— отвечает издатель.

— Ну а стол, должно быть, дубовый, солидного размера?

— Да нет же,— продолжает сетовать издатель,— и стол достаточно маленький и невместительный.

— А как насчет пресс-папье, оно-то уж наверняка из мрамора?

— Угадали, из мрамора, под старину.

— И последний вопрос, товарищ издатель: как вы объясняете тот факт, что, оказавшись вместе с вами в небольшом кабинете и сидя за небольшим столом прямо напротив вас, обвиняемый Марамзин запустил пресс-папье из тяжелого мрамора непосредственно в вас и именно в вас-то и не попал?

Издатель, очень грузный и величественного вида мужчина, зардевшись, отвечал:

— Ну так я же не стоял на месте.

Знал бы издатель Марамзина, что история подарила ему предшественника в лице императора Александра II, он, вероятно, не позволил бы себе так малодушно раскраснеться. Как сообщает нам Игорь Волгин, автор талантливой книги под названием «Последний год Достоевского»:

«2 апреля 1879 года император прогуливался вокруг Зимнего дворца. Когда (как сказано в правительственном сообщении) он подошел к штабу С.-Петербургского военного округа, что у Певческого моста, „с противоположной стороны здания вышел человек, весьма прилично одетый, в форменной гражданской с кокардой фуражке. Подойдя ближе к Государю Императору, человек этот вынул из кармана пальто револьвер, выстрелил в Его Величество и вслед за этим сделал еще несколько выстрелов“. На деле картина выглядела менее статично: шестидесятилетний царь-освободитель спас свою жизнь лишь тем, что, подхватив полы шинели, стал зигзагами уходить от Александра Соловьева (как деликатно выражались газеты, государь „изволил быстро повернуть направо“).

Конечно, сражение Марамзина с издателем имело свою историю даже в пределах отечественной словесности. Не заходя в глухие дебри, напомним о печальном издательском опыте именитого его предшественника, Юрия Карловича Олеша, который принудил задолжавшее ему издательство расплатиться с автором без вмешательства правосудия.

«Говорят, — рассказывал Сережа, — Олеша терпеливо ждал денег около года. Он регулярно ходил в издательство, и каждый раз срок отодвигался ровно на две недели. Издатель ждал денег. Их же ждал и Олеша, но издатель ждал их с завидной терпеливостью, а у Олеша в какой-то момент терпению пришел конец, и он сказал издателю в ответ на назначенный ему новый срок:

Когда случилось петь С. Д. и мне

— Прийти-то я приду, но уж без денег не уйду.

В назначенный день он пошел на рынок, купил коровье вымя, аккуратно заложил его в свои штаны и отправился к издателю.

— Где деньги? — спросил Олеша.

— Не пришли. Сам без зарплаты сижу уже почти год. Как получим, недельки через две, дам вам лично знать, — ответил издатель.

— Я же вас заранее предупредил, что недельки через две будет поздно, да и ни к чему, — сказал Олеша, вынимая из кармана складной нож с выскочившим из него лезвием, расстегивая ширинку и высвобождая нечто, что смотрелось весьма нецензурно.

Когда он стал резать ножом по живому, издатель побледнел, торопливо вынул из ящика стола заранее заготовленный конверт с надписью „Олеша“ и, отвернувшись, протянул его писателю:

— Получите ваши деньги и перед выходом застегнитесь, ради Христа».

Видать, печальный издательский опыт запал в душу Олеша так пронзительно и остро, что, даже отдавшись с головой сочинительству, он нет-нет да и возвращался к своему диалогу с издателями мира, правда иногда позволяя себе то одну, то другую вольность по части перочинных ножей и мест их погружения в человеческую плоть.

Издатель «выдернул перо и швырнул его вдогонку... Но разве при этакой толщине можно быть хорошим копьеметателем! Перо угодило в зад караульному гвардейцу. Но он, как ревностный служака, остался неподвижен. Перо

продолжало торчать в неподходящем месте до тех пор, пока гвардеец не сменился с караула».

Сам облик Юрия Карловича занимал значительное, быть может, самое значительное место в иконостасе Серезиных авторитетов. При этом Олеша был представлен Серезей, разумеется, не как «сдавшийся властям писатель», каким его считал Аркадий Белинков, и не как писатель, широко печатавшийся в официальной советской прессе. Все эти сведения стали нашим достоянием уже в эмиграции, из публикаций Аркадия Белинкова об Олеше, подготовленных стараниями его жены Наташи. Что касается нашей молодости, то она прошла под знаком того Олеша, которого с интимностью доброго знакомого представил нам Сереза.

«Юрию Карловичу предлагается договор на книгу,— повествует он.— В тексте договора имеется такая строчка: „Юрий Карлович Олеша, который будет в дальнейшем именоваться автором...“. Олеша читает договор, после чего молча отодвигает его в сторону.

— В чем дело? — недоумевает издатель.— Вы что, отказываетесь подписать?

— Отказываюсь.

— Почему?

— Не хочу.

— Почему же вы не хотите?

— Мне не нравится его форма.

— Чем же она вам не нравится?

— Меня не устраивает одно место. Вы там пишете, что Юрий Карлович Олеша будет в дальнейшем именоваться автором.

— А как бы вы хотели, чтобы мы написали?

Когда случилось петь С. Д. и мне

— Я хотел бы иначе.

— Как?

— А вот как: „Юрий Карлович Олеша будет в дальнейшем именоваться... Юрой“».

Оказавшись в числе немногих авторов, чьи имена вошли в нашу жизнь в их интимном, фамильярно-почтительном звучании: Михаил Афанасьевич, Борис Леонидович, Михаил Михайлович, — Юрий Карлович Олеша, в то время мною не почитаемый, нашел в Сереже бескорыстного и бесстрашного адвоката.

— Ты мне скажи, могла бы ты написать: «Веселый вальс улетал с ветром — пропадал и не возвращался...» или: «Женщина уронила толстую кошку. Кошка шлепнулась, как сырое тесто». А вот еще: «Цветочница уронила миску. Розы высыпались, как компот».

— Думаю, что могла бы, — отвечаю я. — Неудачный прозаик застрелился своей метафорой. Метафора вошла в него, как курица в жаркое.

— Пошло, но приемлемо, — рассудил Сережа, немного подумав, и тут же добавил: — Но не в отношении Олеша.

Король подпольного мира, наш университетский товарищ и виртуоз по добыванию денег Толя Гейхман пропивал свои заработки в том же «Восточном». Имя Толика особенно полюбилось тогда еще не встречавшей его Норе Сергеевне, которая развлекала своих гостей, изображая, как Сережа, не застав меня дома, бросался с утра к телефону и, стоя в коммунальном коридоре в одной пижаме, говорил с поднятой к уху рукой:

— Койсмана, пожалуйста. Это Койсман? Вас беспокоит встревоженный Довлатов. У вас Аси случайно не было? Не расслышал... Вы хотите знать когда? Ну, вчера вечером или, скажем, даже сейчас.

Нет? Очень жаль. А когда была? На прошлой неделе? А-а-а. Ну, простите, что так рано потревожил.

Набирается новый номер:

— Нельзя ли Гейхмана к телефону? Да, Толика. Нет дома? Где бы он мог сейчас быть? Не с Асей ли? Вы сказали, а-р-е-с-т-о-в-а-н? Да ничего срочного. Передайте ему, что один товарищ звонил. Хотел узнать, что задано по диамату. Да пустяки, не беспокойтесь. Всего вам доброго. Привет Толику.

В «Восточный» ресторан часто заглядывал знаменитый фарцовщик по имени Фред и кличке Красный, которая красноречиво и точно отражала тот тип сильно пьющего человека с красным лицом, каковым он и являлся. Сережа поддерживал с ним таинственную связь, подробности которой не были включены в сборник его устных рассказов за исключением одной истории. Когда Сережа рассказывал что-нибудь смешное, он обычно сам хохотал, прикрыв по-детски кулаком рот, но хохотал он в процессе рассказывания, а не до того. А вот историю о Красном он принимался рассказывать несколько раз, уже было начинал, но срывался на хохот.

«На Невском образовалась толпа вокруг огромной овчарки, которую хозяин не спускал с поводка. Собака была столь велика, что все держались на безопасном расстоянии от нее и никто не осмеливался пересечь черту. Красный, который прогуливался с Сережей по Невскому, подошел узнать, что происходит, увидел пса, раздвинул толпу локтями и, приблизившись к хозяину лицом к лицу, кивнул в сторону пса: „За пятерку укушу“».

В «Восточном» ресторане с Андреем Битовым произошел случай, которому бы надлежало быть вписанным

в анналы истории литературы шестидесятых, который закончился грустно для Андрея и катастрофой для двадцать седьмого отделения милиции, находившегося в непосредственном соседстве с «Восточным». Все началось с незабвенного Валеры Попова, который, получив свой первый гонорар, равнявшийся некой астрономической по тем временам цифре — из глубин памяти всплывает тысяча рублей, — заказал в «Восточном» ресторане отдельный кабинет на десять человек.

Тут необходимо сделать упругий скачок вперед, в то пространство и в то время, когда моя версия была затребована для прочтения уже упомянутой подругой юности Женей Сафоновой, оказавшейся в самый подходящий момент в Америке и прервавшей чтение моей рукописи именно в этом месте:

— Ну, насчет глубин памяти ты тут приврала и по сути, и по определению, — сказала с характерным для нее знанием сути подруга Женя. — Начнем с того, что в памяти, особенно когда речь идет не о воде в новгородских колодцах, а о гонораре писателя, подписывающегося не Евтушенко, а Поповым, следует искать не глубины, а жизненной правды. Та память, из которой всплывает твой гонорар в тысячу рублей, называется как раз амнезией, ибо в памяти сохранилась подлинная цифра в сорок рублей, по совокупности с которой возникает вопрос о том, готова ли ты признать свою гнусную роль в этой истории.

— Роль? — спрашиваю я с недоумением человека, в обиходе которого слово «роль» еще не встречалось.

Не удостоив меня ответом, подруга Евгения углубляется в чтение.

К моменту закрытия «Восточного» у всех десяти участников банкета, в число которых входил и Андрей

Битов, содержание алкоголя подскочило до той величины, при которой форма оказывалась куда важнее содержания, а форма тела уже не держала вертикальной позиции, грозясь принять не прямой угол. Вышагивая вниз по дворцовой лестнице, Андрей, как полагали очевидцы, не имел никакой другой цели, как спуститься в гардероб. Однако судьба готовила ему другие награды и поражения, в преддверии которых он неожиданно качнулся вправо, в сторону стены, декорированной со времен Карла Росси хитрым узором из зеркальных ромбов. Отразившись в ста тысячах плоскостей на манер героя романов Роб-Грийе, Андрей поник, всем своим видом угрожая нанести «Восточному» ресторану материальный ущерб, который тут же подтвердился в виде утраты, значение которой, исчисляемое при желании даже в долларах, росло по астрономической шкале. Стараниями Андрея от старинной декорации Росси отскочил один зеркальный ромб. Удостоверившись в том, что воспоследствующая утрата ему не померещилась, гардеробщик «Восточного» ресторана незамедлительно связался с двадцать седьмым отделением милиции, построенным, по всем имеющимся догадкам, в том же, как и «Восточный», 1825 году или около того и, скорее всего, по проекту того же итальянца Росси, похоже избежавшего, за давностью времени, ответственности за то, что случилось с Андреем в тот исторический вечер.

Из ворот двадцать седьмого отделения стремительно вынеслось несколько милицейских машин, которые, разогнавшись и не будучи в состоянии остановиться у парадных дверей «Восточного», были вынесены Исааком Ньютоном к Невскому проспекту, откуда вынуждены были сманеврировать назад. Все произошло с такой скоростью, что, когда мы с Ингой Петкевич, тогдашней женой Андрея, вышли

из туалета, находившегося напротив гардероба, с беспечно напудренными носами, перед нами открылось нечто ошеломляющее. Андрей Битов, уже сделавший заявку на то, чтобы быть первым прозаиком России, бушевал на ковровом полу вестибюля под натиском двух верзил в милицейских формах, пытавшихся его связать для помещения в милицейский фургон. Первым, что бросилось в глаза, был гигантский милицейский сапог, покоившийся на шее Андрея, из-под которого торчала голова писателя, хрипло и с надрывом, но членораздельно выговаривавшая: «Вы Ивана Бунина знаете? Толстого читали?»

В ту же секунду Инга Петкевич, одним скачком оказавшаяся в центре событий, рухнула спасать мужа, вцепляясь зубами в милицейские обшлага, икры и выи, но подоспевшая подмога справилась с обоими, втащив их в давно поджидавший у подъезда милицейский фургон. Мигом протрезвевшие гости Попова бросились следом в отделение милиции, из которого Андрей был отпущен только к утру, притом даже не домой, а в госпиталь, где ему были наложены швы на вспоротую от ударов голову. После этого эпизода двадцать седьмое отделение было распущено, и ходили слухи, что этого добился отец Андрея, причастный к системе юстиции. «Если такие слухи и ходили,— сказал мне сам Андрей, прочитавший эти строки в Америке спустя тридцать с лишним лет,— то ходили без всякого основания, ибо мой отец, чью память мне хотелось бы сохранить неприкосновенной, никогда не был даже членом партии».

— Ну так вот,— промолвила Евгения, отложив рукопись.— Дело было так. Валере обломилась сорок рублей. Ровно сорок. Понимаешь? И он заказал номер в «Восточном» ресторане, куда мы пришли с опозданием и застали гостей в сборе: сидящими,

как ты там намекаешь, в отдельном кабинете при обилии водки и некоторого количества соленых огурцов. Мы садимся, и Валера, улыбаясь, протягивает тебе меню: «А сейчас нам Ася сделает заказ», что ты, не глядя, и делаешь: «Хотелось бы,— говоришь,— ананасов, да побольше, а к ним шампанского, да послаще». Памятуя, что у Валеры в руках было по-прежнему сорок рублей, не больше и не меньше, которых на оплату твоего нескромного заказа едва ли хватало, вернемся к Андрею Битову, только что расставшемуся с последним шансом по-человечески закусить, при том что уменьшить количество авансом выпитой водки уже не представлялось возможным. Спрашивается,— продолжает невозмутимая Евгения, стряхивая пепел на московский манер, то есть постукивая по сигарете сверху, а не сбоку, как было заведено в старом Петербурге,— мог ли Битов остаться трезвым и кто в чем виноват?

— Евгешка,— оправдываюсь я как могу,— если из нас двоих кому-нибудь и изменяла память, то это, разумеется, не тебе. В этом я отдаю себе отчет. Однако, признаюсь, ничего из здесь тобой изложенного и на дух не припомню,— на что Евгения продолжает:

— А дальше события развивались так: все скинулись, и счет был оплачен, после чего официантка нагнала Валеру уже в коридоре. «Тут вышла ошибка,— говорит.— С вас еще восемнадцать рублей». Валера задумался: «А вы уверены, что именно восемнадцать?» — «Точнее, восемь». — «А четырех хватит?» — спросил Валера с надеждой и услышал в ответ: «А то».

С «Восточным» рестораном связано имя Виктора Сосноры, который впервые встретился с Сережей на собственном бенефисе, оказавшись одновременно и обвинителем, и пострадавшим, причем в качестве

обвинителя он вершил правосудие над «синагогальными евреями», а в качестве пострадавшего был судим коротким на расправу Довлатовым. Дело было так. Нине Перлиной было поручено присмотреть за квартирой уже упомянутого на страницах данного нарратива адвоката по имени Фима Койсман и по кличке Манюня, свившего себе гнездо с налетом заграничной роскоши и комфорта.

Едва убедившись, что ключи работают, мы с Ниной немедленно вызвали поэтов. Соснора, оказавшийся в числе приглашенных, был приятно удивлен, найдя в холодильнике, который он не преминул обследовать с дотошностью непризнанного поэта, наряду с кефиром и халвой нектар заокеанского манго, дольками уложенный ананас, захлебнувшийся в сладком сиропе, жбан зернистой икры посола Хо-мени и бутылку коньяка, носящего имя императора, успешно экспортировавшего из России океан мучительных воспоминаний. Утонув в подушках «дивана замш», Соснора споловинил первую бутылку и повел дерзкую речь, обращенную к «сплотившимся на ниве сионизма» Осе Бродскому, Яше Гордину и Осе Домничу.

В надежде привлечь внимание «сплотившихся», которым они упорно отказывались его удостоить, Соснора пустил в ход оказавшийся под рукой магнитофон «Grundig», который, описав небольшой круг, приземлился на в тот же миг потерявшую свое предназначение стойку с хрусталем, что явилось началом схватки, в ходе которой проигрыватель «Sony» повис на утратившей шелковые лепестки люстре гостиной, а динамики фирмы «Magna Planar» перегородили столовую щитами, уподобив ее половецкому стану. В разгар конфликта разгоряченный Сережа схватил не менее разволновавшегося Соснору в момент, когда тот замахивался на кого-то собственной гитарой,

и при помощи рук и ног прочно всадил гитару и ее хозяина в небольшое пространство под телевизором, после чего Соснора утихомирился и начал перекачивать свое родовое «р» в уже известное нам всем помидордотворение:

Гордод помидордов, помидорд.

На следующий день Сережа отчитывался кому-то по телефону о подробностях вчерашнего поединка с Соснорой. Он говорил, подхихикивая:

— Тело его было замкнуто по кругу, но глаза и рот, наоборот, растянуты, и из этого растяжения звездным мерцанием сияли две свинцовые пломбы...

Много лет спустя из Серезиново подсознания был извлечен контекст, в котором кто-то кого-то избивал, и, при акцентах, расставленных автором «Зоны» в строго инверсионном порядке, тот, кого избивали, был уже сам автор, а тот, кто избивал, был вовсе даже не Соснора, хотя «свинцовые пломбы», перекочевавшие в мир вымысла из реального мира, безошибочно вели к первоисточнику:

«Когда меня избивали около Ропчинской лесобаржи, сознание действовало почти невозмутимо: человека избивают сапогами. Он прикрывает ребра и живот. Он пассивен и старается не возбуждать ярость масс... Какие, однако, гнусные физиономии! У этого татарина видны свинцовые пломбы...» — пишет уже автор «Зоны».

Еще два десятилетия спустя, и уже вдогонку Серезе, на небосклоне Санкт-Петербургской «Звезды» появился в числе прочих мемуарист Соснора, который, то ли запамятавав о реальных событиях прошлого, то

ли не найдя в них необходимого в мемуарном деле специя, переметнулся в сторону мифотворчества. И тут, ровно на этом самом месте, хотя, разумеется, при полном сознании и знании того, о чем я собираюсь писать дальше, вернее даже, отменив или, скорее, подвесив то, что уже было мною написано впрок, мой бесценный критик С. Ш. произнес: «Ну, так здесь же начинается новая тема. Причем многим темам тема, о том, как скрипичный ключ Сережиного псевдодокументализма, до которого мы с читателем еще не добрали, определяет все остальные ноты высокого регистра, которые взяли мемуаристы, слагатели легенд о Сереже».

СКВОЗЬ БЕЗДНЫ И БЕЗДНЫ

— Аполлон Безобразов! Где вы? Ответьте.

— Я далеко.— И потом снова тихо, как бы засыпая: — Я в том, что было до рождения Света.

Опять молчание, я хочу что-то возразить, что-то объяснить, защитить, но я так устал, мысли путаются у меня в голове, я теряюсь и тону где-то, медленно опускаюсь сквозь бездны и бездны.

— А искусство,— вдруг почему-то вспоминаю я.

— Далеко, далеко — спокойно, спокойно, насмешливо,— в точности голос говорящего во сне: — Какой позор.

Борис Поплавский

О ком бы ни писал живой автор воспоминаний, он пишет прежде всего о живом себе, желая того или нет. И какими бы высокими намерениями ни проникался мемуарист, набрав высоту или даже сделав другой какой скачок от мемуариста в мемуаралисты, как бы ни пожелал он набородить или выбородить своего брадатного протезе, его мемуарабилии падут в первую, как говорится, голову на голову ему самому. Мне возразят, что если сыскать для мемуаров подходящее определение, чего я сделать не могу из тех суеверных мыслей, что не одному цеху человек делать это куда сподручнее, то моя мысль может потечь по иному руслу. А где же взять подходящее определение, когда и завалищего-то не сыскать? Конечно, воспоминания можно представить себе силлогистично, где все мемуаристы Сережи, да и Сережа сам в качестве мемуариста или даже мемуаралиста своего поколения, набородили и выбородили бы

память о себе на фоне своего безбородного племени, покрытого фраком неизвестности.

И тут возникает такое любопытное житейское обстоятельство. Ну, о мемуаристе, или мемуаралисте, Сереже речь, как говорится, своей чередой. Обмолвемся как раз о мемуаристах мемуаралиста, настоявших свой мемуар уже после того, как Сережа опорожнил все причитающиеся ему в домемуаральной жизни шкалики... Сколько бы, вы думали, среди них людей, знакомых с Сережей всего лишь шапочно или, скажем, гитарно, а скорее всего, и шапочно, и гитарно, как Соснора? Теперь представьте себе такого мемуариста, а для простоты представьте Соснору, которого вдруг призвали други, — воздай, дескать, почести товарищу по перу, незабвенному Сереже Довлатову.

Думаю, почесал в своем затылке и в других каких потаенных или менее потаенных в смысле постороннего взгляда местах шапочно-гитарно знакомый с Сережей Соснора, пошарил вокруг себя в поисках того-сего, может, даже прочел чего для порядку (неприменно прочел, говорит мне внутренний голос), ну и пополнил том воспоминаний, который в моей памяти осел в виде фактологического, то бишь «документального», обезвоживания, при этом сохранившего псевдодокументальный привкус зрелой, быть может даже перезрелой, настойки. Я, разумеется, не касаюсь тех зелий, в которых созрело и воплотилось само бесплодие, вопиющее о засухах, неурожаях, падеже и вопле голодающих Поволжья.

Как же почтил один мемуарист другого мемуариста и что при этом пропел он о себе, желая того или не желая?

«...Довлатов... создает себе множество щитов то грубого, то изысканного юмора и иронии, и за

всем этим стоит тот мальчик, ранимый, добрый, чудесно-умный и чистый, которого я впервые увидел на университетском балу в Новый, 1962 год на елке, где он стоял в галстукке, под потолок, и думалось: как жить тому, у кого головы всех друзей — под мышкой, а женщины — по пояс?» — с умилением глаголет мемуарист Соснора, поставив слезно-синильное пятно на подлинный документ своего шапошно-гитарного знакомства с Сережей и возродив псевдодокумент, основанный на негласном контракте о доверии между мемуаристом и читателем.

Однако доверие от знания отличается тем, что знание всегда конкретно, а конкретными могут оказаться самые невероятные вещи, причем даже такие, о которых известно, что они смахивают на самые что ни на есть пустяки. При слове «пустяки» мне на ум приходит такая безделица. А была ли в Павловске новогодняя елка? Допускаю, что была, хотя лично в моей памяти она не запечатлелась. Возможно, что она не запечатлелась и у Сережи в памяти, хотя о запечатленностях Сережиной памяти с моей колокольни судить предосудительно. Так что судить не буду. Что касается новогоднего бала, то он, разумеется, был, причем был не только в моей памяти, но и в памяти других мемуаралистов из числа живущих, хотя имел место совсем не в 1962 году, как это запомнилось Сосноре, а в 1959-м, то бишь совершенно в ином десятилетии, нежели это запечатлелось в памяти досточтимого мемуаралиста. Казалось бы, пустячок, а все же фактическая неустойка, хотя, разумеется, простительная. Память на даты подводила не только мемуаралистов. Даже летописцы иногда даты перевирали. А тут речь идет даже не о летописце,

а вовсе о поэте. Поэту сам Бог велел немного пофантазировать, ну а цифры раздуть — так это святое дело. Короче, что даты перепутал, так на то он и поэт. Главное, что образ увековечил. За то ему и спасибо, и в ноги поклон. А что забыл, запомнил, так это бывает.

Помилуйте, а что за образ Соснора увековечил? Сережи, дорогого «мальчика», стоящего «в галстук, под потолок». Ну, положим, про галстук Соснора приврал. У Сережи не только галстук, да и идеи галстука в те времена не возникало. Но и тут дело пустячное. Кто в творческом порыве не откажет себе в том, чтобы при случае немного приврать, так сказать, выразиться метафорически? А раз сами грешны, то что с Сосноры требовать? Идем дальше. Катимся. Ну и докатились мы до самых потолков, которые, как Сосноре наяву привиделось, «мальчик» Сережа «поджимал». Позвольте, а откуда этот глаголец «поджимать» выскочил? Вроде он от самого Гостомысла никогда с потолками не соседствовал, а, наоборот, с предметами, исключительно к поджиманию относящимися, типа коленок, губок или песьих хвостиков?

Ну хорошо. А с вами такого не бывало? Скажем, перепутал поэт глаголы. Хотел сказать «подпирать», а выписалось «поджимать». Делов-то. А что, если там, где можно «подпирать», позволительно иногда и «поджимать»? Что тогда? Тогда выходит, что Сережа дворцовый потолок павловского замка плечами подпирал. Да разве такое возможно? Ну, батенька, тут уж совсем нехорошо выходит. А коль нехорошо, то мы в назидание всем грядущим мемуаралистам самого Сережу вместе с его жреческим тронном напустим. Он преподаст вам урок русской грамматики и объяснит, конечно, если сам вспомнит, что обязанности подпирать дворцовые потолки были исторически (истерически?) возложены на женщин, притом

даже не на всех. Скорее только на карийских дев, которым сам жрец Сережа едва ли мог вырасти «по пояс». Но Довлатова в нужный момент не оказалось.

А что же Соснора? Совсем запутался в лабиринте ошибок. Погряз. Хотя не он первый, не он и последний. Видать, не сдюжил как очевидец. Вот и решил собрать по сусекам у других. Так и докатился до мемуариста Чирскова Феди, которому о «мальчике» Сереже, обложенном щитами «то грубого, то изысканного юмора и иронии», было куда сподручнее мемуаризировать. Причем он, Федя, как раз позаботился свою публикацию обнародовать загодя, чтобы Сосноре долго ходить не пришлось. Чай, не молодой уж. Да и со зрением не ахти. А Федя как в воду глядел. Думал, не ровен час, поручат Сосноре чего сказать о Довлатове, а он ни два ни полтора, с «синагогального» момента не запомнил ничего, за душу берущего. А сослаться, что, дескать, позабылось о Сереже к нужному моменту, тоже нехорошо.

Короче, Федин рассказ ну как нельзя лучше к сроку пришелся. Одна беда, что его, кроме Сосноры, еще тысяч пять народу прочло. Все подписчики «Звезды» плюс заинтересованные лица, и Сережа в их числе, без должного эстетического наслаждения, возможно, но прочел. Ему, Сереже, может, даже и невпроворот было читать Федины размышления о себе, а все же превозмог. Воздал долг платежом. Ну а Сосноре, чтобы избежать чужих нареканий, вроде моих, пришлось немного над Фединым текстом потрудиться. Скажем, взял мотив, но, как водится, подменил краски. Контрасты навел. «Галстуком» одолжился, приняв его за деталь реалистического портрета. Одним словом, судите сами.

«Решено было ехать на ночной новогодний бал в Павловск. Хотя времена ночных балов

и маскарадов в Павловске давно миновали, — писал Федя загодя, в помощь Сосноре, — в сочетании этих слов оставалось много магнетизма.

...Сергей Меньшин, усмехнувшись, посмотрел себе в глаза через квадратное зеркало, сделал понимающую гримасу, неумело поправил галстук, который все время приходил в противоречие с воротником рубашки, растрепал волосы и тщательно причесался... Уже одетый, он вернулся на кухню, ухватил двумя пальцами с боков и отправил себе в рот холодную котлету. Тихо улыбаясь, он репетировал сегодняшнюю роль, слегка грубоватый, обаятельно неуклюжий мужчина с платком, явственно выглядывающим из бокового кармана».

По такому пути шел Соснора, оставив свидетельство того, чего в реальной жизни свидетелем не был. Разумеется, то, чего он был свидетелем и что такой неприятной занозой застряло в моей памяти, могло, наоборот, выветриться из его памяти. Ведь недаром же Фрейд упреждал нас, что все неприятное мы склонны выветривать. Это значит, что если Соснора что выветрил, то, значит, то, что он выветрил, как раз и было для него неприятным. Но была и другая встреча с Сережей, куда более мемуаробильная для Сосноры. Он, Соснора, однажды заехал из «Восточного» прямо в Нью-Йорк. Как говорил другой поэт, Несоснора, «дал кругалю» и там отыскал своего друга со времен новогодних елок.

В результате ко мне, тоже в Нью-Йорке оказавшейся, поступил от Сережи мемуарал одного ресторанного визита, из которого явствовало, что полуслепой Соснора, в сопровождении двух огромных чемоданов, попавших по традиции юности к Сереже на

предмет перемещения в пространстве, отыскал в меню, по опыту непризнанного поэта, тоже известному за ним с юности, самое что ни на есть дорогое и желанное блюдо, благо расплачиваться по жребию выпадало Сереже. О том, что это событие глубоко запало Сереже, гласит и наличие письменного документа с небольшой редакторской правкой того же автора.

«Из советских писателей видел Соснору, ужасно жалкого, больного, но остроумного и смекалистого,— повествует Сережа Юлии Губаревой,— мы были с ним в русском ресторане у Вили Токарева (говорят, он большая знаменитость в России), и Вилия сказал: „А дружок-то твой, глухой, слепой, но самый большой шашлык в меню запросто нашел“».

В одной части моей повести, где я без излишней щепетильности воздала одному талантливому поэту, скинув со счетов другого, менее удачливого по части таланта стихотворца, один читатель, оказавшийся почтенным А. А., которому здесь будет отведено особое место, мне попенял, что мои потуги на деконструкцию ложно истолкованы мною как право на «размазать по стенке». Я, разумеется, сначала согласилась и даже вознамерилась вымарать то указуемое им место об одном поэте в соседстве с другим. А вознамерившись, вознамерилась всерьез. И дело даже не в том, что, согласившись с А. А., я принесла некоторые свои чувства в жертву разуму, хотя отчасти дело именно в том, что греха таить. Сами посудите. Пишешь о живых человеках, скромных рядом с помпезными, правдивых рядом с, как бы это покороче выразиться, мифотворцами, попутно выясняя, что скромных и правдивых Господь талантом наделил,

а помпезных мифотворцев не заметил. Ну, тут тебя и подмывает поставить их рядом, как Иоанна Крестителя с Богородицей в Деисусе. «Так что ж, что подмывает, а где же смирение?» — упрекает меня А. А. Вот я и смирилась. Запретную аналогию мысленно вымарала из будущего текста и уже было приготовилась к физическому изъятию...

Но тут, совсем под занавес, то есть когда неполные 300 страниц сей рукописи уже начали собирать пыль на отведенной им полке вишневого дерева, навалясь всем весом на фолианты Довлатова, приобретенные по случаю, да и то не мной, получила я майский номер «Звезды» за 1998 год, спасибо Андрею Арьеву. И сами посудите! Ну как было мне не скатиться дальше в ингресс запретных аналогий? Конечно, можно было отказаться от потуг на деконструкцию. Можно было и вовсе промолчать, коли не спрашивают. Короче, беспокойно мне читалась эта «Звезда», в которой один талантливый мемуарист свои наблюдения выстроил из глубин темных альковов, а другой, талантливо бесталанный мемуарист, разложив свое словесное и прочее разгильдяйство, провозгласил свои «воспоминания» с лобного места, как если бы выступал от лица самой императорской фамилии. А от лица императорской фамилии даже сам Господь, надо полагать, знакомый с российским законодательством, выступить бы не рискнул. Если не верите, вам Достоевский расскажет. Ведь как-никак поплатился он своим редакторским местом в «Гражданине», едва от лица Государя Императора слово замолвил. То-то и оно, что Достоевский поплатился, а мемуарист Смирнов в очередь встал за очередным авансом.

Свою разухабистую алкоголиаду начинает Игорь Смирнов, наш бывший университетский товарищ,

с бравурного обещания не «предавать» спиртного, которое звучало бы убедительно, если бы автор данного обещания действительно был в юности сильно пьющим человеком. А так как Игорь Смирнов как раз был умеренно пьющим, скорее даже вовсе не пьющим человеком, то верить его обещаниям следовало бы с оглядкой, а к вопросу о достоверности его застольного опыта подходить не иначе как на цыпочках, чтобы не попортить той дрожжевой опары, на которой вырос его мемуарный вымысел. Конечно, не за горами то время, когда смирновская память будет подаваться к нашему столу как хрустальный сосуд. Возможно, в сознании Игоря Смирнова то время уже наступило. Ну кто мог ожидать, что на ниве нашего анклава мог отыскаться очевидец, готовый Игорю поперечить, так сказать, напомнить о той мере трезвости, которая была отвешена ему в домемуарном опыте. А раз уж в эти сани кто-то впрягся и этим «кто-то» довелось оказаться мне, то не могу отказать себе в том, чтобы не помянуть добрым словом саму трезвость Игоря Смирнова, которая была настолько безупречна, что уступала только мере его чувства юмора, тоже весьма высокой, но существующей уже в другом, минусовом измерении.

«Один выдающийся филолог спросил меня во время застолья, — начинает свой алкогольный заход в „Историю нравов“ нашего анклава мемуарист Смирнов (не иначе как другой выдающийся филолог. — А. П.), — почему я отказываюсь писать воспоминания.

„А о чем вспоминать? — отпарировал я. — О том, кто, когда и сколько выпил?“

И сразу же раскаялся, поймав себя на мысли о том, что хоть алкоголь я не должен предавать».

Исчерпав свой эпический запал на обещание не предавать алкоголь, вероятно прикинув, что противостоять предательству легче, если предается то, чего у тебя нет в наличии, наш легкоконный воин все же обещания своего не выполнил и алкоголь предал, а с ним и все остальное. Поэтому для своей алкоголиады по Довлатову автор Смирнов выбирает стиль забористый, забубенный.

«Водка проваливалась в пустое студенческое нутро, — вспоминает мемуарист, на мгновение, вероятно, запямятовав, что лично он, будучи сыном своего отца, дослужившегося если не до генерала, то непременно до полковника Госбезопасности, был возвращен на пайках закрытых распределителей, — не вставая колом при проглатывании и не вызывая гримасы притворного отвращения. Что поглощал в „Восточном“ Сережа Довлатов, я не помню. Формулу „чем бы ни закусывал, а блюешь винегретом“ он изобретет несколько лет спустя... Бродский поедал салат „Столичный“ или с крабами?.. Фима Койсман, процветающий в то время адвокат... соблазнял наших с Довлатовым девушек. Отдавись Фиме, дабы приобщиться телесно к социальному успеху, девушки не покидали нас... Фиму мы с Сережей простили».

При такой наглядности кому нужна достоверность? — вероятно, делает свой мемуароносный расчет Смирнов, уверовавший в то, что по мере знакомства с угарным привкусом его бравурного причастия ни одному читателю не придет в голову вообразить, что сам автор-очевидец никогда не был завсегдатаем «Восточного», в глаза не видел Фиму Койсмана и был откровенно лишен такого атрибута, как «на-

ших с Довлатовым девушек». Поставив свое имя рядом с новоявленным кумиром Довлатовым, уже прозвеневшим славой на ниве отечественной словесности, пока еще полубезымянный, но не безнадежный Игорь Смирнов делает свой скачок в историю, мягко приземлившись подле кумиров западного образца, о нем, что говорится, ну ни сном ни духом.

«Я пытаюсь мысленно нарисовать себе парижское кафе, — пишет он, — где *ошивались* (курсив мой. — А. П.) в ту же пору, что и мы в „Восточном“, экзистенциалисты».

Как сладко быть мемуаристом! Внял своей душевной прихоти и оказался в Париже, еще поразмыслил и подрисовал себе персональный столик в самом «Lapin Agile», едва присел, ан рядом с тобой уже суконка Picasso. Есть обо что потереться. А там и до прочих «экзистенциалистов» в два притопа три прыска. Дотоптался и плюхнулся с общим счетом и учетом. А там и херес, абсент, винсент, тройной одеколон. Общение на дружеской ноге. Не то что с Пушкиным. Пушкин — это так, отрезанный ломоть, история с географией. Что Пушкин? Сам, если подумать, лаптем щи хлебал французам не в пример. Невыездной он был, вот что. За границу только во сне летал. Именно что летал. Даже «мысленно нарисовать» не умел. Так-то, братишки. Другое дело богема, экзистенциалисты, хуе-мое. Они что ни день, то в Париже, на Монмартре, поклоны друг у дружки ловят, фетровыми шляпами взмывают вверх и вниз, «Мулен руж» хулят на чем свет. А иной раз нет-нет да и похвалят. Так и живут. «Ошиваются... » Как и не мы.

Так. Листаю я майский номер «Звезды» за 1998 год. Миновала мемуариста Смирнова, посетовала, что

цензуру поспешно отменили в моем отечестве, и далее скольжу. Люди пописывают, ну и я не отстаю, почитываю. И тут мне на глаза другой товарищ юности, Сережа Вольф, попадает. Так сказать, на ловца и зверь бежит. А дальше сами посудите, как мне было утерпеть и не скатиться в тот «ингресс запретных аналогий», от которого меня так искренне, так нежно уберегал почтенный А. А.? Всегда талантливый, всегда приметный и всегда подлинный Сережа Вольф (который, как выяснилось, всегда считал меня американкой) пишет свой мемуар об Олеше из своего алькова:

«Келью Юрия Карловича в доме, где все творили, я помню скорее „мышечно“, нежели зрительно. И абсолютно не помню нашего короткого разговора... Одну его фразу, разумеется, мне забыть невозможно.

— А вы знаете,— сказал он, вроде бы склонив голову набок и — похоже — бегло разглядывая меня,— вот я еще не читал ни единой вашей строчки, но почему-то почти уверен, что мне понравится то, что вы написали».

Понравилось ли то, что Сережа Вольф тогда вручил Олеше, с позиции сегодняшнего дня несущественно. В хоре голосов сегодняшнего дня Вольф может быть упомянут в одном регистре с Олешей, причем не в порядке сравнения одного с другим, а в порядке возведения ценностей («цезарево — Цезарю»), без которых нет и суждений. Сережа Вольф оказался столь же достойным талантом, что и Олеша. И число таких талантов не так велико, как принято считать. А из этого числа талантов, способных на нежные чувства, а то и на неслыханную в нашем бедном отечестве благодарность, и того меньше.

«И мы начали дружить. Сказать скромнее: „Он (Олеша.— А. П.) позволил мне дружить с собой“, пожалуй, нельзя, ибо Юрий Карлович был куда естественнее и демократичнее, чем предполагает полная (не внешняя) суть этой фразы: — „...позволил дружить“, точнее, „позволил себе дружить“...»

Кажется, именно в этот год я очень долго жил в Москве летом, вообще долго в Москве. Жил я и еще два заметных юноши... в Серебряном бору. Комнатенку-сарай сняла для нас Белла Ахатовна (тогда — Белла Ахмадулина)... Именно в „Национале“ мы и встречались чаще всего с Юрием Карловичем...»

Мемуарист Сережа Вольф, как и все мемуаристы, пишет о себе, но не о себе, потершемся о суконную поддевку знаменитости, уже попахивающую музейной сыростью, как это делает Игорь Смирнов. Сережа Вольф пишет о талантах с нежностью и благодарностью за то, что оказался рядом. Помянул Олешу, мертвого, а рядом с ним живую Беллу Ахмадулину. И себя не забыл, живого, пока еще жив. Пока живы те, для кого и о ком он пишет. Так что и Олеша оказался живым.

«Я приехал к нему на Лаврушинский, в этот огромный Дом Трудов писателей, и вскоре выяснилось, что и у меня тоже нет денег.

— О, огорчаться не стоит, мой юный друг,— сказал Юрий Карлович.— Мы можем сейчас спуститься вниз, и там, внизу, в этом же нашем доме, находится наш Литфонд... Там сидят очень милые дамы, и они непременно дадут мне в долг приличествующую случаю сумму денег.

Действительно, денег Юрию Карловичу дали. Вероятно, охотно, так как быстро. Не то что в издательствах.

— Ну вот видите,— сказал он,— стоило ли сокрушаться. У нас есть теперь целых три рубля восемьдесят девять копеек. Давайте, мой юный друг, поступим теперь именно по вашему усмотрению. Или мы пойдем в замечательную Третьяковскую галерею — это совсем рядом, знаете ведь такую? И там я покажу вам совершенно изумительный скульптурный портрет скульптора Кубина, или мы сядем с вами на троллейбус,— это тоже совсем рядом,— быстро доедем до кафе „Националь“ и там выпьем немного портвейна. Что бы вы предпочли?

— Лучше бы в „Националь“,— ответил я довольно быстро, хотя и не без мучительной борьбы, так как скульптуру я тоже очень люблю, „Мыслитель“ Родена, то да се...

— Это совершенно правильный выбор,— сказал Юрий Карлович».

Когда Андрей Арьев, редактор «Звезды», был в гостях в Калифорнии, он сказал слетевшейся на его выступление публике: «Мы свободно печатаем авторов, чьих позиций не разделяем. Цензура была отменена в 1981 году (дата весьма условная.— А. П.)». Ну что ж, отменена так отменена. Историю надо уважать. И вот в «Звезде» выходят мемуары двух мемуаристов нашего поколения. И одного и другого в какой-то период жизни мне довелось встречать практически ежедневно. Один был рожден писателем, а другой — изловчился и стал филологом. И тут я опять впадаю в аналогии, хоть А. А. меня не раз упреждал, что ничего хорошего от аналогий не происходит ни в природе вещей, ни в мире грез и фантазий. Нет, цензуру

отменить, вероятно, следовало... Но не до такой же степени, ей-богу... «До такой, до такой», — вероятно, ответит мне Андрей, хотя над печатаньем моих мемуаров о Сереже, полагаю, задумается надолго.

Мне возразят, что мемуары есть башмак весьма неустойчивый и поскользнуться в нем может каждый, даже тот, на чью ступню и сам Довлатов был бы не прочь натянуть свою мемуарную модель. Взять, к примеру, нобелевского лауреата Ивана Бунина, оставившего обширный мемуарный след о Чехове. И что же? То ли держа свою материю так близко к сердцу, что довел себя до одышки, то ли к башмачному делу оказавшись совершенно непричастным, но вышло так, что Бунин такого нам о Чехове понастроил, что, не будь он сам с усам, «мастером и маргаритой», нужно бы его, вслед за Соснорой, взять да и отдать заново в подмастерья.

Конечно, рука не поднимется, но иначе нельзя. Ведь нобелевский лауреат Бунин прошелся, как и мы, по весьма скользкой поверхности! Конечно, Чехов сам Бунина на должность усадил, не в пример нам. Посмертную жизнь свою, видать, представлял не иначе как сквозь призму бунинской фантазии. Короче, когда Бунин приехал в Новочеркасск... Там мать его жила в гостях у дочери, его сестры... Погостил Бунин чуток под кровлей родительницы, а потом взял и к Чехову завернул. Тот его в Ялте ждал. Там же и начал пытаться.

— Признайся, брат, решил писать воспоминания обо мне или все еще в нерешительности пребываешь? — спрашивал Чехов с пристрастием, а Бунин, разумеется, отшучивался, хотя, когда срок настал, взялся за перо. «Чехова не вознести — значит грех на душу взять!» — вероятно, думал он, обмакивая перо.

Чехов, писал Бунин, «никогда не носился со своим „я“» и не страдал самолюбием.

«Почти про всех умерших писателей говорят, что они радовались чужому успеху, что они были чужды самолюбия, и поэтому, если бы у меня была хоть тень сомнения относительно писательского самолюбия Чехова, я совсем не затронул бы вопроса о самолюбиях», — продолжал витийствовать Бунин, предвкушая успех своих словесных триумфов.

Но позвольте, Иван Алексеевич, вы же только что затронули вопрос о чеховском самолюбии. Разве вы забыли? Выходит, у вас как раз и есть сомнение на этот счет. А если сомнение есть, то зачем намекать, что его нет? Разве может одно и то же сомнение одновременно быть и не быть?

«Но он действительно радовался от всего сердца всякому таланту... К своим же успехам и неудачам он относился так, как мог относиться он один», — спешит ответить воображаемому оппоненту Бунин, еще не подозревая, что даже невинная фраза «он один» может вызвать недоверие у потомков.

А вам не кажется, упрекнем мы Бунина, что в этом «он один» кроется особая заковыка? Как же мог Чехов проявить такую уникальность в отношении к своим успехам и неудачам? Неужели вы думаете, вам потомки поверят, что он в упор их не различал? То-то и оно, Иван Алексеевич, что Чехов, по образцу и подобию остального человечества, к успехам относился с нежностью, а от неудач страдал. Вы разве забыли, как он мадам Киселевой выговаривал,

едва она осмелилась его попрекнуть за тоскливых персонажей, причем не то чтобы с гонором, а совсем по-дружески! Ведь встал ваш равнодушный к успехам подопечный с утречка пораньше, не дав даже труда прийти в себя после новогодней попойки, и чуть свет уже строчил ответ.

«Каждую критическую статью, даже ругательно-несправедливую, обыкновенно встречают молчаливым поклоном — таков литературный этикет... Отвечать не принято, и всех отвечающих справедливо упрекают в чрезмерном самолюбии», — выговаривал ей Чехов, тут же взявшись отвечать на все попреки.

Таков был Чехов. Понимал, что оправдываться нельзя, но не оправдываться тоже не мог. Против натуры не попрешь. А натурой Чехов обладал самолюбивой. Вот, Иван Алексеевич, а мемуарный ваш башмак оказался для Чехова в аккурат мал. Однако Бунин тут же, как говорится, на том же мемуарном башмаке, такую заломил окантовку, что получалось, что нам ничего другого не оставалось, как застыдиться и глаза опустить.

«...Чехов внезапно сказал мне:

— Знаете, сколько лет еще будут читать меня?

Семь.

— Почему семь? — спросил я.

— Ну, семь с половиной».

Убедив себя в том, что Чехов «никогда не носился со своим „я“», разве мог Бунин услышать друга в тот момент, когда «я» Антоши Чехова кричало о своей смерти, пытаясь пригласить друга на прогулку в будущее, которого сам уже не видел. Ведь Бунин

все-таки дает нам знать, что в тот же вечер Антоша снова напоминал забывчивому собеседнику, со всей «серьезностью» напоминал: «Читать же меня будут только семь лет, а жить мне осталось и того меньше: шесть. Не говорите только об этом одесским репортерам». Так-то. И если Бунину вольно было не услышать чеховское «я» в том глазе вопиющего в пустыне, то что можно сказать о писательских амбициях, в которых Чехову тоже отказано не было.

«Прослушав как-то свой „осколочный“ рассказ, Антон Павлович сказал (пишет Бунин.— А. П.):

— Вам хорошо теперь писать рассказы, все к этому привыкли, а это я пробил дорогу к маленькому рассказу, меня еще как за это ругали... Требовали, чтобы я писал роман, иначе и писателем нельзя называться...»

Так в чем же дело? Почему вдруг тонкому стилисту и нобелевскому лауреату Ивану Бунину ни с того ни с сего, но, как видно, с наскоку большой африканский слон наступил на оба уха так, что он не услышал друга, когда тот кричал ему: «Я, Антоша, больной, талантливый, острослов, живу со своей мерой тоски, и скуки, и злости, и амбиций. Могу и умереть. Умру вот-вот. Но хотелось бы после себя оставить какой-нибудь памятник, хоть на семь лет. Но хотелось бы на подольше. А вы, Иван Алексеевич? Вы-то что про мои семь лет сейчас подумали? Откройтесь мне. Всего один раз. Больше не попрошу!» Но диалога не состоялось. Вместо того чтобы открыться, успокоить умирающего друга, щедро вернуть ему тот алмаз, который был им уже добыт, сказать, что бессмертие уже завоевано и что он, Антоша Чехов, может умереть спокойно, Бунин смолчал, с тем чтобы

потом, в час холодного размышления, приписать Чехову то, в чем в первую очередь был повинен сам мемуарный автор.

«Был он настроен ко мне дружески,— писал он о Чехове, вместо того чтобы написать это о себе,— иногда почти нежно. Но та сдержанность, о которой я упомянул, не покидала его даже в самые задушевные минуты наших разговоров. И она была во всем».

То, что Бунин, приписывая Чехову, назвал «сдержанностью», было не чем иным, как душевной ленью, напавшей сразившей именно мемуариста. В каждом слове Бунина можно прочесть чувство исполненного долга, понятого отвлеченно, как слово о том, чего не быть никак не могло.

«Злым Чехова я никогда не видал; раздражался он редко, а если и раздражался, то изумительно умел владеть собой»,— пишет Бунин, хотя наверняка знает, что пишет не о Чехове.

Живой Антоша Чехов был как раз раздражительным и не умеющим владеть собой человеком. «Я, каюсь, слишком нервен с семьей. Я вообще нервен. Груб часто, несправедлив...» — писал он брату Александру в 1883 году. Ходульный Чехов бунинского посла был человеком «открытым», не имеющим ни от кого секретов, в то время как живой Чехов мог писать брату Мише из Таганрога как раз о противном: «...если я буду присылать письма моей мамаше через тебя, то, будь так добр, отдавай их мамаше не при всей компании, а тайно; бывают в жизни такие вещи, которые можно высказать только одному лицу, верному...»

Короче, Бунин нес свой крест, на котором покоилась святыня чеховского величия. При этом мемуаристам, не воздавшим должное этой святыне, даже тем, которые были бесспорно правы, пришлось пострадать от бунинского меча.

«Пишут, что смерть Чехова была ускорена постановкой „Вишневого сада“; накануне спектакля Чехов будто бы так волновался, так боялся, что его пьеса не понравится, что всю ночь бредил... Все это сущий бред... Пишущие, конечно, очень чувствительны к тому, что говорят о них, и много, много в пишущих чувствительности жалкой, мелкой, неврастенической. Но как все это далеко от такого большого и сильного человека, как Чехов...»

И Бунин отстаивал своего ходульного Чехова, будучи убежден, что волнуются только неврастеники, каким Чехов не мог быть по определению. Надо понимать, великие люди не бывают неврастениками.

«Известен только один вечер, когда Чехов был явно потрясен неудачей, — вечер постановки „Чайки“ в Петербурге. Но с тех пор много воды утекло... — тут же проговаривается Бунин и, вероятно, сам поняв, что запутался, спешит отрешиться от своего особого знания. — Да и кто мог знать, волнуется он (Чехов. — А. П.) или нет? Того, что совершалось в глубине его души, никогда не знали во всей полноте даже самые близкие люди. А что же сказать о посторонних и особенно о тех нечутких и неумных, к откровенности с которыми Чехов был органически не способен?»

Наверно, Бунину и в голову не пришло, что, изваяв своего гигантского Чехова, он не выполнил долга перед другом Антошей, хотя сомневаться в том, что выполнить хотел, наверное, не станет никто. Вы спрашиваете, при чем тут я? Ну, разумеется, весьма случайно. Оказалась в одной очереди по мемуарному делу. Впереди всех Бунин в безупречном костюме парижанина, потом Смирнов в полуспортивном наряде немецкого приват-доцента. А дальше мы с Соснорой. Решили обменять довлатовский парик на что-нибудь попроще, причем, заметьте, каждый самостоятельно. Но не иначе как потому, что парики даже в английском парламенте собираются отменить. Не знаю, согласится ли со мной Соснора.

Догадывался о скрытом значении

Взгляд Аполлона Безобразова был неизменен, прост и величественно банален, как взгляд Джиоконды или стеклянных глаз в витринах оптиков. Казалось, этим взглядом нельзя было извлечь решительно ничего из бытия, хотя, в сущности, Аполлон Безобразов совершенно не слушал своих собеседников, а только догадывался о скрытом значении их слов по движениям их рук, ресниц, колен и ступней и, таким образом, безошибочно доходил до того, что, собственно, собеседник хотел сказать, или, вернее, того, что хотел скрыть.

Борис Поплавский

С добродушной кокетливостью Сережа любил повторять экспромт собственного сочинения: «Довлатова обидеть легко, а полюбить (понять) — не так-то просто», который возник в ту пору, когда он, всеми любимый и во всеоружии своего обаяния, расширял границы кавказского темперамента путем безнаказанного нанесения обид друзьям. Больше других доставалось другу Феде, вероятно на том основании, что Федя, со свойственной ему независимостью решений, без притворства и демонстративно предпочитал мое общество Сережиному. Все началось с новогоднего бала в Павловском замке, так хорошо запомнившегося Виктору Сосноре. Мы спустились по мраморной лестнице, ведущей в гардероб, мысленно распростившись с Камероном, Бренной, Росси и Воронихиным, внесшими свою лепту в имперский престиж столицы полумира, когда Федя, уже тогда страдавший рассеянностью, был принужден вернуться назад в поисках утраченного номерка.

— Подождите меня в гардеробе,— крикнул он нам уже на ходу.

Затребовав в преддверии Фединого прихода наши зимние одеяния, Сережа бросил с беспечным равнодушием:

— Пока он там носится, я хочу вам показать что-то в парке.

— Но мы же разминемся, и Федя никогда нас не найдет.

— Он сам предложил после бала осмотреть Павильон трех граций и спуститься вниз по каменным ступеням.

Мы отправились в парк, после чего вернулись в город на ночной электричке, разумеется Федю нигде не встретив. Новогодний эпизод в Павловске, это свидетельство предательства друзей, Сережи и меня, канул в забвение вместе со старым годом, с которым мы тогда расквитались в предвкушении счастливого нового. Федя ни словом не обмолвился о нашем бегстве, и лишь два десятилетия спустя доверил свою память об этом событии страницам автобиографической повести.

«— Я, кажется, оставил свой номерок в коридоре...— рассеянно шаря по карманам, пробормотал Борис.— Подождите меня, я мигом...

Через три ступеньки он перелетел наверх по лестнице, повернул за угол, ощутил теперь памятный ему на всю жизнь запах свежеклееной мебели, увидел вновь ту же знакомую декорацию: окно с белым подоконником, диван, на котором сбилась в угол полотняная ткань чехла...

Номерок нашелся в самом углу, он чуть не провалился в щель.

Когда Борис вернулся в гардероб, на него подуло морозным ветром и безлюдьем. Сергей

и Ася исчезли. В руках сам собой вертелся номерок.

Он посмотрел на него: 487.

— Надо будет запомнить,— почему-то сказал себе Окоемов».

Оставшись в Павловском дворце один на один с «морозным ветром и безлюдьем», Федя, как и бывший хозяин дворца император Павел, оказался в плену мелкой интриги. Возможно, цифровой символ 487, которым Федя начал мерить свой невеселый и недолгий маршрут, запал ему как символ одиночества. Примерно с того же времени стало набирать силу и Сережино коварство, принявшее форму лукавой игры, которая оказалась не без жестоких последствий. Добившись того, чтобы быть зачисленным Федей в душеприказчики, Сережа стал распоряжаться судьбой своего протеже, внушая Феде то, что никогда не пришло бы ему в голову, думай он самостоятельно. Например, Сережа стал подстрекать Федю к ухаживанию за мной. Рекомендовал ему звонить мне в такое время, когда, по Сережиному точному расчету и знанию, у меня уже были другие планы. Короче, держа в голове идею посмеяться над Фединой неосведомленностью, которую сам же насаждал, Сережа толкал Федю на заведомый провал, при этом хвастливо рекламируя подробности Фединой «неразделенной» любви, разумеется не обмолвившись о своей интриге, в кругу доброхотствующих друзей. Со своей стороны, Федя, не сомневающийся или не желающий усомниться в достоверности Сережиной информации, верил Сережиному слову, хотя довольно быстро, во всяком случае скорее, чем я, распознал его оскорбительный смысл и призвал обидчика к ответу.

Сохранить историю в тайне, как того требовал традиционный этикет, не удалось, и уже на следующее утро поползли слухи о дуэли, а к исходу дня история была мне со смехом рассказана одним из Фединых, равно как и Сережиных, секундантов. Оказалось, что оскорбленный Федя в присутствии нескольких друзей объявил Сереже, что по своему утреннему мироощущению готов пойти на убийство, но, не желая уподобляться варварам, предлагает Сереже поединок, причем заранее предупреждает, что не откажет себе в удовольствии превратить лицо своего оппонента в бифштекс «тартар», после чего данное лицо, в числе прочих участников, приглашается к Феде в гости (Федя жил в писательском доме на Марсовом поле), где будет щедро одариваемо чаем с черничными пирогами, уже заказанными для этого случая Фединой маме, которая пекла пироги в строгом соответствии с нашими представлениями о волшебной магии. Бифштекса «тартар» из Сережиного лица не получилось, но как в профиль, так и в фас оно существенно изменило свои краски и контуры, что намекало на то, что Голиаф—Сережа был изрядно побит худощавым и не сильно высоким Давидом—Федей, чьи спортивные достижения ограничивались одним теннисным матчем в месяц и одним талантливым рассказом в год.

Обладая врожденным даром превращать свои поражения в победы, Сережа умолчал о своей дуэли с Федей, правильно рассчитав, что к моменту, когда тема произвольно всплывет, а сомнения в том, что она всплывет, и всплывет именно произвольно, у него не было, он сразит всех наповал блистательной импровизацией. Когда же тема, не заставив себя долго ждать, произвольно всплыла, Сережа оказался к ней совершенно и спонтанно готов. Позволив себе мгновенную паузу, необходимую для победы

разума над чувствами, он произнес с достоинством Голиафа, который предоставил Давиду бессрочный кредит. «Борьба есть борьба,— сказал он.— И в ней все произвольно. Сегодня он меня побил, завтра я его».

Справедливость требует отметить, что с кредитом у Голиафа—Сережи обстояли дела как нельзя лучше. Он охотно брал в долг и был так пунктуален по части отдачи, что приводил проницательных друзей в крайнее недоумение. «Придет, возьмет в долг пять рублей. Вовремя отдаст. Уж не подослал ли кто?» — сетовала Инга Петкевич. Кредитоспособность уживалась у него со смекалистой хозяйственностью. Однажды обретенная формула приберегалась на черный день, которых, как и красных дней, ему было отсчитано с лихвой, возможно, потому, что ненадолго. Как бы то ни было, но спустя год после дуэли с Федей Голиаф—Сережа вступил в новое единоборство, выбрав в качестве противника, в отсутствие Давида, объект иного пола, которым оказалась я. Когда мои друзья, встав на мою защиту, учинили ему допрос, Сережа не заставил себя долго ждать. С застенчивой и несколько загадочной улыбкой он повторил уже с заявкой на афористичность: «Борьба есть борьба, и в ней все произвольно: сегодня я ее побил, завтра она меня».

Сережа был восточным человеком и ценил сенсационность, как Восток ценил тифлисское оружие, если верить Пушкину. Тягой к сенсационности объясняется его страсть создавать множество версий, чаще всего взаимоисключающих, одной и той же истории, подгоняя их, как портной свои заготовки, с учетом требований заказчика. Однажды в юности Сережа сильно опоздал и, вероятно желая себя реабилитировать в моих глазах, поведал мне, что только что избил двух хулиганов в благородном порыве

освободить барышню от грозящего ей насилия (подробности этой истории еще возникнут на страницах этой рукописи). Расчет сработал, и Сережа был вознагражден за благородство.

Для другого заказчика, в другое время и с учетом иных наград, Сережа повернул ту же историю вспять и дал повод для иных интерпретаций.

«Донжуанская репутация тешила Довлатова, но он не позволял себе похвальбы, с увлечением рассказывая, как был бит малолетними хулиганами на глазах барышни (довлатовское словечко). Он, с его внешностью латиноамериканской кинозвезды, при росте 196 см, мог себе такое позволить», — писал коллега Сережи по радио «Либерти» Петр Вайль четверть века спустя.

Тут следует оговориться, что каждому грядущему и присному мифу о Довлатове, особенно тем из них, которые родились в недрах его эмигрантской свиты, вряд ли суждено выдержать тест на достоверность, окажись они пропущенными через игольное ушко фрейдовского эксперимента. Как известно, для выявления информации, загнанной в глубины подсознания, Фрейд действовал самым примитивным образом. Он задавал вопросы, требующие альтернативного ответа «да» или «нет», при этом сознательно менял полярности, принимая отрицание за утверждение и наоборот. С учетом или без учета Фрейда, но версии одних и тех же событий, повторенных в позднейшее время с противоположным знаком, то есть в утвердительном варианте вместо отрицательного и наоборот, сильно обогатили литературный имидж Сережи, что никак не вступало в противоречие с авторским замыслом. Удивления достойно лишь то, что сам принцип выворачивания событий наизнанку

успел превратиться в руках Сережи в заезженную пластинку, при этом не набив оскомину ни самому Сереже, ни тем более его свите, на глазах приобретающей болезненно разбухающие очертания.

Всегда готовый на перекройку реальных событий по матрицам собственной фантазии, портной Сережа держал в запасе немалое количество заготовок. И тут внимания достойна одна маленькая деталь. В мифе, построенном на материале, загнанном в подсознание, реальность была представлена лишенной контекста. В этом смысле любопытен тот факт, что ни в одной из довлатовских рукописей, искавших приюта и убежища в издательских столах Ленинграда, Таллина и Нью-Йорка, вы не встретите имени Феди Чирскова, хотя нигде, то есть ни в одном достоверном мемуарном источнике, виртуально не обошлось без афоризма, возникшего на почве дуэли Сережи с Федей («Довлатова обидеть легко, а полюбить (понять) — не так-то просто»).

Не подлежит сомнению, что критерий сенсационности, которому удовлетворяет эта лишенная контекста афористичность, был заимствован мифотворцами у самого Сережи. Когда по возвращении из армии лавры Голиафа, а вместе с ними и миф о «телесной мощи» оказались вышедшими из моды, ибо вступали в конфликт с более актуальной темой одиночества, Сережа с легкостью развесил новые акценты, то есть поменял, в строгом соответствии с методикой Фрейда, плюс на минус.

«Величие духа не обязательно сопутствует телесной мощи, — гордо провозгласил он уже с позиции разжалованного Голиафа, готовящегося примериться к лаврам победителя Давида. — Скорее наоборот. Духовная сила часто бывает заключена в хрупкую, неуклюжую оболочку.

А телесная доблесть часто сопровождается внутренним бессилием».

Тут же оказался пригодным афоризм былых времен: «Довлатова обидеть легко, а полюбить (понять) — не так-то просто», который в новом освещении мог прозвучать с тотемным оттенком раскаяния.

Впоследствии, когда Сережа мог без хвастовства признаться, что в совершенстве постиг искусство нанесения обид друзьям, тот тотемный оттенок раскаяния сбивал с толку не только людей, примкнувших к его свите в зрелые годы, но и тех, кто сам вышел из тотема и по праву претендовал на многолетнее и глубинное знание его основ.

«Интеллигентный человек,— пишет Андрей Арьев,— фатально поражается несправедливому устройству мира, сталкиваясь с абсурдной — на его взгляд — жестокостью отношения к нему окружающих: как же так — меня, такого замечательного, справедливого, тонкого, вдруг кто-то не любит, не ценит, причиняет мне зло... Сергея Довлатова поражала более щекотливая сторона проблемы. О себе он, случалось, рассуждал так: каким образом мне, со всеми моими пороками и полууголовными деяниями, с моей неизъяснимой тягой к отступничеству, каким образом мне до сих пор все сходит с рук, прощаются неисчислимые грехи, почему меня все еще любит такое множество приятелей и приятельниц?»

«Щекотливая сторона проблемы... почему меня еще любят?..», которая так озадачила Андрея Арьева, является всего лишь изнаночной формой старого афоризма: «Довлатова обидеть легко, а полюбить не

так-то просто», в котором была произведена грамматическая перестановка объекта и субъекта. Утверждение того, что по логике вещей должно быть оценено собеседником как отрицание, означает, по Фрейдю, признание такого рода: «На эту тему мне говорить не пристало. Я ее, стало быть, подавляю». Однако хитроумный Сережа выбирает более агрессивный путь. Он создает новый афоризм с тотемным оттенком ложного раскаяния, пригодный как начало мифа о безнаказанности, передав его на хранение другу молодости Андрею Арьеву. Авось донесет. И Андрей донес.

Сама идея безнаказанности, как и Сережино мифотворчество, имеет демократические корни. В античном мире безнаказанности, понимаемой как умение предвосхитить обвинение, можно было обучиться, о чем свидетельствует опыт из греческой истории. «Скажем,— учил грек Коракас, родом из Сиракуз, осваивающих демократию соплеменников в первом веке до рождения Христа,— вас обвиняют в том, что вы обидели сильного. „КАКОВ ШАНС ТОГО,— вопрошаете вы в ответ,— ЧТО МАЛОМОЩНЫЙ ЧЕЛОВЕК, КАК Я, СПОСОБЕН АТАКОВАТЬ СТОЛЬ МОЩНОГО ПРОТИВНИКА?“ (вариант «Довлатова обидеть легко, а полюбить не так-то просто»). Если вас обвиняют в том, что вы обидели слабого, ваша защита не более проста, чем эффективна: „КАКОВА ВЕРОЯТНОСТЬ ТОГО, ЧТОБЫ Я МОГ АТАКОВАТЬ СТОЛЬ СЛАБОГО ПРОТИВНИКА, КОГДА ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ ВСЕГДА СОХРАНЯЕТСЯ ЗА СЛАБЫМ?«» (вариант «Довлатова обидеть легко...»).

Как бы то ни было, Сережа снискал популярность человека, который легко обижался и еще легче обижал. В реальном мире это прозвучало бы парадоксально. Однако в тотемном мире, где один и тот

же персонаж мог одновременно разгуливать в мундирах титулярного, статского и тайного советника, равно как быть седоком и скакать в той же упряжке, парадоксов не бывает. В какой-то момент досталось и Арьеву, хотя, как мне припоминается, с ним у Сережи личных счетов не было.

«У меня за спиной дремлет на раскладушке Арьев, заехавший в Нью-Йорк из Дартмута после ахматовского симпозиума. Вот человек, не изменившийся совершенно: те же голубые глазки, сдержанность и чувство собственного достоинства даже во сне. Он произвел здесь вполне хорошее впечатление, и доклад прочитал вроде бы отличный (я не был), и даже деньги какие-то умудрился заработать, что при его лени следует считать не его, а моим гражданским подвигом. Симпатично в нем и полное отсутствие интереса к ширпотребу. Когда мы с Леной углубляемся в торговые ряды на какой-нибудь барахолке, он достает из кармана маленький томик Бердяева и начинает читать», — пишет Сережа Юлии Губаревой.

Стеклянные розы дождя

Среди бесконечных выступов и уклонов темной черепицы, среди отвесов и маленьких, никому, кроме чердачных зрителей, не видимых, покрытых железом надстроек, где так чисто и длительно, так нежно и свободно падали и разбивались стеклянные розы дождя, медленно, едва двигаясь в воздухе, опускались таинственные бабочки снежинок. Как хотелось мне всегда прилечь и заснуть на таком выступе, среди труб, желобков и кривизн, так далеко от земли, в таком покое и одиночестве, и вместе с тем не в скалистых горах, а здесь, почти в центре огромного города.

Борис Поплавский

Как и в античном тотеме, в нашем анклаве шестидесятих родство по крови не осознавалось. Каждый член анклава был братом и сестрой другого и каждого. Мифом была сама наша жизнь. Самым впечатляющим мифом того времени был поединок четырех братьев, которые долгие годы были неразлучны. Братьев звали: Дмитрий Бобышев, Иосиф Бродский, Анатолий Найман и Евгений Рейн. Однажды, как гром среди ясного неба, подруга Бродского ушла к Бобышеву, жена Рейна к Найману, жена Наймана к Томасу Венцлова, и началась повальная эмиграция. Бобышев, Бродский и Венцлова оказались в Америке, Рейн и Найман — в России. И там, и тут жарили по этому случаю быков, и Сереже довелось посидеть на их шкурах и разделить трапезу с каждым из братьев.

Рейн слыл и, несомненно, был рассказчиком высшего класса, фантазером, импровизатором, заме-

чательным поэтом и человеком, презревшим условности не в качестве поэты, а как закон жизни. Его рассказы, которые слушались с усиленно бьющимся пульсом, были не то что смешными и не то что грустными, они были гениальными. На Женю собирали толпу гостей, Жене предоставляли бессрочный пансион. Большой, неуклюжий, с черными лживыми глазами, всегда немного грустный, как бы человеческий, Женя знал все: номер дома на Мойке, где родился Набоков, чем отличается версия «Лесного царя» Гёте от версии того же царя Жуковского, как выглядит в данный момент портик римского Пантеона, редактировала ли Мара Довлатова Зощенко и кто редактировал Зощенко в отсутствие Мары Довлатовой. Женя был вхож во все дома, расположенные как на пешеходном расстоянии от его дома, так и требующие услуг советского Аэрофлота. Если бы мне кто-нибудь сказал, что реклама «Аэрофлота добрая рука / вас нежно пронесет сквозь облака» была сочинена Женей экспромтом в обмен на самолетный билет, я бы ни на минуту не усомнилась. Ему было доступно все.

Едва оказавшись во внутренних покоях, то есть втиснув себя в какую бы то ни было входную дверь, Женя чувствовал себя в чрезвычайной степени домашнему. Помню сборище, кажется в доме Эры Коробовой и Толи Наймана на улице Правды, где Женя убивает наповал историей дня рождения Евтушенко, где фигурировал стол, уходящий за линию горизонта, где плыла осетрина, «как регата под зно-ем заката», где цыгане плясали в обнимку с членами ЦК и где сам именинник, в костюме из американского флага, подаренного поэту мэрией штата Мэриленд, рыдал от тоски и одиночества.

— Женя,— спрашиваю я в удобный момент,—

когда же вы успели в Москве побывать? Мы вас на прошлой неделе все видели здесь!

— Так то ж на прошлой,— отвечает лукавый Женя.— Я за это время мог бы и в Турцию слетать, а я вместо Турции выбрал Москву.

Было не ясно, оказался ли Женя свидетелем на празднике своего тезки или выткал эту историю из еще не приютившего его московского воздуха, да и какое это имело значение? Реальный мир Рейна был миром яркой фантазии, и, чтобы отдать должное Рейну, нужно было быть самим Рейном.

Помню, как однажды Женя зашел в гости и застал меня в поте лица рифмующей нечто по случаю защиты чьей-то диссертации. Пробежав глазами мое беспомощное творение, Женя взял у меня из рук перо и написал, ни на секунду не задумываясь:

Ваша диссертация —
Просто провокация,
Потому что диссертант —
Удивительный талант.

Пребывая в институте,
Мы считали до сих пор,
В самом деле, в самой сути,
Доктор вы или членкор...

В отличие от Бродского и Наймана, Женя был первоначально Сережиным знакомым, по преимуществу соседом...

Мы жили на одном перекрестке
Улицы Троицкой в Ленинграде.

И, сколько помню, их общение происходило редко и без меня. От встреч Сережи и Жени в моем присут-

ствии остался фрагмент визита, некое шествие через проходную комнату, где сидела Женина мама за каким-то занятием, возможно чтением, затем тесные стены Жениной комнаты, где над диваном висела замечательная картина Олега Целкова, выполненная в мрачных серо-черно-зеленых тонах с пронзительным красным пятном, — автопортрет художника, подаренный Жене в знак дружбы. Помню также один забавный эпизод, к которому вернусь позже, и историю, рассказанную мне Сережей с Жениных слов, о том, как Женя делал предложение своей первой жене Гале Норинской.

Нанеся визит своей будущей жене, Женя был запущен в кабинет Галиного отца, сидевшего за письменным столом спиной к двери. Произнеся отрепетированный монолог, обращенный к занятой спине, он услышал в ответ:

— Вы о чем-то со мной беседуете, молодой человек? Я страдаю рассеянностью. Вам не трудно повторить?

Жене было это совершенно нетрудно, и он охотно повторил свою речь, после чего папа обернулся и жестом предложил приблизиться:

— Я довольно близорук.

Когда Женя предстал перед ним, папа близоруко взглянул на него и, прикоснувшись к рукаву его костюма, сказал:

— Какое замечательное сукно. Последний раз такое сукно я видел глазами Галиного деда в конце прошлого века, и, кажется, даже не в России. А Галя согласна?

На моей памяти Женя был всегда давно женатым человеком, хотя редко появлялся в Галином обществе и никогда не упоминал ее имени. Только прочитав «Возвращение», где, с присущей Рейну игрой во временную инверсию, уход Гали предвосхитил

и момент их знакомства, и прощание с молодостью, я поняла глубину Жениного молчания.

...Я проводил ее до подворотни.
Взял телефон. «Итак, до послезавтра».
И попрощался. Через десять лет
мы навсегда забросили друг друга,
и через десять лет в такой же час,
расставшись на вокзале
со спутницей моей, я понял:
вот и молодость прошла...

Когда Галя вернулась из родильного дома с девочкой, Сережа отправился их навестить.

— Ну, как ребенок? — спрашиваю.

— Да как тебе сказать, — отвечает Сережа, — ребенок как ребенок, но уже смотрит на тебя с укором и, кажется, едва сдерживается, чтобы не сказать: «Дайте мне сто граммов ветчины, но только постной, пожалуйста».

Забегая несколько вперед и сильно отвлекшись в сторону, хочу уведомить читателя, что и в Сережиной биографии настанет такой чувствительный момент, когда обсуждение «наружности чужого ребенка» потребует особой деликатности.

«Я знаю, что у меня пока не выходит, — пишет Сережа Люде Штерн, позволившей себе критику его художественных творений, — и со всеми твоими указаниями согласен, но иронизировать в таком случае я бы не стал. В этих делах желательно быть таким же деликатным, как если ты обсуждаешь наружность чужого ребенка».

Своей фантастической изобретательностью Рейн покорила Довлатова, став его розовой мечтой задолго

до того, как их жизненные кометы обрели первую точку пересечения. Что породило этих двух пилигримов по части истины в тот пронзительный момент, когда две пары черных и лукавых глаз обоюднo узрели друг друга, затруднительно сказать. Не исключено, что Довлатова сразило в Рейне то, что сразило Рейна в Довлатове. И тот и другой носились с розовой мечтой, одна не слабее другой. Рейн был очарован кинематографом и, то ли вследствие этого пристрастия, а возможно, ввиду непопулярности кино среди наводнившей вузы пролетарской молодежи, оказался принятым на высшие сценарные курсы.

Там вместе с другими ленинградцами, Толей Найманом и Ильюшей Авербахом, а также двумя-тремя десятками прочих счастливых из заскорузлых уголков России Рейн получил бессрочный билет в просмотровый зал московского Дома кино на улице Воровского, где ежедневно погружался, как в творожный пудинг, в сладкие грезы западных кинорежиссеров — от Хичкока до Хьюстона, от Бергмана до Полянского. В этот период Рейн уже восходил на московском небосклоне, и узреть его на сильно поблекшем в его отсутствие ленинградском Невском было делом большой удачи. Тогда же, будучи потерянным для ленинградцев и став раритетом не хуже западных кинолент, Рейн стал героем многочисленных историй, ностальгически воскресавших для нас недостающий оригинал, одна из которых, порожденная Найманом, отражала Рейна в самой что ни на есть его зеркальной сути.

В ленинградском Доме кино показывали фильм Бунюэля «Андалузский пес», который уже прошел в Москве в отсутствие Рейна, оказавшегося в то время в Ленинграде. Однако признаться Найману, что он не видел последней картины модного режиссера, Женя не мог, ибо при таком признании страдал его

титул знатока западного кинематографа. Пришлось пуститься в сочинительство. А это значило пройти по скользкому шнуру, протянутому через цирковую арену. Рейн выслушал приглашение Наймана в модуле беззащитной откровенности и сказал: «Фильм „Андалузский пес“ мне доподлинно известен. Прихожу в восторг буквально от каждого кадра. Однако делать мне сегодня особенно нечего. Так что готов составить тебе компанию». И они отправились на просмотр.

Кому довелось когда-либо ознакомиться с данным шедевром Бунюэля, наверняка вспомнит тот начальный кадр, где экран заполняется очертаниями фотогеничного глаза, принадлежащего беззаботно бреющемуся опасной бритвой и в тот момент ничего опасного не подозревающему мужчине. И тут, в этом самом обманчивом месте, безмятежность ситуации нарушается. Уже успевший околдовать зрителя фотогеничный глаз мужчины разрезается по вертикали опасной бритвой, опознаваемой из предыдущего кадра.

«При звуках разрезаемого глаза,— как повествовал нам невозмутимый Толя Найман, закончивший, как и Рейн, Высшие сценарные курсы в Москве,— мой компаньон, просмотревший тысячи западных кинолент, потерял ему очень присущее сознание и остался в таком положении до того момента, пока в кинозале не восстановили утраченного во время показа фильма электрического освещения». Очнувшись от своего обморока и оценив ситуацию с полупонамека, Рейн небрежно бросил застывшему в блаженном ожидании Найману: «Я всегда в этом месте теряю сознание. Просто рок какой-то».

Споры часов между собой

В то время как вокруг на бесчисленных колокольнях и старинных зданиях били часы, далеко до назначенного часа начинали бить и долго еще и после него били, запаздывая и мечтая. Они даже среди дня были явственно слышны, а ночью это были целые разговоры и споры часов между собой, когда вдруг кто-то из них высоко-высоко и странно возглашал час, близкий к заре, на мгновение воцарялось молчание, и вдруг далеко-далеко и полные как бы всем разочарованием и усталостью мира, как будто из ада, отвечали им еле слышно и явственно запоздалые хриплые звоны.

Борис Поплавский

С остроумием Толи Наймана и с Толей самим мы столкнулись задолго до того, как Толя узнал о нашем существовании. Помню первое появление на заседании университетского литературного объединения (ЛИТО), которым руководил профессор литературы Евгений Иванович Наумов. Мы с интересом вглядываемся в лица молодых ленинградских поэтов, сидящих на возвышении и представляемых Наумовым поименно. Очередь доходит до Наймана, которого Наумов, оговорившись, называет Нейманом и, как это случается с людьми преклонного возраста, заикливается на своей ошибке, тогда как Толя не устает его терпеливо поправлять:

— Моя фамилия Найман.

Неуклюже пытаясь объяснить, что фамилия Нейман всплывает в его памяти по ассоциации с фамилией друга, бывшего командиром его взвода, Наумов приносит Найману извинения:

— Пожалуйста, простите меня за непреднамеренную вольность, товарищ Нейман,— говорит он в заключение, снова сказав Толину фамилию.

— Я вам вашу вольность прощаю, товарищ НЕ-умов,— отвечает ему невозмутимый Толя.

К неиссякаемой теме Толиного остроумия я еще вернусь в другом контексте.

Полагаю, что память о знакомстве с Бродским Сережа держал при себе. Того же принципа придерживался и Иосиф, хотя как тот, так и другой припасли по истории их знакомства на случай особой надобности. А так как случай не преминул представиться, то обе версии благополучно сосуществуют в печати, отличаясь друг от друга примерно так же, как овидиевский миф об Орфее отличается от вергилиевского. Можно, конечно, еще добавить, что Сережина версия, сообразно со стилем ее автора, скупа и лаконична, как «Георгики» Вергилия, в то время как Осина начинена вещными подробностями, как «Метаморфозы» Овидия. При этом в обеих версиях важнейшим является не то, что их разъединяет, а то, что их связывает.

Что же связывает гениального, но не обласканного славой в своем отечестве Бродского с вознесшимся на гребне успеха в том же отечестве Довлатовым? Сережина история приобрела стилистическое обрамление возврата к чему-то случайному и по забывчивости упущенному.

«Стоп! — пишет Сережа в „Невидимой книге“. — Я хотел уже перейти к решающему этапу своей литературной биографии. И вот перечитал написанное. Что-то важное скомкано, забыто.

Упущенные факты тормозят мои автобиографические дроги. Я же говорил, что познакомился с Бродским. Вытеснив Хемингуэя, он

навсегда стал моим литературным кумиром. Нас познакомила моя бывшая жена Ася. До этого она не раз говорила:

— Есть люди, перед которыми стоят великие цели».

Короче, знакомство с Бродским оказывается скандальным и забытым фактом, лишенным того, на что оно непосредственно претендует, а именно первого и какого бы то ни было впечатления от будущего кумира. Но почему автор «Невидимой книги» решился на то, чтобы освободить читателя от такого важного знания? Конечно, вполне возможно и даже, скорее всего, дело обстояло так, что Сережа никого ни от чего не освобождал, а всего лишь сделал необходимую подстановку совсем в своем стиле. Начнем с того, что ссылка на Бродского как кумира была условной.

«Бродский нисколько не изменился,— писал он в частном письме к Ефимову в 1979 году.— Всем говорит, что лучший в мире роман — „Циники“ Мариенгофа. Я прочитал, вполне рядовая книга».

«Абсолютно ненавистный мне тип человека,— снова писал он тому же корреспонденту,— неорганизованный, рассеянный, беспечный трепач, да еще (как это часто бывает) со средними способностями. Вообразите себе тип Бродского, но без литературного дара».

Но зачем могло понадобиться Сереже выдавать Бродского за своего кумира? Кумиром Бродский слыл в глазах других, но никто не извлек из этого большей пользы, чем его мнимый почитатель Сережа Довлатов. «Мне, по указанию того же Бродского,

дают с января работу в Коннектикуте. Преподавать русский начинающим», — сообщает он другу. Среди других ссылок на Бродского, открывшего для Сережи дороги в мир американского литературного бизнеса, есть и такая: «Иосиф мне всячески содействует. Даже странно». Но что мог означать тот цветистый афоризм, приписанный Сережей его бывшей жене: «Есть люди, перед которыми стоят великие цели», поначалу истолкованный мной как к Бродскому отношения не имевший? Не было ли здесь, размышляла я, тайной мысли автора представить бывшую жену в очередной раз краснеющей перед читателем за свою неизбывную пошлость? Соответственно жена и покраснела, ознакомившись с этой строчкой «Невидимой книги», хотя, поразмыслив, откинула предположение о тайных мыслях Довлатова в пользу другой догадки. Ведь тема «великих целей» могла быть извлечена Сережей из собственного подсознания. В пользу этой догадки говорят его философские рассуждения о «ясных» и «глубоких» истинах, приуроченные как раз к теме Бродского.

«Истины бывают ясные и глубокие. Ясной истине противостоит ложь. Глубокой истине противостоит другая истина, менее глубокая... Мои друзья были одержимы ясными истинами... Бродского волновали глубокие истины», — писал он в той же «Невидимой книге».

Что же роднило носителя «глубоких истин» Иосифа Бродского с собирателем «ясных истин» Сергеем Довлатовым в момент их знакомства? Как представляется это мне, Сережин кумир Иосиф, о котором Сереже оказалось нечего сказать, заплатил почитателю своего таланта Сереже, той же самой монетой. Намек на присутствие Сережи в момент

их знакомства лишь в наличии личного местоимения «мы».

«Мы познакомились в квартире на пятом этаже около Финляндского вокзала. Хозяин был студентом филологического факультета ЛГУ — ныне он профессор того же факультета в маленьком городке в Германии. Квартира была небольшая, но алкоголя в ней было много. Это была зима то ли 1959, то ли 1960 года, и мы осаждали одну и ту же коротко стриженную, миловидную крепость, расположенную где-то на песках. По причинам слишком диковинным, чтоб их тут перечислять, осаду эту мне пришлось скоро снять и уехать в Среднюю Азию. Вернувшись два месяца спустя, я обнаружил, что крепость пала», — пишет Бродский после смерти Довлатова в «Звезде». («Иосиф Бродский о Сереже Довлатове: мир уродлив, и люди грустны».)

Поездка в Среднюю Азию, вокруг которой развиваются события предполагаемого знакомства Оси с Сережей, закончившаяся, как известно, скандальной попыткой Оси угнать советский самолет в Афганистан, содержит одну хронологическую неточность. Осино знакомство с Сережей состоялась до его «побега», а моя с Сережей свадьба — после самолетной истории. Так что то, на что Ося ссылается под шифром «крепость пала», никак не связано с их знакомством. Не смея утверждать, что эта хронологическая неточность была допущена Осей преднамеренно, располагаю сведениями о том, что в другом и не рассчитанном на публикацию контексте сам Ося придерживался другой датировки:

«...И вообще, кому все это надо — этот Афганистан? Родина — не родина — этих категорий, конечно, не было. Но вдруг я вспомнил девушку, которая у меня о ту пору была в Ленинграде. Хотя она уже была замужем...» (Интервью с Соломоном Волковым.)

Как бы по случайному совпадению и Сережа, и Ося мифологизируют историю знакомства друг с другом путем введения некоей ширмы в виде третьего лица, которым в Серезином случае оказалась «моя жена Ася», а в Осином «крепость, расположенная где-то на песках». Если учесть, что обе ссылки, в сущности, являются ссылками на одно и то же лицо, причем лицо, к которому каждый мемуарист предъявляет свои счета, то задача выявления фактов знакомства Серези и Оси становится неотделимой от задачи выявления позиции этого третьего лица. Сама являясь тем лицом, я могу постараться извлечь из пределов собственной памяти недостающие в предшествующих версиях звенья, по ходу исправив Осину хронологическую неточность.

В этом месте мне предстоит сделать существенную оговорку о несовершенстве памяти вообще и применительно к моей памяти посоветовать на то, как часто она подводила меня, а вкупе со мной и тех, кто позволял себе на нее слепо положиться. Так что читатель, который по всем имеющимся данным оказался на самом пороге знакомства с моей версией обсуждаемого здесь события, призывается, во избежание казусов, отнестись к моему повествованию со всяческой осмотрительностью.

Примерно за полгода до вышеозначенной встречи Серези с Иосифом состоялось мое знакомство с Серезиным будущим кумиром. Помню, провожая меня домой в день знакомства, Иосиф, кажущийся

большим и неуклюжим под тяжестью своей гладко выбритой и явно нездешней овцы шоколадного цвета, висевшей на нем нараспашку, беспечно поведал мне о предстоящей поездке в Самарканд по приглашению Олега Шахматова. На этом месте моего повествования Эра Коробова, которая чудесным образом оказалась в Америке на расстоянии четверти мили от меня, решительным жестом откладывает рукопись в сторону. «Овца была и гладко выбритой, и заграничной, тут мне нечего добавить, — говорит она, — но появилась она вовсе не тогда, а значительно позже». Ну что тут делать? Не поверить Эре было бы полным абсурдом. Уж если она всех этих событий не помнит со всей достоверностью, то кто же помнит? Но и себя жалко. Все же и у меня какая-никакая, а все же память. Вот и показывай после этого свои правдивые сочинения друзьям молодости. На этой ноте я спешаю возвратиться к истории моего с Осей знакомства. В овце или не в овце, но после длинной паузы он добавил, уже более доверительно, что едет в Среднюю Азию, чтобы оттуда совершить полет. Реагируя на контекст слова «полет» («Куда, интересно, можно полететь из Средней Азии? Не на Луну ли?»), я спросила, не скрывая иронии:

— Без надежды на приземление? — На что получила проверенный на патентную чистоту ответ будущего нобелевского лауреата:

— Полет — это всегда полет из, а не в. Понимаете?

Соотнесясь с той же памятью, могу продолжить, что Сережа впервые встретился с Осей в собственном доме на Рубинштейна, куда Ося был приглашен на свое первое и, как мне кажется, единственное в Серезином доме авторское чтение стихов. Их встреча закончилась обоюдной неприязнью, хотя у каждого были на то особые причины. Ося, тогда

немного в меня влюбленный, усмотрел в Сереже недостойного соперника, особенно после того, как опознал в нем типа, ранее примеченного в моем обществе в состоянии, как он тогда выразился, «скле-щенности». Сережа же занял снобистскую позицию, разделенную всеми другими участниками этого вечера, включая меня, согласно которой Осе было отказано в поэтическом даровании.

Дело было так. К приходу гостей были выставлены угощения, увенчанные горой из грецких орехов, которая и оказалась тем даром данайцев, роковым образом сказавшимся на памяти Оси и Сережи. Когда Ося, встав у рояля, готовился озвучить комнату раскатами будущего громовержца, аудитория уже направляла осторожные взоры в том запретном направлении, где возвышался ореховый контур. Когда пространство комнаты оказалось до удушья заполненным переносными рифмами, извергаемыми самим создателем, аудитория, оставив ему будущие лавры нобелевского лауреата, сплотилась вокруг стола, приобщившись к орехам сначала робко, а затем со все возрастающей сноровкой. Закончив «Шествие», только что написанное им вдогонку цветаевскому «Крысолову», и не взглянув на угощение, от которого к тому моменту осталось жалкое подобие, Ося направился к двери, предварительно сделав заявление представшей перед ним книжной полке: «Прошу всех запомнить, что сегодня освистали гения». Не исключено, что, если бы это первое знакомство не началось так бесславно для освистанного Иосифа и так неосмотрительно для освиставшего Иосифа Сережи, их версии первого знакомства могли бы совпасть, разумеется, если исключить такую возможность, что их обоих могла таким обескураживающим образом подвести память.

Следующая встреча Сережи с Осей, которой хронологически предшествовала встреча, описанная в истории с Соснорой, произошла уже не в Серезином, а в моем доме на улице Жуковского. Мы, то есть Сережа, почтительно называвший Осю Иосифом, и сам мэтр Иосиф, собрались там после какой-то совместной функции и незадолго до Осиного отъезда в Америку. Гости были голодны, а в доме, их принимающем, ничего не оказалось, кроме несложных ингредиентов для мясного супа, которые хозяйка в моем лице смущенно демонстрировала, извлекая один за другим из холодильника. Когда очередь дошла до морковки, Иосиф мрачно пропел:

Однажды приперлась картошка к морковке
И видит: морковка лежит в упаковке...—

на что Сережа педантично заметил:

— Скажите, Иосиф, почему же она лежит, если она — уже — в упаковке?

Впоследствии эта тема была развита в «Соло на ундервуде», где упоминается поэт Семен Ботвинник в качестве автора таких стихов:

...Адмиралтейская игла
Сегодня, дети, без чехла!..

Других встреч обоих мемуаристов на русской земле не припомню. Иосиф довольно рано перестал располагать досугом, стал отлучаться надолго в Москву, после чего поселился в Америке и поспешил дальше в историю, в то время как Сережа, хоть и отправился в западном направлении, оказался всего лишь в другой провинции.

Как развивались их отношения в Америке, судить со своего Западного побережья не берусь, хотя

однажды на несколько мгновений мы и оказались снова втроем. Находясь в Нью-Йорке, я узнала об Осинной операции, и мы с Сережей отправились его навестить. Иосиф, очень бледный, лежал на высоких подушках почти неподвижно. Движением пальца он пригласил нас присесть. Ни Сережа, ни я не могли найти правильного тона для беседы. Вопрос о том, как он себя чувствует, отпадал сам собой. Наконец Сережа что-то придумал и сказал жизнерадостно:

— Тут у нас Евтушенко выступал в защиту евреев.

— Если он — «за», то я — «против», — прошептал Ося и откинулся на подушки в изнеможении, как человек, свою миссию выполнивший.

Я читала в одной из книг Эрвина Пановского о том, как полуживого Эммануила Канта за девять дней до смерти навестил врач. Кант с величайшим трудом и не без помощи своего секретаря приподнялся с кресла и на увещевания врача не вставать произнес отказывающимися повиноваться губами: «Вера в гуманистическое начало человечества еще не покинула меня».

«Когда случилось петь Дездемоне» и когда настал Сережин звездный час, нобелевский лауреат, у ложа которого Сережа еще так недавно расточал свое жизнелюбие, не остался в долгу (как-никак оба оказались на пороге истории) и со сдержанной любовью напечатал свои уже упомянутые мемуары в журнале «Звезда». К Бродскому присоединились Сережины кумиры, которых, как и Хемингуэя, затмил в глазах Довлатова Бродский.

В неизвестном направлении

Может быть, день клонился к вечеру. Но в жаркой полутьме, где мы сидели полураздетыми и говорили, было по-прежнему тяжело. По-прежнему нас клонило ко сну, но не хотелось выходить наружу, ибо снаружи было только одно сплошное теплое море дождя, в котором медленно и в неизвестном направлении плыли мы в глубоком трюме огромного черного дома.

Борис Поплавский

Птица тем и завораживает, что всегда в полете. У нас нет науки о досугах. Книжники от Аристотеля до Ломоносова, от Ломоносова до Гончарова, а уж после Гончарова — что и говорить, что там спрашивать, молчат, слова в простоте не скажут. «Досуги» не подпали, дескать, «под ферулу риторики», — глаголет век девятнадцатый, железный. А что, если бы подпали? Тогда не было бы такой сумятицы. Тогда досужий человек, будучи волен делать что ему заблагорассудится, знал бы, как избежать скуки, которую человечество встречает с бесстрашием, вместо того чтобы отвергнуть хотя бы по мотивам вкуса.

Наш анклав не нуждался в ферулах. Меры по борьбе со скукой составляли и тему, и существо нашего досуга. Когда Рому Каплана приветствовали знакомые:

— Привет, старик. Как дела? — Рома сосредоточивался на предмете разговора и уточнял:

— С деньгами или без денег?

Досужий Сережа готов был не только сражаться с предложенным стереотипом, как это делал друг Рома, но и опережать события.

Когда случилось петь С. Д. и мне

« — Скажите, Люда, возле вашего дома есть лужа? — спросил Довлатов, когда мы въехали на Исаакиевскую площадь.

— Не помню... А зачем лужа?

— Очень важная деталь. Если есть лужа, я выскакиваю из машины, первый снимаю пальто и небрежно бросаю его в лужу, и вы проходите по нему, как по ковру. Помните в „Бесприданнице“? Этот жест входит в программу оболыщения и действует безотказно. Проверял сотни раз.

— Сколько же у вас пальто?

— Одно, но ему ничего не сделается. Смотрите, какая царская подкладка. Нейлон под горностай. Только не вздумайте говорить, что это дешевый трюк. Будто я сам не знаю». (Из воспоминаний Люды Штерн.)

Наш досуг был нашей мечтой. В реальной жизни все могло обстоять куда более прозаично.

«— Как и в какое время он обычно писал? — посмертно вопрошает интервьюер Арнольд Малиевский Лену Довлатову.

— Сергей барином не был, — поступает ответ. — Работал в трудных условиях». (Дальше идет добросовестное перечисление «трудных условий».)

Так что же такое был наш досуг? После удачной бомбежки Берлина союзными войсками был восстановлен, будучи, разумеется, сначала разрушенным, некий долгий документ, который коснулся, среди прочих и более важных дел, понятий «досуга» и «досужего». И что же поведал нам пострадавший от

советского вторжения в Берлин вполне не советский и даже не славянский автор?

«Досужий,— пишет Макс Фасмер в документе, педантично названном в отсутствие досуга „Этимологическим словарем“,— значится в болгарском обиходе как „проворный и заботливый“, а в украинском как „пожилой, крепкий“. А вообще пошло это по сути восхитительное слово от сербохорватского „досег“ („граница“) и русского „досягать“».

Короче, то, что достигнуто, то и есть досуг. Так было у наших предков, так и будет во веки веков. Аминь. Однако в советских словарях «досуг» отразил агонию заказывающего их режима.

«Досуг,— читаем мы в словаре академическом, главнейшем,— есть время, свободное от работы, занятий, каких-либо дел».

О каком это времени можно сказать, что оно свободно от работы, занятий и каких-либо дел? Скажем, читаем у Мандельштама: «Отчего ты все дуешь в трубу, молодой человек? Полежал бы ты лучше в гробу, молодой человек» — и, вполне естественно, задаемся вопросом: идет ли там речь о времени, свободном от работы, занятий и каких-либо дел, то есть досуге, или о времени, вовсе не свободном от работы, занятий или каких-либо дел, то есть о не-досуге? Короче, со словом «досуг» и его определениями всегда была путаница. Но вот явились наши сверстники и внесли ясность в то, над чем бились славянские и неславянские братья, их родственники, наши отцы и их шурины. «Досуг», провозгласили мы, это время, которое исчерпывается нашей свободой от работы, занятий и прочих дел, которая в сущности и является нашей работой, занятиями и всеми прочими делами. Мы — дети неизбежного досуга, и продукт нашего досуга обещает быть ко всем прочим прелестям

работой, занятиями и делами всех тех, кто есть мы и не есть мы.

Досугу обучал Сережу Женя Рейн, который, обмакнув перо в иллюзион экстравагантных затей, объединил и таланты, и поклонников по одной цеховой принадлежности к любителям «досуга». Например, он явился архитектором биографии московского композитора Никиты Богословского, разумеется не в той ее части, где тот являлся председателем Союза композиторов, в чьей упряжке проскакал долгие лета, а в той части, где, в отличие от прочих кавалеров упряжки, Богословский обладал неограниченным досугом и столь же необъятным талантом им заражать ближнего.

«В ненастный ноябрьский вечер,— лениво повествует еще не сбившийся на московский ритм поэт питерского засола Евгений Рейн,— журналист Бахнов в компании своего товарища, тоже журналиста, Костюковского, собирается в Питер по делам службы. Посидев, как водится, на дорожку, оба энергично атакуют свои кожаные портфели типа „дипломат“, надвинув предварительно по новенькой замшевой кепке на затылки и вдев четыре ловкие руки в рукава столь же новеньких курток из овцы канадского воспитания, какие были в ту пору модными в Москве, они оба, как по команде, бросаются к телефону, который к тому времени уже начал звонить. Никита Богословский, которого поднявший трубку, опередив Костюковского, Бахнов узнает по голосу, просит о дружеском участии. Нельзя ли, спрашивает, привезти к перрону одну поклажу для передачи теще, чей муж всенепременно встретит их на вокзале в Ленинграде.

— А какую, собственно, поклажу? — спрашивает Бахнов внезапно севшим голосом.

— Дамское барахло. Лингерия, бижутерия. Моей теще всегда недостает чего-то из гардероба, — звучит бодрый голос на другом конце провода.

Как того и следовало ожидать, Бахнов немедленно соглашается, хотя чувствует, как в сердце его вонзается игла недобрых предчувствий».

Подходя к перрону у мягкого вагона, они издали увидели вальяжную фигуру Богословского, что-то объясняющего служителю железнодорожного транспорта, распахнув доху с проглядывающим с изнаночной стороны зверем редкой бобровой породы. Рядом с Богословским скромно покоился кованый сундук образца времен Очакова и покоренья Крыма, с отбитыми углами и забитым фанерой дном. По всей видимости, проводник отказывался принять недвижимость в сферу своего влияния, однако к моменту, когда Бахнов и Костюковский поравнялись с собеседниками, за околышек путевой фуражки отправилась некая хрустящая ассигнация, в связи с которой проводник настроился больше не перечить хозяину сундука. Вскорости богословская поклажа заняла пространство, отведенное пассажирам двухместного спального купе для помещения ног, оставаясь в состоянии безмолвной замкнутости до конца пути, который, как известно, был не длиннее того, что был проделан не бесславно, хотя и в противоположном направлении, известным путешественником Радищевым.

На Московском вокзале было довольно многолюдно, несмотря на утренний час, однако наших друзей не встречал никто, в связи с чем было нанято

два носильщика. Не без треволнений сундук был водворен на сиденье такси, шофер которого взял курс на гостиницу «Астория». Из «Астории», где был загодя забронирован номер с видом на Исаакиевскую площадь и куда гости допущены не были, одному из них удалось отправить холодящую душу телеграмму Никите Богословскому, от которого пришел молниеносный ответ: «Цитирую: „Все смешалось в доме Облонских“. От себя: „Теща уже в Москве. Сообщите обратный рейс. Богословский, должник от Бога“». Посовещавшись, друзья решили подарить сундучок какому-нибудь vendor'у еще функционирующей в те времена барахолки, предварительно ознакомившись с его содержимым. Когда дно сундука было со скрипом выбито, из него стали вываливаться завернутые в дамское белье кирпичи и бульжники. «Смотри,— со скупой лаской в голосе сказал другу Бахнов.— Про бижутерию и лингерию все же не соврал. Талантливого человека узнаешь не по делам, а по словам».

— А-сс-яя,— говорит мне в сердцах редактор «Граней» Таня Жилкина, взявшая на себя труд предания гласности моего сочинительства, напечатав его скупым тиражом в несколько сот экземпляров.— А не поставить ли нам точку уже в начале первой истории? Уж слишком они досужие!

— Танечка,— отвечаю я ей.— Вы, как редактор, вправе ставить точку в любой плоскости ваших «Граней», а я уж доскажу свои истории в надежде, что найдется еще на моем веку такой редактор, которому захочется их оставить из ностальгических соображений.

В другой рейновской новелле речь шла о московском коллекционере картин Костаки, который однажды пришел домой в состоянии не первой трезвости, вынул ключ от собственной квартиры, но не

смог нащупать замочной скважины. Поразмыслив с минуту, он извлек из кармана американскую зажигалку и при ярком западном освещении вдруг, в один момент протрезвев, обнаружил, что его квартира опечатана. Многократным щелканьем кремнисто-газового инструмента ему удалось далее установить, что замок залит сургучом, к которому приложена гербовая печать Союза Советских Социалистических Республик. В тот самый момент, когда, к своему ужасу, он остался при полнейшем убеждении, что это так, в квартире зазвонил телефон, при звуке которого хозяин помчался прочь что было духу. Проведя бессонную ночь у друзей, которым не решился поведать о своей кручине, Костаки чуть свет явился пред очи начальника своего домоуправления, который оказался не в состоянии пополнить уже имеющийся у Костаки багаж знаний новыми сведениями о случившемся. Покинув озадаченного домоуправа, потенциальный каторжанин отправился сначала в райком, а затем с тем же, то есть отсутствующим, результатом в обком партии. В последней инстанции ему присоветовали обратиться в КГБ, что он и решил безотлагательно претворить в дело. На пути в КГБ он, то ли зазевавшись, то ли из общих соображений, завернул в не рифмующееся с КГБ заведение под условным названием ЦДЛ.

Там, сразу оказавшись в спасительном обществе Жени Рейна, Костаки услышал последнюю сплетню о том, как Никита Богословский опечатал чью-то квартиру посредством пластилина и пятикопеечной монеты, после чего безуспешно пытался разыскать хозяина, который, то ли со страху, то ли по иной какой прихоти, назначил себе пожизненную ссылку. Сопоставив уже известное с только что поведенным Рейном, Костаки вдруг успокоился и заказал Рейну карпа в сметане, как нельзя более согласующегося

с Жениным суждением о приятно проведенном вечере вне дома.

Как следовало из третьей рейновской новеллы, Никита Богословский подрабатывал с приятелем, композитором Катцем, в домах отдыха, причем одновременно в двух заведениях сразу. Скажем, если Богословский объявлял концертную программу открытой в одном доме отдыха, представляя себя ведущим первого отделения, то Катц заканчивал объявленную Богословским концертную программу в том же доме отдыха, провозглашая себя ведущим во втором отделении, и наоборот. Аналогично же, если Богословский получал гонорар для себя и Катца в кассе первого дома отдыха, то можно было быть уверенным, что композитор Катц был занят тем же делом в кассе второго дома отдыха. И так продолжалось до какого-то рокового для композитора Катца момента. И речь здесь должна пойти об аналогичном, neroковом моменте в жизни Богословского, когда ему, известному композитору, склонному к эксцентричности, надоел заведенный миропорядок, который он решил изменить.

Однажды, поставив свой автомобиль марки «Волга» перед воротами первого дома отдыха, Богословский взлетел на слегка покосившуюся со времени первых декретов советской власти сцену и, окинув взглядом переполненный зал, сказал, превосходно имитируя картинно-картавый голос своего коллеги: «Я композитор Владимир Катц», после чего исполнил, спел и произнес слово в слово все, что, как ему было досконально известно, предстояло быть исполненным, пропетым и произнесенным его другом Владимиром Катцем. Закончив первое отделение, Богословский отправился во второй дом отдыха, освободив почти не постаревшую за время его импровизации сцену для дерзаний пунктуально подо-

спевшего к тому времени Владимира Катца, который, с присущей его картинно-картавому голосу игривостью, представился композитором Владимиром Катцем, ведущим второе отделение программы.

В зале наступило гробовое молчание, истолкованное Катцем как залог замороженного ожидания. Однако когда он, вдохновясь, стал, по обыкновению, насвистывать свою вступительную шутку-экспромт, до его уха донеслись недовольные крики с галерки. Попытка продолжить программу не принесла облегчения, и все закончилось тем, что композитор Владимир Катц бежал со слегка покосившейся со времен первых декретов советской власти сцены под топот и свист переполненного зала, который стоял в его ушах до последних дней его во всех прочих отношениях благодатной старости.

Из мифов о досуге было соткано наше поколение.

Взгляд без зрачка

...Над рекой восходила луна, и, может быть, именно ее-то и ждал Аполлон Безобразов. Огромная, мутно-оранжевая, как солнце, опустившееся в дымную земную атмосферу, как солнце, наконец покоренное земным притяжением, как пьяное солнце, как лживое солнце, смотрела она своим единственным и еще теплым взглядом без зрачка, своей гигантской тяжестью подавляя теплую железную крышу и дальние низкие острова. Потом она поднялась немного выше и просветлела и, как дрожащие руки проснувшегося от припадка, протянула к нам по воде белую линию отражения...

Борис Поплавский

Здесь речь идет о годах шестидесятых, о том поколении, которое увенчало своей погибелью погибель аполитичного, непомерного и антикаузального, взбив перину для новых постояльцев, скроенных по меркам морали, политики и законодательной мысли. Мы, о которых идет здесь речь, жили в теплицах без грунта, в тотеме без табу, в оранжереях без стекол, питаясь собственными мечтами и иллюзорными истинами. А рядом с нами, щека к щеке, дышало другое поколение, из которого мы вышли, поколение грунта без теплицы, табу без тотема и стеклянных куполов без оранжерей. Они создавали единые и вечные истины, которые звучали гордо, и строили свои неуклюжие жилища на грунте без теплицы, в режиме полярного холода, непроницаемого льда.

У нас, в наших оранжереях, царил тропический зной, нескончаемая фиеста, зеркальная полоса воды,

где нежились и любовались своим отражением нарциссы, свободные личности, мастера слова, ваятели новых языковых канонов, разливающие палитру на холстах собственного таланта. Их цитадели стояли незыблемо, поддерживая планету, на манер трех китов, понятиями «долга» и «реального мира». В наших эмпириях все было зыбко, наш «долг», как все долги, существовал в категории множественных чисел, а реальный мир проплывал и исчезал за линией горизонта по следу алых парусов. Мы жили в мире единичного, где один пример, одно наблюдение было уже и правилом, и законом, и скрижалью, и универсумом, но никогда шаблоном.

Если бы однажды к нам явился провидец, чего на нашем веку так никогда и не произошло, который разглядел бы в нарциссизме наших оранжерей некий шаблон, мы бы, пустив в ход наше излюбленное оружие — смех и слезы, — изгнали и прокляли бы такого провидца. Однако шаблон тем не менее был. Довольно известный шаблон, хотя к нашему тепличному поколению еще неприменимый, — шаблон тотема. Все то, что вспыхивало, бушевало и формировалось в наших головах, было не только и не столько актом эстетического дыхания, не литературой и не искусством (все это сформировалось гораздо позже), а скорее мифотворчеством в самом архаическом понимании этого слова. Мы строили, творили, лепили нашу легенду лаптем, локтем, лепетом и трепетом. Из легенды строился наш быт, наше творческое усердие и наш нескончаемый досуг, и наоборот, наш быт, наше творческое усердие и наш нескончаемый досуг составляли пилястры и капители наших легенд. Размышление, «компромисс и компромиссис», порядок, усидчивость и системное образование составляли список недопустимых вольностей.

Мы жили ощупью. Наша теплица была нашим кругом, квадратом и параллелепипедом. Если это был круг, то наш круг хотя и не был узким, но воспринимался нами, равно как и мы им, в виде узкого круга. Мы знали друг друга схематично. Каждый равнялся тому, что и как он говорил. То, что было сказано сегодня, не вытекало из того, что декларировалось вчера. Бесконсеквентная и безответственная, наша жизнь текла как непрекращающийся симпозиум, где диалогом назывался поединок одного брошенного слова с другим. Слово, острый анекдот, каламбур, умная цитата служили неделимым элементом ритуала посвящения в наш круг, квадрат и параллелепипед праздной неприкаянности и артистического разгильдяйства.

Возможно, у кого-то из нас и были цели. Возможно, кто-то из нас и был способен оценить (переоценить?) свои возможности на чаше весов настоящего, а возможно, даже и будущего. Им Сережа в первую очередь был обязан своим будущим появлением на литературном рынке. Ретроспективно выяснилось, что Сережа считал себя «непризнанным гением». Для меня это признание прозвучало полным откровением:

«В шестидесятые годы я был начинающим литератором с огромными претензиями. Мое честолюбие было обратно пропорционально конкретным возможностям. То есть отсутствие возможностей давало мне право считаться непризнанным гением».

Шаблон, в котором проявлял себя наш тотем тех лет, был статичен, как античный миф. С позиции моего настоящего я вижу, что яркость его ярчайших представителей заключалась не в смелости и оригиналь-

ности мысли и даже не в индивидуальности, а в некоторой даже ущербности сродни взгляду без зрачка, свету без световых лучей и радуге без цветовой гаммы. При том что мы все думали более или менее одинаково, читали одни и те же книги, вели одни и те же беседы, лиц, несущих ответственность за наш духовный обмен, то есть лиц, восседающих за жертвенным столом, где происходило заклятие живых за бутылкой аквавита, было единицы. Каждый нес свою лепту, но не каждый внес.

Свиток недопустимых тотемом вольностей, на манер канона любого закрытого клуба или анклава, не подлежал оглашению. Знал о нем только тот, кто оказался включенным в сферу и границы данного тотема. Скажем, пригласив университетского друга на очередную попойку, вы могли получить отказ под любым мотивом, соусом или приправой, за исключением ссылки на академическую занятость, которая входила в число недопустимых вольностей. Однако не следует полагать, что сам свиток недопустимых вольностей, то есть сама категория запрета, поступал к нам под каким бы то ни было мотивом, соусом или приправой.

Тотем гордо хранил свой принцип антикаузальности, возможно, по аналогии с тем, что ему было известно о дородовом тотеме. Каждому члену анклава было хорошо известно, что ссылка на академическую занятость входила в число недопустимых запретов, табу, нарушение которых грозило лишением популярности. А кто мог себе позволить добровольное лишение популярности, если непопулярность была равносильна погребению заживо. Однако сам вопрос о происхождении любого нашего табу оставался за пределами дозволенных. По произволу тотемного анклава человек мог лишиться популярности не вследствие чего-то, а по «капризу», «прихоти»,

«случаю» или «произволу», например оказавшись персонажем чьей-то истории, попав в анекдот, шарж или экспромт.

Вполне вероятно, что именно этой неконсеквентностью, составлявшей прихотливую особенность нашего тотема, объясняется, с одной стороны, наша безучастная причастность к падению поколения грунта без теплицы, табу без тотема и стеклянных куполов без оранжерей, из которого мы вышли, и наша собственная обреченность на недолговечие — с другой.

Между двумя мирами

— Но скажите, — как бы из последних сил защищался я или пытался защитить что-то умирающее, как казалось, подле меня, что-то подверженное страшной опасности, — ну а если бы вам можно было выбрать между двумя мирами. Миром, где все было бы свободным, миром, где все подчинялось бы человеку, где по желанию все могло бы изменяться и возникать из ничего, и миром, где все было бы сковано, все навек предопределено, все неизменно и детерминированно необходимо, какой бы вы выбрали?

Борис Поплавский

Понятие власти испокон века было переплетено у нас с понятием «авторитета», в какой бы зависимости они ни находились друг от друга. Если британцы, сохраняя дистанцию по отношению к власти, могли позволить себе иронично заметить, что власть разрушительна, а абсолютная власть разрушительна абсолютно, для нас власть всегда мерилась шкаликами и мензурками авторитета, являясь неисчерпаемым источником хмельного упоения. Страна жила в хмельном авторитетном чаду безграничных авторитетов. Даже вождь и учитель поклонялся авторитету, капризно выбрав его из числа британских подданных, которые по иронии судьбы недолго любили диктаторов. Правда, других. Один из безграничных литературных авторитетов нашего анклава, Андрей Битов, сделал наблюдение, что даже «Словарь эпитетов русского языка... начинается словом „авторитет“, помеченным эпитетом „безграничный“».

Конечно, поклонение безграничному авторитету не могло не быть заключено в строгие рамки. Поклоняться нужно было правильному авторитету, ибо авторитет был своего рода мандатным удостоверением или видом на жительство. Тому же Битову не сподобилось получить рецензию на свою первую книжку от Корнея Чуковского на том основании, что она уже получила хвалебный отзыв у ложного авторитета. Ее одобрил Ермилов. По законам нашего анклава на звание писателя мог претендовать лишь автор, занявший «истинную» позицию по отношению к режиму, то есть разделивший диссидентское мировоззрение.

«Первый русский писатель в современном смысле слова не был писателем, до тех пор пока его не посадили. Он стал писателем. В тюремной яме. На дне. В заточении. В заключении», — писал Андрей Битов в «Новом Гулливере».

Разумеется, существовала и другая позиция, не считавшая ни поддержку режима, ни сопротивление ему основанием для суждений о ценностях, включая литературные. По всем внешним признакам эту позицию занимал и Сережа, отразивший ее в записной книжке, воспользовавшись авторитетом Наймана.

«— Толя, — зову я Наймана, — пойдете в гости к Леве Друскину.

— Не пойду. Какой-то он советский.

— То есть как это советский?

— Ну, антисоветский. Какая разница?..»

Однако позиция, при которой понятие власти демонстративно не связывалось с понятием авторитета, была всего лишь попыткой, весьма заманчивой для

Сережи, подменить жизненную позицию на интеллектуальную.

«Он не боролся с режимом,— писал он о Бродском.— Он его не замечал. И даже не твердо знал о его существовании... Когда на фасаде его дома укрепили шестиметровый портрет Мжаванадзе, Бродский сказал:

— Кто это? Похож на Уильяма Блейка...»

Конечно, такая подмена оказалась, как ни странно, наиболее удобной именно для литераторов. Отказ от публикаций освобождал их от нужды в соперничестве и связанных с ним волнений, страхов, покушений, вознесений и падений, при этом не только не затронув зреющих писательских амбиций, но и создав для их буйного роста наиболее благоприятную почву. Можно сказать, что поколение шестидесятых было удачливым по части благополучия и предрасположенности к формированию диктатуры в диктатуре, впоследствии названной борьбой с антиистеблишментом, ибо именно ему будет суждено расширить политический горизонт российского интеллектуализма еще на один порядок. Но Сереже до этого было еще далеко. А пока он любил не без чувства самодовольства рассказывать, как Андрюша Арьев защищал одну беспомощную в литературном отношении рукопись.

— Твой протеже написал бездарные стихи,— демонстративно морщился рассказчик Сережа,— а бездарные стихи, даже если они и антисоветские, не перестают быть бездарными.

— Бездарными, но родными,— парировал ему Арьев.

С позиции демонстративной аполитичности Сережины истории, в которых по замыслу рассказчика

как бы не усматривалось ничего, кроме смешных ситуаций, все же проходили тот тест под названием «проверка на режимность». Из них нами была извлечена новая «достоверность» о том опальном поколении, о котором ни газеты, ни какая другая пресса не обмолвились ни словом. Поставщиком такой «достоверности» был Серезин отец Донат Мечик, театральная карьера которого началась в двадцатые годы во Владивостоке. По семейному преданию, Донат дебютировал как пародийный и комический автор под псевдонимом Донат Весенний и был замечен пародируемым им Михаилом Михайловичем Зощенко, который первым делом посоветовал Донату сменить псевдоним.

Знакомство Доната с Зощенко, начавшееся в двадцатые годы, закончилось одиноким прощанием у гроба опального писателя. Михаил Михайлович, будучи исключенным из Союза писателей по ждановскому постановлению 1946 года, оказался еще в большей степени, чем Анна Андреевна Ахматова, подвергнутая той же участи, в полной изоляции.

«Однажды,— рассказывал Донат нам с Серезей,— передо мной вырос Зощенко, идущий мне навстречу. Едва завидев меня, он поспешил перейти на другую сторону улицы. Я догнал его и спросил:

— Вы что, меня избегаете?

— Я, кажется, всех избегаю,— ответил мне Зощенко.— Вернес, помогаю друзьям избегать меня. Ведь им же непросто не поздороваться, если они меня уже заметили».

Из того же источника к Серезе поступила история о щедром участии в судьбе Михаила Зощенко редактора «Нового мира» Константина Симонова.

— Представьте, что Симонов,— рассказывал Сережа,— предложил Зощенко гонорар за повесть «Перед восходом солнца», зная заранее, что опубликовать ее нет шансов. И вот Симонова спросили, зачем он это сделал. «Пытаюсь сохранить человеческое достоинство,— сказал он.— А уж дальше как Бог даст».

После смерти Соллертинского Донат возглавил литературный отдел Пушкинского театра (ныне вновь Александринский). В эти годы он познакомился с Николаем Черкасовым, Всеволодом Мейерхольдом, Верой Пановой, Евгением Шварцем, Дмитрием Шостаковичем и о каждом мог и любил рассказать смешные истории, которые Сережа на манер гомеровского оратора перенимал вместе с жезлом говорящего.

«Середина пятидесятых годов,— повествует Сережа о Давиде Яковлевиче Даре.— Идет заседание Союза писателей. В зале сильно натоплено, и кто-то просит открыть форточку. Говорит, что нельзя дышать. Кто-то идет к окну, и при полной тишине в зале отчетливо звучит голос Дара с сильным еврейским акцентом:

— Ви говорите, нельзя дышать? Почему нельзя? Это же обычный советский воздух».

От Доната к Сереже перешла пародия на Дара, приписывавшаяся Соллертинскому, но, по убеждению Доната, принадлежавшая какому-то другому автору:

Хорошо быть Даром,
получая даром
каждый год по новой
повести Пановой.

Много лет спустя, в эмиграции, Сережа, сохранивший контакты с «последним российским чудачком», как он именовал Дара, с восторгом рассказывал мне в один из моих приездов в Нью-Йорк о том, как семидесятилетний Дар, обосновавшийся в Израиле и зазываемый Сережей в гости, отклонил Сережино приглашение по трем друг друга не исключаящим причинам: нет денег, нет языка, нет эрекции. Не исключено, что восторгу в адрес Дара, как и всем Сережиным восторгам, не мог не предшествовать травматический опыт.

«Передо мной внезапно извинился Дар,— писал Сережа Ефимову примерно в то же время.— Сожалеет, что наводнил Ленинград призывами меня избить. Это было. Два года назад ко мне подошел богатырь Холоденко и сказал:

— Дар велел ударить тебя по физиономии. Только не пишет за что.

В общем, Дар извинился. Я был очень расстроган».

Полагаю, что спровоцировать семидесятилетнего Дара на реакцию такого рода было делом большого таланта. Но едва ли не большего таланта потребовал от Сережи сам акт прощения, вызванный извинениями им же оскорбленного Дара.

«Евгений Львович Шварц,— пересказывал нам Сережа еще одну Донатову историю,— только что закончивший „Дракона“ в блокадном Ленинграде, попал в число приглашенных на благотворительный банкет, устроенный руководством города с целью подкормить голодающих писателей. Получив приглашение, Шварц, у которого дрожали руки вследствие рассеянно-

го склероза, от чего он впоследствии и умер, немедленно разорвал приглашенный билет из опасения, что поддастся соблазну, в то время как его дрожащие руки могут быть истолкованы партийными чиновниками как свидетельство неумемного аппетита».

У Веры Пановой, известной своей независимостью суждений и гражданским мужеством, Сережа некоторое время работал секретарем. Панова в Сережиной жизни занимала примерно такое же место, какое Анна Ахматова занимала в жизни Бродского, Рейна и Наймана. Он относился к ней с кокетливой почтительностью в глаза и с восхищением за глаза.

«— У дочери товарища Полянского была недавно свадьба,— цитирует Сережа Хрущева якобы в пересказе очевидца, Пановой.— Молодым преподнесли абстрактную картину. Она мне решительно не понравилась... В доме товарища Полянского была, как известно, свадьба. И вдруг начали танцевать... как его? Шейк. Это было что-то жуткое... Как я уже говорил, в доме товарища Полянского играли свадьбу. Молодой поэт читал стихи. Они показались мне слишком заумными...» Тут Панова не выдержала. Встала и говорит Хрущеву:

— Все ясно, дорогой Никита Сергеевич! Эта свадьба явилась могучим источником познания жизни для вас»,— писал Довлатов в «Невидимой книге».

Поставив точку на этом месте, я вдруг подумала. Ведь рассказчик Сережа, так откровенно восторгавшийся независимо думающими авторами, был готов впасть в любую ересь, поступи она от лица, ему этот

восторг внушившего. Скажем, замечания Веры Пановой о том, что в слове «дизентерия» ударение падает на третий слог, было достаточно, чтобы Сережа не только свято внял этому правилу, но и разыгрывал удивление, когда слышал разночтения. А что было бы с Сережей, вернее, с его позицией «вне режима», при всем его почтении к авторитету, норме и стандарту, если бы его литературная судьба сложилась так, что его сразу же стали бы печатать? И кого следует благодарить за то, что период «вне режима» совпал для Сережи с периодом «вне конкуренции»? Ведь когда настало время соперничества, Сережа был уже не один. С его именем уже ассоциировались пестрые наклейки, зошеники, шварцы, олеши, пановы, бродские, найманы, рейны. Короче, кого следует благодарить за то, что Сережа вошел в литературу с заднего входа?

Мне скажут, что парадного входа в литературу нет. Появление каждого автора окружено тайной. Сначала нет автора, а потом как бы из небытия, из яйца ли вылупился, из кокона ли вылетел, но пришел на свет со всеми правами на жительство, то бишь с пропиской, а некоторые даже с мандатом на интеллектуальное господство. Однако к числу писателей, которые начинали, не помышляя о литературе, Сережа не принадлежал, в отличие от, скажем, Чехова, с которым его подрядились ныне нет-нет да и сравнивать. Ведь, по свидетельству Бунина, Чехов именно потому стал «редким писателем», что «начинал, не думая, что он будет не только большим писателем, но и даже просто писателем». Сережу Бунин, вероятно, не назвал бы редким писателем, в связи с чем вопрос о том, с какого входа он вошел в литературу, предстоит решить без Бунина. Но кому решить?

И тут я опять впадаю в долгую задумчивость. Ведь рассказы о Зоценко—Шварце—Пановой и иже с ними оказались не только достоянием филиала университетских коридоров на улице Рубинштейна... Ими же, этими историями, оказался пополненным каждый список Сережиных публикаций. Обратите внимание! Вышел диалог Пановой с Никитой Сергеевичем в сборнике «Невидимая книга». Ну, поблагодарили автора, раскошелились на книгу. Отсмеялись, отплакали. Жизнь продолжается. Автор плодится и размножается. Листаем «Соло на ундервуде». Приглядываемся... Снова диалог с Никитой Хрущевым, но уже не со слов Веры Пановой, а с позиции иного автора, конечно, того же слабого пола и тоже из числа «независимых». Короче, тот же диалог, слово в слово пановский, но уже подписанный Ольгой Берггольц. Что за черт... думаешь. Другого Никиты Хрущева вроде не появлялось, да если бы он и явился, не мог же он оказаться в обличии старого Никиты Сергеевича, согласившегося слово в слово его дублировать? Не в кино же, как сказал бы писатель Зоценко. Да здесь, конечно, редакторская ошибка. А что, если с позволения автора? Тогда в чем дело-то? В забывчивости, небрежности или в чем-либо более возвышенном?

Конечно, не нам с нашим обшарпанным багажом рассуждать о возвышенном. А если всему виной авторская забывчивость, то кому, как не нам, знать, что от забывчивости ничего хорошего не жди, разве что материала для работы подсознания. На нем и остановимся. Разве тот факт, что авторитет Пановой оказался взаимозаменяемым с авторитетом Берггольц, не свидетельствует о том, что авторитетами Сережа воспользовался не по назначению? Тут даже прослеживается тенденция. Поначалу Зоценко был Зоценко, Шварц Шварцем, Панова Пановой.

А потом Пановой стала Берггольц. До Зошенко и Шварца дело могло не дойти, но только потому, что появились другие имена и другие тенденции.

Но об именах позже, тем более что к концу Сережиной жизни все кругом стали Довлатовыми. Сейчас важнее то, что к какому-то моменту у Сережи настала нужда в тусовке, сортировке, переклеивании ярлыков, а там пошло-поехало. А так как от всего до всего рукой подать, все понеслось стремительно, от грозы да в проливень, от огня да в полымя, а от полымя да сразу в новый жанр, с виду документальный, однако замешенный на дрожжах и сметане псевдодостоверности. Получился зверь не зверь, но что-то вроде дракона, в чреве которого крыло документа подхватило крыло фантазии в два обхвата, а в точке второго обхвата бантом завязался вечный огонь авторского таланта.

А при чем здесь Зошенко, Шварц, Панова? Ведь не у них же заимствовался кремень для того огня, что бантом? Не скажите. Где же разжиться фантазией, как не у них... Будь псевдодокументализм, которым «что-то вроде дракона» и было окрещено, замешен на собственном опыте, а не на жемчужинах чужого вымысла, пришлось бы долго, раскинув сети, у моря гулять. А так как собственного опыта в псевдодокументализме, как говорится, «днем с огнем», самое время было установить иерархию. Как и следовало ожидать, все началось с Доната.

Осенняя мансарда

Так шли мы... мимо вычищенной меди и темно-зеленых пальм, только что вымытых и лоснящихся в деревянных своих ящиках, мимо красивых стандартных плакатов... мимо искусственных ручьев непитьевой воды, которая с бодрым шипением вырывалась из специальных, вровень с мостовой вделанных отверстий, предназначалась для мытья водостоков и постоянно — иллюзия искусства — создавала впечатление только что прошедшей грозы под уже синим небом, где медленно и высоко, осенняя мансарда и самодельную мачту для радио, двигалось белое кучевое облако, как колоссальный белый воздушный шар.

Борис Поплавский

Донат, как и Сережа, оказался лучшим рассказчиком, чем писателем, и, несомненно, более изощренным выдумщиком. Его талант устного рассказа, превосходящий писательский талант, был отловлен Сережей с проворством ловчей птицы, сердечно преданной охоте соколиной. Мне, наверное, возразят. Мне, собственно говоря, всегда возражают. Почему, дескать, соколиной, когда возможна еще и ястребиная? А в этом случае ждать и вовсе не пришлось. Звонит мне подруга Вика из Нью-Йорка. Талантливая, прелестная Вика, подруга юных лет.

— Про соколиную охоту не знаю,— говорит,— но Донат в этом деле никаким боком непричастен. У Сережи, так сказать, иной талант и поклонники, соответственно... Он, можно сказать, прошествовал далеко и мимо Доната.

— Что ж, я готова задуматься,— отвечаю я Вике.

И тут мне на помощь спешит какая-никакая собственная память.

«Ты не можешь этого понять,— говорит довлатовский персонаж из „Компромисса“.— Для тебя, Пауль, свобода — как воздух! Ты этого не замечаешь. Ты им просто дышишь. Понять меня способна только рыба, выброшенная на берег».

Откуда, думаю, приплыла сюда эта «рыба, выброшенная на берег»? Да и аналогия, «свобода» — «воздух», тривиальная аналогия, тоже кажется знакомой... И тут я вспомнила первоисточник. Ведь когда-то «рыба, выброшенная на берег», ярко блестела чешуей именно Донатова вымысла.

— Донат, я пришел к тебе по делу,— говорит отцу Сережа, тогда студент университета, не помышляющий о нависающей угрозе быть вскорости списанным в пассив.

— Понимаешь, Серенький, вчера я был у зубного. Женщина-врач, интеллигентная, все по-европейски. Любезная. Захожу, сажусь. Боль, сам понимаешь, адовая...

— И дело, Донат, вот какого рода...

— Боль такая... Ну, как тебе сказать. Чувствуешь себя как рыба, выброшенная на берег. Дышать хочется, и мог бы: рот, как душа, нараспашку, но в нем уже две женские руки и дрель. При этом боль адовая, и не закричишь — женщина все же, интеллигентная, по-европейски, на редкость любезная, шутит. Правда, с зубами у нее тоже не ажур...

— Донат, я тут задолжался...

Донат задумывается.

— А ведь помучается, бедолага... когда меня вылечит.

— Донат, мне нужно немного денег.

— Понимаешь, Серенький, деньги важны, но только когда в них ощущается реальная потребность. Помню, однажды, да не так уж давно, оказался я в каком-то смысле в стесненных обстоятельствах. И представь себе, твой отец, уже в летах, будучи дважды женатым человеком и в известном кругу знаменитым прозаиком, бродил довольно долго, может быть, часа четыре, пока не нашел десять рублей, чтобы позавтракать в «Восточном» ресторане.

Догадывался ли Донат о том, какое наследство он готовил для своего талантливому сыну? Надо сказать, что, если бы передача ценностей от отца к сыну происходила церемониально, как то предписывает юридический акт о наследстве, отцовский капитал мог оказаться в большей цене. Конечно, явного небрежения актом никто тоже не выказывал. Сережа, например, приложил немало труда, чтобы избежать посягательств несостоятельных расточителей, как того ожидалось от легализованного наследника. Когда нужно, он даже был готов предъявить доказательство пригодности в виде своей мужской принадлежности редактору «Современника» Максимову, причем не считал за труд предъявить его «через океан». Короче, к акту о наследстве Сережа был спонтанно готов, как и ко всякому акту, и, как опытный винодел, знающий цену выхолощенному и очищенному вину, старался не пренебрегать опытом отцов.

Конечно, в винном деле, как и в деле литературного наследства, нет очевидных критериев. Хотя известно, что бордоские вина крепче бургонских, в глазах знатоков и спиритоценителей бордоские вина значительно уступают бургонским. Тут дело, вещают винопоклонники, не в крепости, а в букете, подразумеваемая под «букетом» и вкус, и запах, и цвет, секрет которых передается не иначе как в ходе двукратного

поцелуя французского винодела-отца, передающего свой опыт начинающему сыну. Получается, что в отсутствие универсального языка для передачи винных букетов человечество до сих пор не изобрело ничего более изощренного и букет, выращенный в отсутствие наследников, увядает на кладбищенском пустыре. Но в чем же может заключаться тайна букета, которому еще не грозит кладбищенское забвение? Как, какими тропинками бредет сама невоплощенность?

Донат обладал талантом извлекать смешное из самого дыхания жизни, из ее абсурда и тривиальности.

«Понимаешь, Серенький,— рассказывает он как-то Сереже.— Пригласили меня в Союз композиторов. „Вот,— говорят,— прослушай новую сюиту для фортепьяно Носова“. Усаживаюсь. Гляжу. Кругом одни композиторы. Лица сосредоточенные, серьезные. Не иначе как сейчас, с ударом этих клавиш, решится их судьба. А между тем я все пытаюсь для себя уяснить, что скрывается у людей за такой серьезностью? Я так понимаю. Писатель написал книгу. Ты открыл ее и моментально понял, есть талант у человека или нет. И всем другим это сразу видно тоже. Тут, как говорится, мудри не мудри, а талант не скроешь. И серьезность тут ни при чем. А теперь представь себе человека, написавшего сюиту. Как, объясни мне, нормальному человеку понять, что он именно сюиту написал, а не просто танец или песню? Что имел в виду человек, про которого известно, что он написал сюиту? А если то, что он имел в виду, как-то все же прояснится, как можно догадаться, есть ли у создателя сюиты талант или нет? Тут, ей-Богу, все так загадочно».

Казалось бы, что хотел Донат поведать сыну своей историей? Утвердить его в мысли о том, что музыка есть язык более элитарный, лишенный универсальности, а потому и более открытый для шарлатанства, чем язык литературы? Заявить об абсурдности конкурсов на лучшую композицию? Закрыть беляевское издательство, однажды уже закрытое? Разумеется, ни то, ни другое, ни третье. Донат, вероятно, хотел в первую очередь заявить о себе. О собственном комфорте и о страхе его утратить. О беспокойстве о том, что рамки условности находятся за пределами им осмысленного. Он подал голос человека, у которого есть независимое мнение, свой, так сказать, каприз, призванный быть в ответе за похищенный комфорт. Однако (и тут читатель наконец может позволить себе облегченно вздохнуть, со мной согласившись) Донат ничего подобного не сказал. Возможно, даже не подумал. Мысль эта принадлежит всего лишь мне, что со всей парадоксальностью доказывает отсутствие универсального языка не только в музыкальном, но даже в словесном ряду и позволяет нам не без основания предположить, что своим эксцентричным комментарием Донат сделал заявку на нечто большее, чем то, на что претендовал.

Что же удалось Донату передать сыну?

«Вообще, страсть к неодушевленным предметам раздражает меня... — пишет Сережа в „Заповеднике“. — Есть что-то ушербное в нумизматах, филателистах, заядлых путешественниках, в любителях кактусов и аквариумных рыб. Мне чуждо сонное долготерпение рыбака, безрезультатная, немотивированная храбрость альпиниста, горделивая уверенность владельца королевского пуделя... Короче, не люблю я восторженных созерцателей. И не очень доверяю их

восторгам. Я думаю, любовь к березам торжествует за счет любви к человеку. И развивается как суррогат патриотизма...»

Как и Донат, Сережа не испытывает страсти к тому, к чему у него нет интереса. В этом они похожи на остальную часть человечества. Однако Донат передаст свой идиосинкразический опыт через стилистику рассказа, то есть через неразрешенность, загадочность, дилемму, взятые из иного реквизита, нежели атрибуты, которые пускает в ход Сережа, тяжело толкающий повозку вдохновения в сторону афористичности. Вероятно, Сереже не чужда была мысль о том, что афоризм является скрытой формой нравоучения, а стало быть, и зерном нового учения. Разумеется, то, чем располагал Сережа, было всего лишь афоризмом по форме, то есть мнимым нравоучением, необходимым ему для прикрытия капризного произвола личного вкуса.

Как и всякий мнимый или кажущийся предмет, его афоризм неудержимо требовал для своего существования особого климата и ухода, которого Сережа не мог гарантировать, за что вполне мог поплатиться по принципу: «Любишь чужую бороду драть, люби и свою подставлять». И непременно поплатился бы, стоило только кое-что припомнить кое-кому. То есть припомнить кое-кому то, что в Сережиной памяти не задержалось, скажем, поставить Сережин афоризм, направленный против псевдогуманизма любителей природы, в один ряд с другими афоризмами.

«В Нью-Йорке — скука и низость, „Русское слово“ набито холоуями, С. К. (...) — капризный самодовольный дурак. Палей — шпана, Соломон Шапиро всегда стремится в дорогой

и неудобный ресторан, Гриша, при всей его доброте, все чего-то хитрит, Бродский недоступен, Леша Лосев не отвечает на письма, содержащие легко выполнимые просьбы, и так далее».

«...С Л. общаться все труднее, она стала злая, как пантера, завистливая, кокетливая, безрезультатно пристает к знаменитостям, Б. богат, жаден, религиозно нетерпим и смехотворен... О художниках я почти ничего не знаю, Г.— Хлестаков и шулер...»

«Я работаю в „Костре“, где официально являюсь единственным порядочным человеком».

Мне, конечно, попеняют на мелководность. Мол, дескать, тем мы и хороши, что сегодня черненькие, а завтра с утречка чистой водицей омылись, подрумянились, шелковый пеньюар цвета утренней зари на плечи накинули и пошли свет Божий дивить, правым рукавом Ильмень-озеро разливать. Короче, не один Сережа, прикрываясь мнимой афористичностью, облаченной в камзол здравого смысла, бросался из огня да в полымя, жонглируя полюсами нашей заскорузлой эстетики и морали.

«Писатель должен быть нищим, должен быть в таком положении, чтобы он знал, что помрет с голоду, если не будет писать, будет потакать своей лени. Писателей надо отдавать в арестантские роты и там принуждать их писать карцерами, поркой, побоями... Ах, как я благодарен судьбе, что был в молодости так беден!» — писал Чехов однажды в пятницу, уже не натошак, но еще спросонья.

Но уж на другой день макал перо в другую чернильницу и, разлив перед собой молочные реки, кисельные берега, выводил другим почерком:

«Писатель должен быть баснословно богат, так богат, чтобы он мог в любую минуту отправиться в путешествие вокруг света на собственной яхте... Толстой говорит, что человеку нужно всего три аршина земли. Вздор — три аршина земли нужно только мертвому, а живому нужен весь земной шар».

Так в чем же все-таки Довлатов провинился? Его в некотором смысле сам Чехов поддержал. В этом шарм человека и заключается. Сегодня он Ильей Муромцем перед вами скачет, а завтра на коньке-горбунке Иваном-дурачком корячится, ночи не проспав. А не ровен час, и Кощеем помрет, если кто иголку в том яйце, что в стоге сена, вовремя отыщет. Конечно, была некоторая тяжеловатость. И не в поступи вовсе. Ходил он как раз довольно легко. Но вот, скажем, Донат мог признаться Мейерхольду, что он музыке толком обучен не был, а Сережа вряд ли. Да и не Мейерхольду вовсе. Какой там Мейерхольд? Своему же другу-собутыльнику. Так нет же. У Сережи все признания шли как-то со скрипом, вернее, не со скрипом, а с возведением в некий возвышенный принцип, который по сей день ищет его свита, неосмотрительно разразившаяся на могиле поэта справедливым упреком.

«Довлатов мало что любил. Ни оперы, ни балеты — одни буфеты, — пояснил потомству Александр Генис. — Даже природа вызывала у него раздражение... Мне кажется, Сергей был просто лишен любопытства к не касающейся его части

мира... Обмениваться фактами ему казалось глупым. Несмешную информацию он считал лишней. Довлатов терпеть не мог античных аллюзий... Сергей вообще не стремился узнавать новое. Книги предпочитал не читать, а перечитывать, путешествий избегал, на конференции ездил нехотя, а в Лиссабоне и вовсе запил. В результате путевых впечатлений у него наберется строчки три, и те о закуске: Португалия... Какое-то невиданное рыбное блюдо с овощами. Помню, хотелось спросить, кто художник».

Конечно, грех винить Довлатова за тот посмертный образ, в который пожелал его облечь тот или иной любитель эпитафий, пусть даже чиновник его же свиты. Однако по странному совпадению ходульная фраза «терпеть не мог античных аллюзий», к Довлатову неприложимая, наводит на одну историческую параллель. Фраза «терпеть не мог античных аллюзий» закрепились в учебниках истории, откуда, вероятно, и была заимствована глашатаем Серезиного капризного вкуса, за Леонардо да Винчи, имеющего свои причины быть особо чувствительным к античным аллюзиям. Как незаконнорожденный сын, не получивший формального образования, которое в первую очередь заключалось в знании античных авторов, писавших по-латыни, Леонардо был принужден выучить латынь самостоятельно. Однако, уже овладев латынью, он стал называть себя не без мнимой афористичности «*omo senza lettere*», причем его ирония заключалась в том, что афоризм был заимствован из тех античных источников, незнанием которых он кичился.

Фрейд, разумеется, усмотрел здесь зависимости, связанные с преодолением комплекса неполноценности. С учетом опыта Фрейда Серезин демонстративный

отказ от приобщения к культуре, кстати сказать, унаследованный от Доната, не может удержать нас от мысли о тех ширмах, одной из которых, по наблюдению зоркого Наймана, была для Сережи литература.

Стили отца и сына перекликаются еще в одном аспекте, который, по всей вероятности, не лишен общероссийского колорита. Аспект этот, будучи вначале подмеченным Зоценко, а препарированным на материале Зоценко Александром Жолковским, может быть назван синдромом электромонтера. У Зоценко, как известно, был описан всего лишь частный случай, притом только с электромонтером, едва ли дотягивающим до носителя синдрома. Однако, когда то же произошло и с Донатом, получилось, что случай приобретает необходимый масштаб. Он стал, можно сказать, почти типичным. А для тех, кто еще проявляет ненужное упрямство, напомним, как дело было. Снимали на «карточку» весь театр, а монтера «пихнули куда-то сбоку». Так, грубо говоря, было у Зоценко, и так же, говоря деликатно, повторилось и в реальной жизни с Донатом. «На карточку» снимали всю семью Довлатовых-Мечик. Прошло время. Появилась публикация той карточки в русской газете. И что же? Из-за досадного отсутствия места поступились Донатовым изображением. Предполагаю, что кто-то воспользовался ножницами, известными человеку со времен пунических войн, и Донатова изображения как не бывало.

Конечно, абсолютных параллелей нет. Зоценковский персонаж, например, «ничего на это не сказал, но в душе затаил некоторую грубость», в то время как Донат незамедлительно выступил в печати с пояснением и восстановил свою причастность и к «карточке», и к событию, тем самым исчерпав, как говорится, прецедент полностью и попав в историю.

Однако, хотя история Доната могла быть забыта, как когда-то была забыта и личность Михаила Михайловича, синдрому электромонтера было уготовано второе дыхание. Наследник Доната Сережа тоже оказался однажды в аналогичной ситуации, так сказать, «отрезанного», пусть символически и без участия ножниц, но не без реального удара по самолюбию. Как и зощенковский персонаж, Сережа точно даже и не знал, кого винить. Было понятно, что обошли, но кто, когда и за какую провинность, оставалось неясным. Вот Сережа и выступил в печати с сообщением, что, дескать, отмежевали его от той труппы, где пели такие теноры, как Андрей Битов, Володя Марамзин, Боря Вахтин и Володя Губин.

«Я был когда-то пятым Горожанином, хотя многим об этом неизвестно», — сетовал Сережа, и люди сочувствовали, помечали в своих талмудах, мол, дескать, «пятый Горожанин».

Зачтем Довлатову в актив.

Конечно, саморекламой Донату служил сам рассказ, в котором выступал пусть неожиданный, пусть самовлюбленный, но один и тот же рассказчик, неизменно ведущий своего слушателя нитями и вязями словесной ткани в зыбкую пучину своего вымысла, на дне которой оседала его справедливая и оправданная надежда на эстетический восторг. В саморекламе Доната не было и быть не могло никакой подмены себя другим, никакой узурпации чужого жеста, чужого имени, чужого успеха и чужой шутки. Донат никому не завидовал, никому ничем не был обязан, был свободен от конкуренции и связанного с ней расчета и расклада. Короче, Донат щедро ссыпал жемчуга своего таланта в лукошко расторопного Сережи,

который все оборачивал в капитал. В доходном деле главное — это прибыль.

«Как-то раз отец сказал мне:

— Я старый человек. Прожил долгую творческую жизнь. У меня сохранились богатейшие архивы. Я хочу завещать их тебе. Там есть уникальные материалы. Переписка с Мейерхольдом, Толубеевым, Шостаковичем.

Я спросил:

— Ты переписывался с Шостаковичем?

— Естественно, — сказал мой отец. — А как же?! У нас была творческая переписка...

— При каких обстоятельствах? — спрашиваю.

— Я что-то ставил в эвакуации, а Шостакович писал музыку. Мы обсуждали в письмах разные нюансы. Показать?

Мой отец долго рылся в шкафу. Наконец он вытащил стандартного размера папку. Достал из нее узкий белый листок. Я благоговейно прочел: „Телеграмма. С вашими замечаниями категорически не согласен. Шостакович“».

А теперь представьте себе, Сережа, уже ухвативший за полы и обшлага шлафроков доступных ему знаменитостей: Зощенко, Панову, Шварца, Берггольц, — причем прибранный их из отцовского наследства и уже, можно сказать, закончивший необходимую тасовку, сортировку и переклеивание ярлыков, заметил в стиле отца элемент избыточной саморекламы. С точки зрения автора, болезненно ощущавшего всякую нехватку, не исключая нехватки тематических ресурсов, в этом мог заключаться подарок судьбы, ключ к разгадке писательской тайны. А что, если писатель — это просто рассказчик, как, скажем, Гомер,

пишущий, разумеется, о другом и без пафоса, вроде как бы Чехов, пишущий иронично и о более личном, вроде как бы даже Донат, пишущий самокритично, то есть со вкусом. Оказалось, что и для Доната наступил момент попрятать свою седеющую голову от меча наследника-сына. Да и не одна седеющая голова, попав под справедливый меч Сережиной сатиры, принуждена была либо укрыться одеялом, либо, наоборот, откинуть одеяло, схватившись за свои доспехи боевые, щит, панцирь, бурку и шолом, которые когда-то раздал им Пушкин. Ну, насчет голов нам еще рано сетовать. Не дошло до них дело.

Если жезл гомеровского оратора, так сказать, неистощимый источник авторской иронии, Сережа унаследовал от отца, то родовой титул жреца и доглядателя грамматического канона он получил от своей матери. Со страстью человека, перенесшего данные ей Богом актерский и музыкальный дары с театральных подмостков на суровые будни типографского корректора, Нора Довлатова несла свой крест, охраняя грамматику «живаго», как именовал наш язык архаист Даль, от посягательств его беспутных носителей. Конечно же, ей нравились описки, допущенные в советских газетах, типа, скажем, пропуска слогообразующего «р» в слове «Ленинг-р-ад», наказание за которые казалось ей неуместным. Однако безнаказанное произнесение слова «по средам» с ударением на корне, а не на окончании надолго выводило ее из равновесия.

Однажды, страдая мигренью, Нора повесила на дверь своей комнаты записку: «Прошу не беспокоить. Здесь отдыхает полутруп», в связи с чем проживающий визави полковник Тихомиров, впоследствии изображаемый Норой в лицах, вызвался охранять ее дверь, призвав всех соседей к соблюдению тишины.

«У Нору отдыхает политрук»,— цитировала соседка Нора, демонстрируя рвение полковника путем приложенного к губам указательного пальца.

Однако много лет спустя, когда я в первый раз переступила порог Серезинового эмигрантского жилища и обрадованная неожиданной встречей Нора Сергеевна принялась талантливо и смешно рассказывать о своем эмигрантском окружении, на меня вдруг повеяло сирокко давно забытой мною грамматической обреченности, за плечами которой оказалась просмотренной реальная жизнь с ее подлинными чувствами. Как и десятилетия назад, по поверхности этой сломанной жизни скользила гладкая зыбь Нориных счетов по части всеми забытого грамматического канона, который вытеснил собой страх и огорчения реального быта, то есть все то, что надрывно кричало и рвалось из ее невыплаканной театральности. Сломать этот канон могла лишь только чья-то прерванная жизнь.

Падают капли дождя

Бывают такие невыразимо грустные, теплые, дождливые дни, когда под белым низким небом дождь все шумит и шумит по темно-зеленой листве. И скоро уже и лету конец, хотя все еще чувствуется где-то скрытая, но не охладевшая сила солнца. Однако среди редкого погромыхиванья снова и снова падают капли, и в сыром воздухе ясно слышно, как поезд стучит однообразным стуком, то затихая за горю, то опять подавая голос...

Борис Поплавский

Душное лето шестьдесят первого года, которое вряд ли сильно отличалось от душного лета шестидесятого, мы провели в опустевшем Ленинграде, который в летние месяцы был населен лишь малочисленными туристами и дворцами итальянских зодчих времен барокко и рококо. Почти каждый день мы искали спасения от преследовавшего по ночам болотного удушья на даче или солнечных пляжах на берегу Финского залива, куда уносили нас привокзальные электрички. Сережа всегда считал своим главным достоинством умение талантливо развлекать. В диапазон его развлекательных возможностей входили приемы, заимствованные из цирка и сценической площадки.

Приняв на себя клоунское амплуа, Сережа мог вдруг подойти и поцеловать на улице незнакомого ему старика, после чего принять деловой вид и зашагать прочь, оставив обласканного незнакомца в недоумении. В общественном транспорте Сережа никогда не садился. Он любил нависнуть над вами,

привлекая внимание пассажиров им же изобретенной стандартной гримасой. Заговорив вызывающе громко, он любил придать своему лицу застывшее выражение брезгливости, которое достигалось сморщенным носом с раздутыми ноздрями и устрашающим выражением лица, после чего замолчать, удерживая заданную позу до тех пор, пока не удостоивался чьей-нибудь реакции. Не могу сказать, как долго Сереже удавалось смешить меня своим трюкачеством, но в это лето клоунская программа быстро исчерпала себя.

Однажды мы стояли в темном тамбуре пустого вагона, и Сережа, по обыкновению, кого-то без остановки представлял и кривлялся. А я смотрела на него и думала о том, как растягиваются его губы и что произойдет с ними, если вдруг поезд на полном ходу остановится. Незаметно для себя мысль о том, прикусит ли себе губу словоохотливый Сережа или все для него, как всегда, обойдется благополучно, сменилась другими мыслями, и я погрузилась в собственный мир, как вдруг услышала спускающийся откуда-то сверху строгий голос Сережи:

— Ты даже и не притворяешься, что меня слушаешь.

— Извини,— говорю,— я задумалась.

— О том, как от меня избавиться?

— Скорее о том, как к тебе приблизиться.

— Ты хочешь сказать, что между нами растет расстояние?

— Возможно, и это тоже.

Едва убедившись в своей страсти к Ольге Ильинской и ее ответной любви к нему, Илья Ильич Обломов, как сообщает нам блистательный автор одноименного романа, впадает в беспокойство, в «хаос противоречий». Например, им овладевает сомнение в ее способности сохранить ему верность: «Другой

только явится, и она с ужасом отрезвится от ошибки...» Борясь с сомнениями, он решает благородно предостеречь Ольгу от рокового выбора и пишет ей прощальное письмо.

«...Я говорю это, прощаясь, как прощаются с добрым другом, отпуская его в далекий путь. Недели через три, через месяц было бы поздно, трудно: любовь делает невероятные успехи: это душевный антонов огонь... Прощайте, ангел, улетайте скорее, как испуганная птичка улетает с ветки, где села по ошибке...»

Поручив слуге передать прощальное письмо Ольге и удостоверившись, что поручение выполнено, Илья Ильич выбирает наблюдательную позицию. Не пускать же дело на самотек... Узрев Ольгины слезы, он испытывает порыв великодушия, не замедливший смениться новым порывом — раскаяния, которому в романе предстоит проверка на документальность. Илья Ильич покидает засаду. «Пусть будет все повчерашнему... я не буду бояться ошибок», — восклицает он, уже стоя перед Ольгой.

Отвечая великодушием на великодушие, Ольга все же впадает в омут раздвоенных эмоций. Поразмыслив, она объявляет Илье Ильичу, что больше никогда с ним не увидится («Никогда! Никогда!»). Этой декларации разлуки предстоит по ходу действия романа еще одно испытание. Заметив, что «уничтоженный» Илья Ильич оказался уничтоженным абсолютно, Ольга делает шаг к раскаянию («Ей хотелось смягчить свою вспышку; она придумывала предлог заговорить»). О том, чем все это кончилось, знает каждый школьник, которому роман Гончарова был предписан в качестве принудительного чтения.

Хотя похвастаться знанием «грамматики любви» на опыте чтения классиков Сережа вряд ли тогда мог, в его юном и достаточно неискушенном сознании, возможно, уже зрел «хаос противоречий», а вместе с ним и уверенность в том, что его партнер может предпочесть другого в обозримом будущем. Что творилось в его сознании в более зрелые годы, не берусь с достоверностью утверждать, однако в период, о котором пойдет речь в следующей главе, Сережа торопил события и делал нетерпеливые выводы:

— Асетрина, то, что ты сейчас чувствуешь, может оказаться болезнью. Запомни, равнодушие — это болезнь. Если мы пустим дело на самотек, нас неминуемо ждет смерть, от которой есть одно лекарство. Будем называть друг друга на «вы» до конца лета. Это как вакцина. Если мы ее запустим, то к осени нас ждет выздоровление.

Для пронизательного Сережи мое будущее равнодушие было уже делом прошлого. Он стал в позицию защиты, а я, вероятно, нападения. Если задуматься, равнодушие и есть одна из форм агрессии. Однако по какому-то произволу и Сережина защита, и мое нападение приняли произвольные формы. Моя агрессия выражалась в повышенной дозе «доброты» и «заботливости», не входящих в набор мне известных у себя добродетелей. По тому же произволу Сережа стал отвечать мне рыцарской преданностью, тоже не включенной им в арсенал высокой нравственности. Сережина враждебность, а возможно, даже и мстительность, проявляясь спорадически, ускользала от меня многие годы, и лишь в процессе создания воспоминаний получила адекватное словесное выражение.

Будучи кавказским человеком, Сережа принял от своих соплеменников, то ли по генетическому коду,

то ли очно, эстафету мужской неуязвимости, несовместимую если не всецело, то по меньшей мере в одном его проявлении с его характером. Он, вероятно, представлял себе себя защищенным от поражений человеком. И в этом что-то было от правды. Как Ахиллес, вскормленный львиной плотью и омытый водами Стикса, он знал, как унижить обидчика, победить высокомерие, расправиться с оскорбителем, избежать панибратства, разжечь и остудить любовь, разразиться дружбой и ее же отменить.

Но одного Сережа был все же лишен, о чем он, возможно, даже не догадывался и что оказалось его ахиллесовой пятой. Он не знал, не умел, не мог противостоять равнодушию, вязкий плод которого ему пришлось вкусить, возможно единожды на своем веку, из моих рук. Никому ни до меня, ни после не случилось покинуть театральный зал, где Сережа играл свой талантливый спектакль жизни, многократно проверенный на многих аудиториях, прервав на полуслове его острый монолог, и никогда в этот зал больше не вернуться. Причем мой уход не был демонстративным, не сопровождался ни знаками недовольства, ни признаками раздражения, что было однозначным симптомом равнодушия.

Так писала я в преддверии знакомства с публикацией Сережиных армейских писем, в числе которых обнаружила неожиданное подтверждение моей догадке. 26 ноября 1962 года, то есть примерно спустя полгода после ухода в армию, Сережа послал отцу письмо, вложив в него стих под названием «Равнодушие» (цитирую по тексту пятого номера «Звезды» за 1998 год):

Да, можно скрыть и ненависть, и нежность
И зависть черную, и даже тяжкий гнев.

Когда случилось петь С. Д. и мне

Но равнодушие всегда заметно мне,
И скрыть его попытки безуспешны.

Когда ты исчезаешь зыбкой тенью,
Когда стихает легких платьев шум,
Я мести, словно милости, прошу
И ненависти жду, как снисхожденья.

Не исключено, что то, что показалось примечательным мне в этом документе, претендующем на эмоциональную ясность и разрешенность, вовсе не имелось в виду Сережей. Но разве совпадения не могут оказаться тем звеном, без которого нет ни золотой цепи событий, ни даже золотого крыльца? И тут меня интересует вовсе даже не парадоксальность того факта, что «равнодушие» оказалось причисленным к категории вещей более заметных, чем «месть» и «ненависть». Меня поразила смена глагольных форм, где модальное действие: «...можно скрыть и ненависть, и нежность, / И зависть черную, и даже тяжкий гнев» — переходит в действие, выраженное в категории сначала безличного, а затем и личного склонения: «Но равнодушие всегда заметно мне», «Я мести, словно милости, прошу / И ненависти жду, как снисхожденья». В силу этого грамматического сдвига авторское признание, сделанное от первого лица, прочитывается как расшифровка общего места, афоризма. Стихотворение из программного превращено в философское. Ведь для Сережи, подрядившегося облечь свой кавказский темперамент, не могущий обойтись без «ненависти и ревности», в покров равнодушия, не могло быть большей амбиции, нежели желание присвоить себе чужое равнодушие.

Но как перенять чье-то равнодушие, ставшее источником сердечной раны, то есть равнодушие, которое «заметно мне», в новом виде, лишенном его за-

метности? Тут важно оговорить, что, хотя чужое равнодушие, скорее всего, послужило для Сережи толчком к созданию его собственной модели, способной защищать нападая, я была далеко не первой и, конечно же, не последней мишенью. Разумеется, модель равнодушия работала только в сфере сочинительства. Сережа был кавказским человеком. Он обожал друзей и не мог в живом общении с ними не выразить при случае сильных эмоций, любви или ненависти, особенно под действием спиртного. Но едва дело доходило до сочинительства, он надевал свой раззолоченный камзол равнодушия, и все сердечные боли разом затихали.

Так в чем же заключалось то магическое действие камзола? Разумеется, в умерщвлении друзей, в превращении их в достойных смеха или презрения персонажей. Вероятно, в истории не много найдется прецедентов, когда живые люди становились бы литературными типами и их имена произносились бы так, как будто их носители никогда не существовали. Конечно, наградой, не миновавшей Сережу при жизни, была та молчаливая уверенность в том, что убийство, свершаемое под прикрытием сочинительства, остается ненаказуемым, в то время как умерщвленный тобой персонаж обретает вечную жизнь.

«Я спросила у актрисы после спектакля: „Вы были знакомы с Асей Пекуровской?“ „Нет“, — отвечала она своим длинным модулированным голосом. Но, портретируя, многое угадала. Повторяя как бы в забывчивости тот же самый вопрос Таси: „У тебя есть деньги?“ — Тенякова сыграла, в сущности, абсолютно легкое отношение к этому предмету. Свои — могла потерять, отдать первому встречному и с той же беспечностью взять у кого-нибудь и забыть.

Российские привычки в Америке явно сослужили ей плохую службу, хотя очарование не умалили...»

Конечно, не для того Сережа столь долго трудился над созданием персонажа «Таси» в «Филиале», чтобы потомки ограничились лишь невинным суждением о том, что, дескать, «российские привычки в Америке сослужили... плохую службу» ей. Сережа, без сомнения, ждал чего-нибудь поразухабистее. И мог бы дожждаться, не случись ему так неосмотрительно распорядиться собственной жизнью.

«В финале повести,— пишет разгадчик подлинных довлатовских намерений Виктор К.,— прощаясь с Тасей перед возвращением домой, к семье, герой задумывается: „Я был наивен, чист и полон всяческого идеализма. Она — жестока, эксцентрична и невнимательна...»

Откуда же у меня тогда это чувство вины перед ней? Что плохого я сделал этой женщине, лживой, безжалостной и неверной... Сколько это может продолжаться?! Сколько может продолжаться это безобразие?!

И тут я с ужасом подумал, что это навсегда. Раз уж это случилось, то все. Конца не будет. До самой, что называется, могилы...“»

...В «Филиале» довлатовский герой-двойник уходит от своего маргинального прошлого. Симпатичный оборот «Компромисса» и «Чемодана» превращается в доброго, умного, трезвого, ироничного и не менее обаятельного человека, любящего жену и детей, спокойно занимающегося своим писательским ремеслом... Тася — символ романтической маргинальности — в финале повести беспощадно карикатуризу-

ется. Последние ее слова, сказанные герою, — наглая, не предполагающая даже благодарности просьба денег. Именно ее выбирают на конгрессе карикатурным председателем «оппозиционной партии» в предполагаемом карикатурном «правительстве России». И, наконец, со страниц повести она уходит в компании опереточного «мрачного турка».

Апокалипсическое пустынничество

Боже, кто-то еще верит в такое счастье так поздно, так поздно поздней осенью солнечного наваждения... Разве все это не сгнуло куда-то, как дощатые балаганы в одну ночь снявшейся с места бродячей ярмарки... Какое еще там счастье, когда за жизнь, за морским пейзажем, полным стрекодух сосен, раскрылся, развернулся вдруг железный, скалистый хаос знакомого, апокалипсического пустынничества.

Борис Поплавский

«„Все счастливые семьи счастливы по-разному, все несчастные семьи похожи друг на друга“, — говорит великий русский писатель в начале своего знаменитого романа («Анна Аркадиевич Каренина»), преобразенного в английские литеры Р. Дж. Стоунлоуэром в 1880 году усилиями издательства «Маунт-Фавор, Лимитед». Так писал Набоков, читатель Толстого и автор «Ады», уединившись в одном из живописнейших уголков Швейцарии, потопив свое тело в теплой ароматической ванне и наивно, а возможно, и цинично полагая, что цитирует самого Толстого, в то время как граф Лев Николаевич, который, как известно, сочинял свою «Анну Аркадиевич», идучи за крестьянской сохой в лапотной России, писал как раз противоположное: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастная семья несчастлива по-своему».

Сережа, всегда усматривавший противоречие в словах «благополучие» и «писатель», непременно

бы пристыдил меня, если бы услышал, что я хочу начать следующую фразу словами: «Благополучный Толстой». «Это Толстой-то благополучен? Ты, собственно, какого Толстого имела в виду? Случайно не Вячеслава ли Михайловича Толстого?» Так вот, благополучный граф Толстой, всю жизнь жалующийся на свою греховность, усматривал противоречие в самом понятии «несчастливая семья», ибо в соответствии со своим вероисповеданием считал царство Божие на земле, где каждому щедро отмерена доля его счастья, делом состоявшимся. Отсюда и вывод: «Все счастливые семьи похожи друг на друга...»

Возможно, по праву дворянина, всю жизнь ощущавшего обделенность графским титулом, Набоков немало потрудился, чтобы поверить в безоблачность своего семейного счастья и убедить в этом своего читателя. В противовес толстовскому стандарту, построенному не на собственном, а на общечеловеческом опыте, Набоков, располагавший только автобиографическими ресурсами, не уставал повторять, что ни бегство из России, ни потеря имения и имущества, ни нищета, ни вторичное бегство, уже из нацистской Германии, и даже ни восхождение по шаткой лестнице американской свободы, напоенной ядом бесцензурной прессы и поп-музыки, ни на йоту не омрачили его скольжения по лазурному облаку судьбы.

Вместе с тем даже малейшего намека на несостоятельность мифа о набоковском благополучии и, более того, на возможное сходство самого Набокова с тем или иным из его трагических персонажей бывало достаточно, чтобы бесцеремонный критик, какие попадались на его веку в Америке, оказался пожизненно и без возможности пароля причисленным Набоковым к стану непримиримых врагов. Возможно, этим и объясняется тот факт, что неблагополучный Набоков проявил либо не свойственную ему

небрежность, либо вполне присущую ему циничность в чтении Толстого, перекроив универсальную толстовскую формулу на свой, набоковский фасон: «Все счастливые семьи счастливы по-разному, все несчастливые семьи похожи друг на друга», — тем самым воспользовавшись именем и авторитетом Толстого для того, чтобы определить свой жребий, строго под понятие счастливых не подпадающий.

Явившийся вслед за Набоковым Сергей Довлатов, принадлежавший к поколению, о котором Глеб Горбовский говорил с театральностью его типичного представителя:

Поколение юных трагиков,
Поколение без платформы,
Существующее на бумаге... —

переварил рецепты Набокова вперемежку с рецептами Толстого и, пропустив их через игольное ушко шелкопряда, воздал крестом по канве комического и эксцентрического.

«Я был женат дважды, и оба раза счастливо», — говорил юный трагик Довлатов юному трагику Горбовскому, в упоении человека, готового заплатить жизнью за удачный афоризм.

И вот афоризм подхвачен сменившим его счастливым поколением, но заплатить по счету все же пришлось. По гамбургскому или по гамбургерскому, но недешевой ценой.

Сережа сделал две попытки на мне жениться, и оба раза удачно, хотя только при второй попытке наши обновленные паспорта могли увенчаться двумя гербовыми печатями (мой, будучи, в отличие от Сережиного, никогда не обмененным, соответственно, остался не увенчанным). В марте 1962 года, равно как и в настоящий момент, семейная жизнь пред-

ставлялась мне (как, думаю, и Сереже, о котором, разумеется, не могу судить с полной ответственностью) затеей, лишенной какого бы то ни было смысла, в связи с чем склонить меня в том или в другом направлении было, как говаривал когда-то юный эстет Арьев, «дивным Божьим пустяком».

Первое предложение женитьбы поступило ко мне в категории условного наклонения и при участии Миши Абелева, Марины Мироновой, кажется, Лоры Степановой, Нины Перлиной, меня с Сережей и, разумеется, самого хозяина, Игоря Смирнова, который в своей функции поспешно поставил на стол непочатую бутылку водки и несколько бутылок вина, после чего доложил, что еды в доме не обнаружилось. Тут же раздались голоса в пользу того, чтобы оставить водку до отмены гастрономического кризиса, но я почему-то стала настаивать, чтобы водка была пущена в расход. Кто-то предложил мне, оказавшейся в расколе, выпить ее самой. Вызов был моментально принят, и откупоренная бутылка была протянута мне для питья из горлышка. И тут вступился Сережа: «Одну минуточку! А что будет, если она эту бутылку до дна не допьет?» Все задумались, и моментально находчивый Сережа пришел на помощь: «Она выйдет за меня замуж».

Выпить бутылку до дна мне удалось, что исключало идею «замуж» из повестки начатого дня, в который к тому моменту уже вошли более неотложные и отличные от предсвадебных хлопоты по добыванию молока и масла, необходимых, по убеждению бывалых людей, для приобщения меня к быстротекущей жизни, из которой мне посчастливилось не выпасть благодаря этим хлопотам. Однако память об экстравагантной затее была вкраплена в мой жизненный пульс, не принимавший алкоголя ни в каком его проявлении с лишним четверть века.

Вторая увенчавшаяся успехом матримониальная попытка была сделана года два спустя и в том же, хотя слегка урезанном, составе свидетелей, но уже при совершенно новых обстоятельствах, рассказ о которых невозможен без преамбулы.

Обыкновенно Сережа звонил мне утром, часов в десять, оповещая о своем намерении выйти из дому. По установившемуся ритуалу, это означало, что минут эдак через двадцать он окажется на углу Невского и Литейного, на остановке троллейбуса номер девять, куда мне следует тоже прибыть в любое удобное для меня время. Строгий и взыскательный в вопросах русской грамматики, Сережа разрешал вам относиться к вопросу времени метафизически в марксистском толковании слова «метафизика», при котором время понималось как единичная, ни с чем не соотносящаяся и не имеющая точек отсчета концепция типа «бабочки» или «цветка».

Мне случалось приходить на место встречи, в зависимости от количества прочих дел и степени их неотложности, то в час, а то и в четыре часа пополудни, находя Сережу неизменно в том же месте и в безмятежном ожидании. Секрет Сережиного долготерпения заключался в том, что угол Невского и Литейного, где проживал еще один трагик нашего времени, Лева Поляков, служил для обитателей Питера одновременно и Times Square, и Бродвеем, и Променадом Des Anglais, и Сандуновскими банями, не говоря уже о в последнее время плохо себя зарекомендовавшем Уолл-стрите. Здесь Сережа принимал знакомых, занимал в долг, расплачивался с долгами, перезанимал, готовился к экзаменам, сдавал их, высматривал красивых девушек, узнавал литературные новости, сочинял и публиковал стихи — в общем, проводил свой день в согласии со служебным расписанием всякого преуспевающего учреждения.

В один из таких перегруженных дневными работами дней на нашей троллейбусной остановке и в непосредственной близости от Сережи оказалось живое воплощение Алена Делона, к тому же не только русскоговорящее, но и превосходящее безупречный оригинал в красоте и в развороте плеч, о чем мне было сообщено по прибытии на остановку. В том же сообщении значилось, что воплощение Алена Делона ожидается вечером на том же jam session, куда согласно плану отправлялись и мы, предвещая мое с ним возможное знакомство.

— Асетрина, если ты в него не влюбишься, в тебе нет чувства прекрасного, а если влюбишься, то придется поступиться талантом в обмен на красоту, которая к тому же быстро приедается.

«Ален Делон» оказался молодым физиком, выпускником Политехнического института по имени Радик Тихомиров, застенчивость которого была на грани полной неспособности к самовыражению, что в моей палате мер и весов было равносильно уродству. Подтвердив в соответствии с Сережиной альтернативой, что во мне «нет чувства прекрасного», я не влюбилась в Радика, равно как и он не утратил своей скульптурной головы под действием моих чар. Однако эпизоду с Радиком, с которым Сережа обменялся телефонами, было суждено послужить началом роковых событий, к завершению которых был приурочен конец нашей прекрасной эпохи.

К тому времени за кулисами Сережиного театра уже разыгрывалась любовная драма à la Oblomoff, пополненная, вероятно, цитациями из «Грамматики любви» Бунина, особенно по части неизъяснимых штампов типа: «нападение и защищение», «размолвка и примирение». Обзаведясь необходимым хоро- водом жен из числа моих подруг и ознакомив их

со строгим франкмасонским канонем посвящений в великие Тайны, Египетские Секреты и Вавилонский ритуал, Сережа приобщил их к бальному шествию и, памятуя об опыте Ильи Ильича, наблюдал за шкалой барометра, отражавшего реакцию камерной аудитории в размере одного зрителя. Скользя по залу в ритме полонеза Огинского или, возможно, экосеза Нижинского, Сережа стремился к тем высотам и пределам, при которых стрелка барометра обычно зашкаливает, а аудитория проявляет знаки неудовольствия, желательно гнев, а еще лучше слезы.

С уязвленным самолюбием, с доселе неизвестным мне чувством, что земля уходит из-под ног, я делала попытки убежать, по возможности скрыться, но Сережа удерживал меня в пустующем зале своих неисполненных полонезов и, если обстоятельства к тому принуждали, запирали на ключ. По меркам местного масштаба такого рода усилия могли показаться чрезмерными, однако с учетом будущего выхода на международную арену они сослужили Сереже неоценимую службу. Когда опыт моих подруг оказался недотягивающим до высот, отмеренных полонезом, и когда перед глазами неутомимого хореографа открылся новый простор за пределами российской сцены, Сережа решил изобразить новое «па».

Однажды он явился домой в сопровождении миловидной блондинки, которая, вторя Сереже, пригласила меня к совместному ужину. Проявив галантность, которая могла быть и, возможно, была истолкована гостьей как врожденная, и спровоцировав гостеприимство с моей стороны, которое могло быть и, возможно, было истолковано той же гостьей как сестринское, Сережа добился гармонии и предался, как говаривал поэт, «неге творческой мечты». Не знаю, до какой страницы прочла наша гостья, оказавшаяся финкой из числа туристов, с которыми

Сережа проходил разговорную практику студента финно-угорского отделения, партитуру тайн и посвящений, но, как мне помнится, из нас троих именно ей не было отказано в непринужденности. Держась с достоинством хорошо воспитанной хозяйки, которой был от рождения передан секрет того, как внушить гостю мысли о его единственности, она внесла в наше жилище атмосферу недостающей ей благовоспитанности. За чаем они с Сережей о чем-то мирно беседовали по-фински. Наконец ее собеседник склонил в мою сторону свое распаленное в галантном участии лицо брата и поведал мне, надломив кусочек сладкого печенья, что они с Урсолой (кажется, ее звали именно так) отправляются в синематограф.

Как только за ними захлопнулась входная дверь и я собрала какие-то из своих вещей с желанием в очередной раз покинуть дом на Рубинштейна, меня позвали к телефону. Это был Радик Тихомиров, приглашавший нас с Сережей в гости к своему знакомому, тоже физику, Алику Римскому-Корсакову, которого он аттестовал как правнука композитора. Объяснив, что Сережи нет дома, и заручившись тем, что Радик отвезет меня назад по другому адресу (адресу моих родителей), я приняла его приглашение.

Если попытаться описать мое отношение к Сереже с первого дня нашего знакомства двумя словами, то словами этими должны были быть: немое восхищение. Со временем утратив восхищение и досконально изучив Сережин театральный репертуар, я все же была далека от того, чтобы сделать шаг в сторону. Даже замышляя побег, что случалось с учащающейся периодичностью, мысль о побеге диктовалась не желанием избавиться от Сережи, а скорее необходимостью что-то изменить в порядке вещей, защититься от его тайных пыток, которые, по слепоте,

не свойственной мне впоследствии, с Сережей, как таковым, не ассоциировались.

Однако в момент, когда, вслед за Радиком, я попала в квартиру на улице Маклина, где жил Алик Римский-Корсаков, и сам хозяин, Алик, оказался в поле моего зрения, произошло нечто, уже описанное Проппом в «Морфологии волшебной сказки». В углу комнаты стоял большеротый человек, темно-волосый, очень тонкий, высокий, с громадными руками, в одной из которых, согнутой в локте, дымилась сигарета, описывающая кругообразный рисунок, обрамлявший его подвижное лицо, в то время как вторая рука, тоже согнутая в локте, легко обхватывала первую в районе спины и плеча. Когда мы вошли в комнату, он что-то рассказывал, говоря оживленно, но без аффектации, произнося «р» несколько картаво, почти как воспитанный на французской культуре русский аристократ, каким он, вероятно, и являлся, но все же на свой лад. Держа голову на отлете, со слегка прищуренными глазами, он источал энергию человека, который только что открыл закон всемирного тяготения, но еще не успел его описать и соотнести с уже известными законами.

В одно мгновение Сережа оказался вытесненным из моей памяти, и эта вытесненность в отличие от волшебства, ожидающего своей очереди в наблюдениях Проппа, оказалась необратимой. Однако моя многолетняя история с Аликом, позднее воззвирившимся на мир из мягкого кресла обладателя партбилета, в дальнейшем замененного на мягкое вольтеровское кресло распределителя партбилетов и партийного секретаря, не увенчалась для меня ни отечеством, ни райскими кущами. Но и вольтеровское кресло оказалось не без истории. Шостакович пишет о том, что Дягилев, в попытке заполучить «Садко» для исполнения на французской сцене,

пытался склонить Николая Андреевича к тому, чтобы сократить оперу. Мол, дескать, у французов свои вкусы и привычки. Им, дескать, не высидеть в одном кресле, пусть даже вольтеровском, более трех часов. Не привыкли. «Ах не привыкли? — возразил Римский-Корсаков Дягилеву голосом ниспровергателя вольтеровских кресел. — Коли слабовольным французам невмоготу высидеть на моем „Садко“, — сказал он, — то нет нужды их туда и сажать».

Весть о том, что Серезино место в моем сердце оказалось так поспешно и так бесповоротно занято самозванцем, к тому же не претендующим на то, чтобы быть его двойником, была воспринята Серезей по формуле, впоследствии ставшей аксиоматичной во многих кругах американских психологов: отрицание—отторжение—смирение. На последнем этапе возник скептический интерес, а с ним и требование привести самозванца пред очи законного властелина. Театрально цитируя кого-то, как подсказывают мне, Есенина, по модели Грозный—Черкасов, Сереза величественно провозглашал: «Позовите его сюда, я хочу видеть э-т-т-о-го челове-к-к-а».

Встреча Серези с Аликом, которая состоялась почему-то в доме Доната, в силу какого-то закона абсурда, сопровождавшего многие наши встречи и впоследствии, при загадочном участии соседки Доната, молодой барышни наших лет по имени Аида, вероятно, и стимулировала продвижение американской психологии на декаду вперед. Доселе не виденный мною сконфуженным, Сереза был загнан в тупик собственной самоуверенностью, утратил атрибуты власти и в попытке камуфляжа то конфузливо двигал какой-то столик, сервированный пивом с бутербродами, то заслонялся бардом Вертинским, вещавшим нам потертым от времени и долгого употребления голосом с пластинки тридцатых годов:

Матросы мне пели про остров,
Где растет голубой тюльпан.
Он большим отличается ростом.
Он огромный и злой великан.

А я пил горькое пиво,
Улыбаясь глубиной души.
Как редко поют красиво
В нашей земной глуши... —

и готовил себя к принятию важного жизненного решения по следам философских выводов барда:

Как трудно на свете этом
Одной только песнею жить.
Я больше не буду поэтом.
Я в море хочу уплыть.

Все, что происходило с Сережей, будучи выраженным на ныне причисленном к мертвым языке «борьбы противоположностей», заключалось в ступенчатом перевоплощении из щедрого тирана восточного образца сначала в беспомощное и капризное дитя, затем в творящего правосудие мстителя размаха Тараса Бульбы («Я тебя породил...»), а на последней стадии в преуспевающего актера любовной драмы собственного сочинения. Сережины метаморфозы были своего рода отражением восходящего недуга, вызывавшего беспокойство его многочисленных друзей, подчинивших, как и я, свой дневной распорядок выполнению его прихотливых просьб.

Он звонил вам без предисловий, вовлекая вас в смоляной нектар своих снов и предчувствий, и, заручившись вашим согласием его навестить, неизбежно заканчивал разговор заранее заготовленной шуткой. Примерно в это время Сереже удалось вовлечь

друзей, Игоря Смирнова и Мишу Абелева, в эксперимент, уже описанный в русской литературе пером небезызвестного поэта, предварительно отрепетировав с ними вступительный монолог такого содержания: «Мысль о том, что ты готова одарить меня любовью, или о том, что, будучи человеком не гордым, я смогу жить подачками, оказалась ложной, в связи с чем я решил оставить тебя в покое навсегда, но при одном условии, о котором тебе расскажут мои друзья».

С Игорем Смирновым и Мишей Абелевым мы встречаемся где-то в парке, где Сережа, по модели Печорина, но играя роль статиста, слушает Мишу, терпеливо объясняющего мне, что по случаю Сережиного решения уйти из университета, записавшись в армию, чуть ли не в войска НКВД (чтобы там «быть убитым чеченской пулей»), мне совершенно необходимо выйти за него замуж. На мой вопрос, как одно следовало из другого, Миша настаивает, глядя в одну точку небесной сферы, что это совершенно необходимо и иначе просто быть не может.

На нашей свадьбе, сыгранной в ключе патриархально-поминальном и состоявшейся в марте 1962 года, присутствовало несколько кем-то оповещенных гостей, включая Нору Сергеевну, захваченную, кажется, врасплох и с большим опозданием Андреем и Варей Черкасовыми. Хотя брачной ночи по контракту не предусматривалось, в ритуал свадьбы был включен утренний променад по Невскому проспекту с необозначенной целью, которая, как известно, оправдывает средства. При встрече с первым же вступившим с ним в контакт знакомым Сережа театрально вскинул руки в направлении моей персоны и, улыбаясь своей чарующей улыбкой, произнес заготовленный для этого случая афоризм:

— Знакомьтесь, моя первая жена Ася,— тем самым оставляя за собой место на Олимпе новых пророков: — Я буду женат дважды, и оба раза счастливо.

Оказавшись в числе первопроходцев, составивших счастье начинающему писателю и будущему ценителю счастливых браков, я сделала деликатную попытку оставить еще не потерявшую видимой актуальности должность сестры милосердия. В ответ на мое заявление об уходе была введена тема самоубийства, и однажды, развивая эту тему, Сережа увлек меня в свою комнату, ловко подхватил стоявшую наготове и где-то добытую винтовку и сказал с загадочной улыбкой, при этом дважды поворачивая ключ в замочной скважине:

— Самоубийство мне доступно и без тебя, а вот убийство... тут ты незаменима.

С ключом в руке Сережа приблизился к окну и, открыв форточку, бросил ключ вниз с пятого этажа. В наступившей тишине вслед за звуком железа, бьющегося об асфальт, от Сережи поступили короткие распоряжения типа занять угол кушетки и устремить открытый, бесстрашный взгляд в дуло оружия, которое было соответственно поставлено на прицел. Хотя сильного страха я не ощущала, то ли веря в узы, связывающие Сережу с театром, то ли потому, что понятие смерти было слишком далеко от моего сознания, отваги во мне тоже не было, в связи с чем я попыталась забиться в угол и отвернуться от дула, что вынуждало Сережу несколько раз отвлечься от планомерного действия и, оставив винтовку в сторону, предпринимать необходимые для восстановления status quo меры. Наконец, то ли устав от моего упрямства, то ли решив положиться на судьбу, он приступил к исполнению, по всей вероятности взяв на прицел район моего уха, ибо именно к нему были обращены

последние иронические напутствия будущего ефрейтора. Все это длилось вечно, после чего прогремел выстрел, и в одно мгновение мы оба оказались с головы до ног покрытыми штукатуркой.

Первым, что я услышала, оправившись от шока, были шаги Норы Сергеевны, находившейся все это время на кухне. Из-за двери послышался ее голос: «Сереза, немедленно открой» — и ответный голос Серези: «Ключ выпал в окно». Спустя некоторое время, в течение которого ни я, ни Сереза не произнесли ни звука, опять раздались шаги за дверь, и мертвую тишину нарушил звук поворачиваемого в замке ключа. На пороге появилась Нора Сергеевна, которая, не утруждая себя разглядыванием представших перед ней привидений, быстро приблизилась к Серезе и, встав на цыпочки, наградила его пощечиной.

Факты жизни, включающие подробности, связанные с «пальбой из двустволки», не оказались выведенными за скобки будущих легенд о Довлатове.

«Поступок ценился тогда, — пишет мемуарист Игорь Смирнов вдогонку Серезе, — когда он поддавался новеллистическому пересказу, развлекающему слушателей. Когда невеста убежала сразу после многолюдной свадьбы к другому. Когда путь из университета вел в лагерную охрану... Инсценировали: Довлатов стрелял из двустволки в потолок, чтобы вернуть ушедшую женщину к мнимому трупу самоубийцы. Чем была бы литература, если бы ее не оправдывали страдания писателя? В разыгранном самоубийстве проглядывало то всамделишное жертвование собой, без которого художественное слово было бы простой ложью».

Так усердствовал в своем филологическом экстазе наш товарищ юности, упустив из виду одну деталь, спасшую Сережу от «всамделишного жертвования собой» и причастившую мемуариста Смирнова к той условности, которая помогла его «художественному слову» стать «простой ложью».

Деталь, упущенная Игорем, касалась как раз судьбы той «пальбы из двустволки», для описания которой мемуарист не поспешил своими забубенными образами. То-то и оно, что «по поступок» этот не только никогда не «поддавался новеллистическому пересказу», но, разделив участь аналогичных «по поступков», вошедших в историю нашей женитьбы, был погребен и брошен в закрома памяти, где безуспешно ждал своего часа. Не о них ли таинственно намекал Сережа Арьеву, говоря о полууголовных деяниях? О том, что тема нашей женитьбы не нашла отражения в Серезином творчестве, красноречиво говорит не только факт ее отсутствия в нем, но и неполнота знания, скажем, подмена убийства «самоубийством», которым располагает мемуарист Смирнов, вероятно убежденный в том, что жизнь есть лишь слабое отражение литературы.

Нельзя сказать, чтобы «пальба из двустволки» не вошла в число тех жизненных уроков, из которых был впоследствии сплетен «новеллистический опыт» Довлатова. Психология человека, на которого направлено оружие со снятым предохранителем, нашла адекватное, хотя и анонимное выражение в «Зоне».

«Год назад возле Синдора Фидель за какую-то провинность остановил этап. Сняв предохранитель, загнал колонну в ледяную речку. Зеки стояли молча, понимая, как опасен шестидесятиразрядный АКМ в руках неврастеника и труса. Фидель минут сорок держал их под автома-

том, распаяясь все больше и больше. Затем кто-то из дальних рядов неуверенно пустил его матерком. Колонна дрогнула. Передние запели. Над рекой пронеслось:

А дело было в старину,
Эх, под Ростовом-на-Дону,
Со шмарой, со шмарой...

Фидель стал пятиться...»

Если опыт персонажа «Зоны» Фиделя не возник как цитата из памяти о том выстреле в потолок, о котором игриво пишет Смирнов, то наверняка дело не обошлось без серьезной работы подсознания. Развлекательный смысл последующих легенд о Довлатове — «убегающая невеста», «разыгранное самоубийство» и так далее, — рассказанных с позиции жреца тотема, оказался более жизнестойким, чем его изначная жертвенность. Как известно, жрец и жертва — явления одного и того же порядка. Поэтому в те моменты, когда, отказавшись от заявки на будущее мифотворчество, Сережа вдруг хотел сделать правдивое признание («...Я пытался что-то объяснить... Писал о тяжелых комплексах. О разбитом сердце. О том, что я вовсе не победитель...»), его откровения, скорее всего, по его же расчетам, никем на веру приняты не были.

Однако изнанка вещей сохраняется до тех пор, пока жива сама вещь.

Театральное представление

Долго знать Аполлона Безобразова означало присутствовать на столь же долгом, разнообразном и неизменно прекрасном театральном представлении, сидеть перед сценою, на которой беспрерывно меняется цвет облаков, и реки каждую секунду текут вспять, и по-новому проходят, улыбаются, говорят красивые, странные и почти бессмысленные вещи, они встречаются, они расстаются и никогда не возвращаются обратно...

Борис Поплавский

Говорят, дальневосточные креветки достигают маскировочного эффекта за счет окраски тела продольными зелеными полосами. Люди же, подверженные преследованию, меняют номера телефонов, скрываются в убежищах, исчезают на время из виду. Отвергнув вариант окраски тела продольными зелеными полосами, я решила поступить как люди и похоронила себя в собственном доме. На какое-то время Сережа занял выжидательную позицию в нашей парадной и, хотя, как сообщали мне сердобольные соседи, простаивал там с вечера до утра, не мог похвастаться успехом. Помыкавшись неделю-другую, он направил свои усилия в другие эмпиреи.

Однажды мне позвонил какой-то незнакомый человек и, представившись гнусавым голосом, сказал скороговоркой:

— Ася, мы с вами почти что здакомы, и я к вам с миссией. Я Бода.

— От кого, простите?

— Сейчас все поймете. Дедо такое. Седегу в пути сильно побили, и он ждет побощи в кадаве.

— От меня?

— А от кого же еще? Не к додителям же идти и все дасказывать?

Вместе с придурочным Борей куда-то долго еду, потом куда-то иду и чуть ли не к вечеру оказываюсь в пригородной местности, где на обочине дороги действительно сидит патетический Сережа с иссиня-черными разводами под глазами и с головы до ног обмотанный бинтами. Снова обретя внештатную позицию сестры милосердия, я участливо расспрашиваю пострадавшего о том, как все произошло, и, поправляя повязку, по какому-то озарению понимаю, что имею дело с хорошо отрепетированным театральным номером. Послюнив палец и убедившись, что черные разводы были всего лишь гримом, я ухватилась за конец марлевой повязки, тоже оказавшейся бутафорской, начав разматывать ее не без участия самого Сережи, который при этом приговаривал, ничуть не смущаясь:

— Главное, что ты все-таки пришла выручить товарища.

Хотя мое понятие о том, что было главным, сильно расходилось с Сережиным, я не могла не согласиться, что его расчет на милосердие сработал безотказно.

Аналогичный случай произошел спустя какое-то время при участии Доната. Однажды раздался телефонный звонок.

— Ася, вас беспокоит Донат Мечик.

— Слушаю вас, Донат Исакович.

— У нас серьезные неприятности. Поднят на розыски весь город. Я лично звонил своему старому приятелю, генералу Соловьеву, с которым уже дважды встречался по Сережиному делу. Он, знаете ли,

живет в старой, барской квартире с окнами на Неву. И по заслугам. Он бывалый генерал старой закваски...

— Я не совсем понимаю, что же произошло с Сережей? — говорю я.

— Да, да, именно с Сережей, я поражен, что вы не знаете. Мне казалось, нет в городе человека, который этого не знает.

— Есть, — говорю. — Я ничего этого не знаю.

— А почему вы говорите «ничего этого», как если бы вы уже знали, чего именно не знаете? Разве у вас есть причины что-то от меня скрывать? — настаивает Донат.

— Нет, — говорю, — нет никаких причин, и к тому же я не знаю, о чем вы говорите.

Донат делает долгую паузу, как будто ждет, не поступит ли наконец мое признание, после чего говорит трагическим актерским голосом:

— Сережа бежал за границу, в Финляндию, оставив грустную записку: «Прошу не винить никого, включая мою жену». В данный момент, благодаря участию моего друга Соловьева, Сережа уже задержан на границе, но отпущен не будет, пока не узнают доподлинных причин побега. Генерал Соловьев хотел бы с вами встретиться и побеседовать на тему о Сережиных мотивах, после чего мне бы лично хотелось поговорить с вами наедине.

На все согласившись, я лечу к Соловьеву, потом двумя автобусами к Донату, после чего едва успеваю домой последним троллейбусом, где в подъезде поджидает меня Сережа с отрепетированной исповедью о том, как был свидетелем обоих допросов, стоя сначала за стеной кабинета Соловьева, а затем за дверью комнаты Доната, с тем чтобы лично оценить свои шансы на роман с продолжением. Вслед

за признанием последовал точно рассчитанный на прощение монолог:

— Когда тебе исполнится тридцать пять лет, что случается в жизни каждой женщины рано или поздно, и твои чары перестанут оказывать свое действие на мужское сердце,— сказал он,— тогда негордый Довлатов шагнет из-за портьеры (тут он хихикнул, оглядев заплеванное окно моей парадной), где простоял все эти годы, и великодушно тебя простит.

Авансом за сценическую преданность, принятую мною на веру на тринадцать лет раньше предсказанного мне срока, а также за актерский талант, лавры которого Сережа должен был по справедливости разделить с постановщиком спектакля Донатом, я простила их обоих. Однако Сережиной готовности на «прощение» и «великодушие», в которые он, надо полагать, свято верил в начале шестидесятых, были уготованы высочайшие, по шкале Рихтера, испытания. Если в армейский период он еще был способен на благодарность, о чем свидетельствует письменная расписка, данная им собственному отцу («всей своей дальнейшей жизнью он постарается отблагодарить тебя и твоих близких за все, что ты для него сделал, несмотря на частое невнимание, и обиды, и разочарования, которые ты видел от него»), то два десятилетия спустя, с позиции автора «Наших», Сережа, вероятно, забыл о щедром обещании, данном в минуту отчаяния:

«Отец мой всегда любил покрасоваться. Вот он стал актером...

Жизнь казалась ему грандиозным театрализованным представлением...

Центральным героем был он сам.

Я думаю, у моего отца были способности.

Когда случилось петь С. Д. и мне

Он пел куплеты, не имея музыкального слуха... Мог изобразить храбреца. Это и есть лицедейство».

Завеса того, что скрывалось за авторским портретом отца в тексте «Наших», слегка приподнимается в частной переписке.

«Кое-что в чувствах героини мне понятно, — пишет Сережа Игорю Ефимову, — поскольку я не люблю своего отца, то есть, в лучшем случае, равнодушен к нему. Мало этого, я всю жизнь истребляю в себе сходство с папашей и все не могу истребить. При этом Донат никогда и ничего для меня не сделал, у меня нет к нему чувства долга. И это облегчает мне душу...»

Современной критике пришлось съесть не один пуд соли и износить не одну пару воловьих или козьих подошв, прежде чем какой-то смельчак, кажется Иван Толстой, осмелился пролить на страницы печати первые чернила черновых мыслей Набокова. «Я утверждаю, находясь в здравом уме и памяти, что Николай Гаврилович Чернышевский, этот философски подслеповатый и художественно бесслухий пачкун, вызывающий на даровских страницах хохот и отвращение, вырос из размышлений Набокова о своем отце».

Не думаю, чтобы из Серезиных размышлений о Донате возник какой-либо художественный персонаж. Для этого необходима была дистанция между автором и живой личностью, которая, скорее всего, существовала между Владимиром Владимировичем и Владимиром Дмитриевичем, но отсутствовала между Донатом и Серезей. Кроме того, набоковские

«прозрения» возникли после и, возможно, в результате смерти отца, в то время как в Сережинном случае судьба распорядилась так, что отец шел за гробом собственного сына. Набоков, по неизменной прозорливости Бориса Парамонова, «даже самому себе не хотел признаться в том, что его отец был, в сущности, комическим персонажем». Что же касается Сережи, то, втайне признаваясь, что он всю жизнь истребляет в себе «сходство с папашей», он все же повторял Доната именно в том, в чем сам ему отказывал, — в актерском мастерстве. К тому же Донат, который, по признанию Сережи, «ничего для меня не сделал», не только послужил, так сказать, кузнецом и наковальней Сережиного капризного счастья, но еще и передал сыну скрижали Мельпомены, позволив ему опередить поколение своих сверстников по меньшей мере на десятилетие.

Мы приобщались к театру из темных глубин зрительных залов. Наш театральный опыт начинался с портика, с бинокля в гардеробе, с ученического ощущения праздника, облачения в мечту, с томительного предчувствия чьей-то жизненной драмы, с предвкушения тайны. Сережа познал театр без кулис и грима, без бутафорских и сценических атрибутов. Он мог, вслед за Донатом, разглядывать его в повседневном облики, за пределами рампы и, что впоследствии оказалось уникальным даже среди театрально талантливых людей, увидеть театр там, где его не видел никто.

«Как-то, кажется, в году 75-м, мы жили вместе в Пушкинском заповеднике, в селе Савкино, — пишет Евгений Рейн в статье „Мне не хватает Довлатова“, — Сергей работал в заповеднике экскурсоводом. Однажды утром он разбудил меня: „Сейчас я иду проводить экскурсию. Есть

идея. Хочешь поглядеть?“ Мы пошли вместе в Михайловское, его уже ждала группа экскурсантов, как оказалось, учителей из Московской области. Довлатов повел их к домику няни. Я пристроился в хвосте. Перед домиком Арины Родионовны он остановился, экскурсанты окружили его. „Пушкин очень любил свою няню,— начал Довлатов.— Она рассказывала ему сказки и пела песни, а он сочинял для нее стихи. Среди них есть всем известные, вы их, наверное, знаете наизусть“.— „Что вы имеете в виду“? — спросил кто-то робко. „Ну вот, например, это... «Ты жива еще, моя старушка?..»“ — И Сергей с выражением прочитал до конца стихотворение Есенина. Я с ужасом смотрел на него. Совсем незаметно, чуть опустив веко, он подмигнул мне. Экскурсанты безмолвствовали. Это и был довлатовский театр, одна из мизансцен замечательного иронического спектакля».

Скрестить «довлатовский театр» с «ироническим спектаклем», то есть создав такой экспонат и такую пульпу, в которой таится лакомый сок иронии, Женя сделал верный шаг к распознаванию гибрида писательской амбиции Довлатова. Еще Ломоносов отождествлял иронию с подменой одного лица на другое: «Ирония состоит иногда в одном слове,— писал он в „Кратком руководстве к красноречию“,— когда малого человека Атлантом или Гигантом, бессильного Сампсоном... называем». Одна из форм такой подмены, отречение автора от авторства, истинного автора на псевдоавтора, подтасовка подлинно биографических фактов на вымышленные, легли в основу жанра литературной мистификации.

Мистификатором Сережа стал задолго до того, как стал писателем. Возможно, его мистификаторский опыт был связан с мечтой стать вторым Чеховым. «Он любил шутки, нелепые прозвища, мистификации», — писал о Чехове Бунин. То же самое можно сказать и о Довлатове. Подмена Давида Голиафом, а себя другим, производимая им со времен ранней юности, возможно, и строилась поначалу по принципу «иронического спектакля», как, скажем, строились балаганные мистификации скоморохов времен Петра Великого. Конечно, в распоряжении скоморохов были широкие пространства, заполненные архитектурными новинками типа Адмиралтейской площади или, скажем, Царицына луга, в то время как перед Сережиной аудиторией простирались лишь убогие университетские коридоры, лишенные не только сценического, но и дневного света. Однако и там, и тут шла мистификаторская работа, строился эдифис обмана, иллюзиона, где на ваших глазах одно действие выдавалось за другое, на одного персонажа надевались голубые панталоны другого, где авторы выдавали себя за анонимов, а одна ширма подменялась другой.

Сережины мистификации, в отличие от балаганных и еще более от мистификаций романтизма, были так же далеки от проблем эстетики, как морковная ботва от пирога с капустой, что не мешало ему по мере надобности выдавать одну за другой. «Иронический спектакль» Довлатова строился по принципу доходного дела, в соответствии с которым «ирония» становилась серьезным занятием и, как все серьезные занятия, диктовала статус секретности, двусмысленности и готовности быть по мере надобности обращенной к самому себе. Разумеется, секрет возведения «иронического спектакля» в доходный бизнес автор хотел унести с собой, что в известном

смысле ему удалось. Однако, полагая, что даже в самом серьезном деле возможны просчеты, мне хотелось бы сосредоточиться именно на них, проведя воображаемым плугом несколько пенистых борозд в форме круга, квадрата и параллелепипеда, границами которого могла бы определиться вся секретность серьезности и двусмысленности, с которыми пришлось иметь дело мистификатору «иронического спектакля» и автору мистификаторского жанра Сереже Довлатову.

Себя, как мстителя

Разве, всматриваясь в себя, ты не видишь, что и ты начал с полного неуважения к чужому мнению, с инстинктивного игнорирования чужой свободы, с религиозной нетерпимости, с духовной жестокости? Ты сам в прошлых жизнях своих или в теле отцов своих высылал, расстреливал за убеждения, жег рукописные книги, из-за ослепительной духовной ненависти ты так же понимал себя, как мстителя, судью, судьбу...

Борис Поплавский

Со сложенными крыльями даже птица падает стремительно, не говоря уже о поверженном Голиафе, утратившем все до последней жизненные альтернативы. Сережа подал заявление об уходе из университета, которое пересеклось в пути с документом об исключении из университета «за академическую неуспеваемость и непосещаемость», в связи с чем был востребован войсками НКВД, заинтересовавшимися его завидной внешностью и здоровьем.

Почтовая связь представителя войск НКВД с внешним миром, которая начиная с июня 1962 года поддерживалась Сережей почти что ежедневно, вдруг открылась для него, а через него для нас, такими сторонами, о существовании которых вряд ли подозревал он сам. Надев армейские доспехи и оказавшись вне жреческого трона, где он привык разбрасывать дукаты своей избранности многочисленным жертвам, Сережа захлебнулся от жалости к себе. Его первым импульсом было проситься назад, перемежая сдержанность с напористостью.

«Может быть, можно что-нибудь сделать, чтобы меня переслали поближе к Ленинграду. Может, Соловьев мог бы помочь, хотя не думаю,— пишет он отцу.— А нельзя, так тоже ничего. Перетерпим как-нибудь. По правде говоря, надоело изрядно. Я, конечно, сваял дурака».

«В другом (письме к отцу.— *А. П.*) я спрашиваю, не может ли Соловьев что-нибудь помочь сделать, чтоб меня перевели поближе к центру. Если нет — то Бог с ним».

Как и в каждом талантливом деле, в деле вербовки близких людей на предмет оказания услуг самому себе у Сережи были именитые предшественники.

«Я буду вас беспокоить вот какую просьбою,— писал Гоголь Пушкину в мае 1834 года,— если зайдет обо мне речь с Уваровым (министром народного просвещения.— *А. П.*), скажите, что вы были у меня и застали меня еле жива; при этом случае выберите меня хорошенько за то, что живу здесь и не убираюсь сей же час вон из города; что доктора велели ехать сей же час и стараться захватить там это время. И сказавши, что я могу весьма легко через месяц протянуть совсем ножки, завести речь о другом, как-то: о погоде или о чем-нибудь подобном. Мне кажется, что это не совсем будет бесполезно».

Сереже повезло и в том, что, как Гоголь, выговаривающий для себя особые льготы ссылкой на несуществующую болезнь желудка, от которой ему предстояло вскорости умереть, он искал демобилизации, ссылаясь на болезнь артерий, разрывом которых объясняется его ранний уход из жизни. Однако не

всякий парадокс, подхваченный мифотворцами, может найти двойника в литературном иконостасе пророков, оказав благотворное влияние на биографический материал начинающего автора. В число непосредственно Сережиных заслуг, никем из корифеев литературы не разделенных, входит созданный им миф об «ужасах армейской жизни», через которые якобы он прошел в качестве легендарного автора «Зоны».

Автору «Зоны» удалось внушить своим сотрапезникам, с которыми ему в дальнейшем предстояло поедание счастливого пуда соли, без которого, говорят, нет настоящей дружбы, глубокомысленные выводы об армейской жизни, хотя армейская тематика в том виде, в котором она отражена в письмах Сережи к Донату, практически исчерпывалась двумя-тремя сюжетами, среди которых важнейшим является тривиальный сюжет любовной интриги. Однако в преддверии публикации армейской переписки Сережи с отцом, в которой скрывается не одна тайна, связанная с началом его литературного бенефиса, таллинский коллега Борис Ройтблат, настроивший своего «страдивариуса» на благочестивый лад, берется донести довлатовский миф без особых изменений.

«Армия не стала для Довлатова пустым звуком. Что видел он за три года лагерной службы — другим это в кошмарах не снилось. Он пришел туда питерским интеллигентом. Он был тогда мальчиком с талантом. И только. Ценитель Бёлля и Кафки, он прошел через ад лагерной службы. Это окончательно сделало его характер. Это сделало Довлатова таким, каким мы его знаем: добрым человеком». (Борис Ройтблат. Новое русское слово. 1998.)

Что же видел Сережа за три года лагерной службы, спросим мы вслед за коллегой Ройтблатом? Конечно, ему мерещилось возвращение из армии. Об этом читатель уже осведомлен. А дальше-то что? И тут уместно обратить внимание на одну маленькую деталь. В какой-то момент Сереже зачем-то понадобилось называть себя «Борисом» и делать отсылки к себе в третьем лице, что на фоне остальной части человечества, которая привыкла говорить и даже писать о себе в первом лице, должно было вызвать недоумение. В попытке прояснить для читателя смысл армейских писем Довлатова автор публикации, сводная сестра Сережи Ксана Мечик-Бланк, делает следующую пояснительную помету:

«Здесь, как и в некоторых последующих письмах,— пишет она,— обсуждается вопрос о возможностях перевода С. Д. в другую часть. В таких случаях Сергей называет себя Борисом (именем своего двоюродного брата). Кстати, то же имя он выбирает для себя в „Записках надзирателя“».

Но была ли так невинна эта сноска? Разумеется, ответа на этот вопрос не следует искать у Ксаны Бланк, чей комментарий исчерпывается только что приведенной цитатой. К тому же расчет автора публикации, скорее всего, строился на том, что читатель вообще не задает вопросов, на которые его не навоят авторы. С другой стороны, нацеленность Ксаны Бланк на отсутствие вопроса, как ни странно, могла предполагать наличие готового ответа типа того, что Сереже понадобилось присвоить имя брата Бори из конспирации. Ведь Сережа не сидел, как Герцен с Огаревым, в полном комфорте в двух шагах от Сената и собственного отца, не загорал на лазурных

курортах Швейцарии или французской Ривьеры, не слонялся по карнавальным шествиям на площадях Рио-де-Жанейро, как бы подсказывает читателю скупой комментарий Ксаны Бланк, а страдал от сурового, «кошмарного» армейского режима.

— Но был ли мотив конспирации уместным в Серезиных раскладках,— спрошу я.— При более пристальном прочтении текста, связанного с перестановкой имен, оказывается, что довлатовское «я» вовсе не было изъято из обращения. Оно присутствует в виде второго, так сказать, двойнического голоса.

— Так на том и строится конспирация,— толкает меня острым локтем расторопный читатель.— Все пущено на то, чтобы запутать.

— Все это так,— соглашаюсь я поспешно.— Но кого запутать? Армейское начальство? То-то и оно, что нет. Второй голос («он») понадобился Серезе как подставной персонаж, от лица которого «я» Серези могло принимать такие решения, которые в этике его контракта с отцом почитались как запретные.

«Теперь по поводу серьезных дел. Я очень подробно беседовал с Борей, и вот что мне стало ясно. С одной стороны, он очень хочет быть поближе к вам и боится вас обидеть другим выбором. С другой стороны, ему кажется, что редкие, непродолжительные встречи ужасны тем, что приходится расставаться... К тому же, как мне показалось, он хочет целиком выдержать срок изгнания, чтоб наверняка себя проверить... Он очень благодарен за хлопоты и просил тебе передать это... Ты на него не сердись за нерешительность, просто он гнусно боится, *как бы не прогадать* (курсив мой.— А. П.).

И еще ждет в этом вопросе твоего совета», — пишет Сережа отцу 10 января 1963 года.

«Я целую ночь размышлял на посту про Борины дела, и вот что я хочу тебе сообщить. Он окончательно решил, что ему хочется перебраться в Лялькин город, если возможность эта еще не пропала и если это не связано с изнурительными для тебя хлопотами, — продолжает он ту же мысль в письме от 23 февраля 1963 года. — Главное, что заставляет Бориса просить об этом, — полнейшее отсутствие в месте его теперешнего пребывания условий для работы».

Запретный пафос Сережиных писем заключался в том, что еще некоторое время назад в них выражалось стремление вернуться назад домой и, как этап к этому возвращению, — надежда переместиться «поближе к Ленинграду», «поближе к центру». Однако в какой-то момент стремление «вернуться» потеряло актуальность, в связи с чем возникла потребность в новых мотивах, а с ними и в новых художественных решениях. Короче, в письмах, сочиненных от лица Бориса, намечается радикальная перемена в Сережиных устремлениях, причем перемена в сторону решений, которых Донат, по правильному расчету сына, одобрить не мог.

Но в какую сторону, спросят меня, могли повернуть устремления юного надзирателя тюрьмы строгого режима, капризно отказавшегося от возвращения домой? Как объяснить тот факт, что желание сократить срок армейской службы, не успев созреть, переросло в противоположное желание — «целиком выдержать срок изгнания»? «*Cherchez la femme*», — говорят французы. И они подчас бывают правы. Летом

1962 года Федя Чирсков, Андрюша Арьев, Слава Веселов и я пристрастились к игре в бридж, которой нас обучил к тому времени хлебнувший славы и заграничного лака шахматист Борис Спасский, ставший на короткое время нашим партнером и собутыльником. Отозвавшись на стиль, подхваченный Спасским в начале 60-х годов из лондонских таверн, а лондонскими тавернами в конце прошлого века из голландских увеселительных заведений, мы решили ввести недостающую игре чопорность и назначили собираться в доме Феди Чирскова исключительно по средам и непременно к шести, побивая пунктуальностью забывших о ней английских лордов.

На одну из таких сред я принесла письмо от Сережи, на которое был создан коллективный ответ, как впоследствии оказалось, глубоко ранивший Сережу и подавший повод к его многодневному молчанию. К Донату по этому поводу поступило несколько коротких отчетов.

«Ввиду сквернейшего настроения я решил срезать число корреспондентов до минимума,— писал он 29 октября 1963 года.— Остаются: мама, Валерий, ты и Лялька. Асю, Аню и нескольких ребят известил о том, что переписка временно прекращается».

«Я очень благодарен тебе, что ты пишешь мне почти каждый день. Это меня очень поддерживает. Я сейчас переписываюсь только с тобой, с мамой, с Лялей и Ксюшей. Перестал писать Валерию и Славе Веселову».

«Можешь маму обрадовать: наша с Асей переписка замерла. Последнее письмо я написал недели три назад»,— продолжал Сережа

«информировать» отца, вероятно, в конце ноября 1963 года.

Воспроизвести текст того письма, который послали мы Сереже, за давностью времени не представляется возможным. Ясно только, что, отъединенные от лагерной зоны, безучастные к каким бы то ни было тревогам, по природе беспечные и попустительствуемые благосклонным дыханием карточно-салонного воздуха, мы перевозбудились, перестарались и обидели Сережу в бесшабашном порыве его поддержать.

Сережино молчание, обозначившее перерыв в нашей переписке, длилось с конца 1962 года до конца февраля 1963-го, то есть как раз тот период, в который Сережа лицемерно писал отцу о мнимой беседе «с Борей», из которой «мне стало ясно», что Боря «хочет целиком выдержать срок изгнания, чтоб наверняка себя проверить...». За время Сережиного молчания и связанной с ним перемены ветра под мостами у англичан утекло много воды, но и в лагере усиленного режима, где проводил свой досуг Сережа, не обошлось без напряженной работы воображения. Однако мы забегаем вперед, грозя нарушить законы детективной драмы, с которой наше повествование готово соприкоснуться.

В начале лета 1962 года, чуть ли не за неделю до ухода в армию и с установкой на подчинение армейскому канону, в который входило, среди прочего, расставание с шевелюрой, Сережа встретился с барышней, которая обладала незаменимой в его ситуации профессией цирюльника. Конечно, справедливость требует признать, что профессия цирюльника не послужила решающим фактором, толкнувшим обе стороны к заключению брачного контракта. К тому времени Сережа уже давно обрил голову, породнившись в этом порыве с самим Николаем Васильевичем

чем Гоголем, хотя, кажется, не уповал, как Гоголь, что от этого волосы станут гуще. Но как бы то ни было, целительная встреча с девушкой-цирюльником послужила недостающим звеном в уже существующей цепи: «Я был женат дважды, и оба раза счастливо».

К их знакомству, в ходе которого Сережа не преминул блеснуть своим сценическим талантом, я была странным образом причастна.

Мой сосед по дому по имени Марик Сейфер как-то упомянул нам с Сережей о своем романе с некой Леной, которая явилась, с его слов, моим «зеркальным отражением». Сережа сильно заинтересовался объектом и, выразив недоверие к опыту зеркальных отражений, по-видимому не удовлетворившись литературными грезами Льюиса Кэрролла, стал настаивать на личном освидетельствовании. Он в тот же день был представлен Лене готовым к дружеским услугам Мариком. Полагаю, что аудиенция закончилась счастливо для всех вовлеченных в нее сторон, ибо делу было дано такое стремительное развитие, что спустя неделю Лена, как это следовало из Сережиных отчетов, прихватив с собой свое зеркальное отражение, переехала в дом на Рубинштейна, а сам хозяин поспешил предстать перед начальством войск НКВД под видом рядового Довлатова.

С какой целью помещена была Лена в дом на Рубинштейна, где после Сережиного отъезда оставалась лишь Нора Сергеевна, полагаю, прояснится лишь тогда, когда семья Довлатовых-Мечик сочтет нужным пополнить рубрику «Армейская переписка с отцом» письмами, немотивированно изъятыми из печати домашней цензурой. Вероятно, почувствовав нужду в заполнении семантического пробела, автор публикации «Армейских писем к другу». Ксана Мечик-Бланк делает соответствующую сноску, в которой

знакомство Сережи с Леной приурочивается к той дате, когда Лена оказывается впервые упомянутой в переписке, то есть к маю 1963 года. В результате этой невинной правки реальное знакомство супругов оказывается отложенным на несколько месяцев, т. е. к маю 1963 года.

«Елена Довлатова, с которой С. Д. познакомился в тот период, ставшая впоследствии его женой», — сообщает Ксана в сноске, благоразумно определив дату через произвольное понятие «тот период».

Вопрос об «объективной достоверности», связанной с публикацией «Армейских писем к отцу», появившихся за последние два года в двух источниках, в пятом номере «Звезды» за 1998 год и в книге под названием «Сергей Довлатов: творчество, личность, судьба» за 1999-й, поднят здесь не случайно. Казалось бы, разве можно проявить тенденциозность, пристрастие или политическую предвзятость в простой передаче фактического материала? А между тем степенью тенденциозности, пристрастия и политической предвзятости публикация «Армейских писем к отцу» может потягаться лишь с Ее Величеством цензурной практикой советского режима.

Публикации предпослано Предисловие, так сказать, излюбленная форма, заимствованная у писателя Довлатова, в основании которой помещен достоверный диалог, не иначе как взятый из довлатовского «Филиала», о котором еще пойдет речь на страницах этой печальной повести.

«Вместе с диктофоном отец дал мне большой желтый пакет. В нем были письма. На кассете

осталась такая запись,— пишет автор публикации Ксана Бланк.

— Меня не будет, ты их опубликуешь. Здесь больше ста Сережиных писем. Отрывки из некоторых я комментировал в моих статьях о нем.

— Ты считаешь, что их корректно публиковать?

— Что значит — корректно? У писателей публикуются письма. Я не совсем понял твой вопрос...

— ...Просто переписка дело интимное, письма принадлежат двум людям, тому, кто их писал, и адресату. Это щепетильный вопрос.

— Видишь ли, я не считаю, что письма принадлежат двум людям... Я стопроцентно убежден в том, что Сережа был сторонником открытости писем. Другое дело, что он был взбудоражен, взволнован, обозлен, когда родственник его ленинградского друга стал публиковать куски писем из Америки, явно Сережу порочащие. Там было много гротеска. И Сережа считал это предательством. Но это частный случай».

Если пренебречь «частными случаями», которыми просто необходимо пренебречь, ибо кому в истории было вообще дело до частных случаев, то становится очевидно, что автор публикации есть всего лишь беспристрастный издатель исторического документа, к тому же обладающий наиделикатнейшим пониманием своей задачи. Разве от такого чувствительного автора можно ждать подвоха? «Вот вы и явились, чтобы раскопать подвох там, где его и в помине не бывает»,— слышу я женский голос, с жаром дышащий мне в затылок. «Видать, разобидела кого,— думаю я в ответ,— не иначе как мужское население, которое в припадке гнева заговорило фальцетом»,—

но все же с публикацией знакомлюсь. Открываю документ и сразу же другой. Сравниваю первоисточники, благо документов оказалось два, ни больше и ни меньше, причем изданные хоть и с перерывом в один год, но предпосланные, грубо говоря, одним и тем же трепетным Предисловием.

И что же бросается в глаза пристрастному читателю? Не скрою. Искала я в этих «наикорректнейших» публикациях того, чего ни один другой читатель искать не мог, ergo, не мог и найти. Для начала я занялась наипростейшим делом, которое моей предвзятой позицией скомпрометированным быть не могло. Произвела арифметическое действие сложения и пометила в своем дневнике, что обнародованных писем оказалось даже меньше половины. Ведь в Предисловии черным по белому было оговорено, что писем должно быть «больше ста». Пока суд да дело, подоспела новая публикация, 1999 года, более обширная. И что же? В ней, разумеется, появились письма, по той или иной причине не включенные в публикацию 1998 года. Чтобы не быть голословной, подсчитала и просуммировала. Их оказалось 19 (2, 4, 6, 8, 11, 18, 20, 23, 24, 28, 33, 35, 37, 46, 54, 56, 59, 62 и 63). Одновременно несколько писем, вошедших в публикацию 1998 года, оказались изъятыми из последующей. Ввиду отсутствия нумерации писем, укажу лишь номера страниц (120—122 и 125).

Так в чем же, задалась я естественным вопросом, заключался принцип отбора и сортировки, которым могла руководствоваться осторожный и «корректный», повторяю я следом за Ксаной Бланк ее англицизм, автор публикации довлатовских писем? Если идти по наилегчайшему пути, по которому хаживал в своих изысканиях Фрейд и по которому поплетусь и я, благо дорога проторена, то принцип представля-

ется таким. Письма, содержащие все неприятное, типа, например, упоминаний обо мне в контексте, опровергающем созданный в семье миф о моем коварстве, оказались подвергнутыми изъятию. В частности, в публикацию «Звезды» 1998 года не вошли письма 2, 4, 6, 8, 11, 20, 23, 28, 33, 35, 37 и 59, в которых имеются стихи, прямо или косвенно ко мне относящиеся, или строки, разрушающие семейные мифы, типа таких:

«Донат! Хочу тебя попросить позвонить Асе и, может быть, помочь ей разобраться с поступлением на работу. Если сможешь. Она мне регулярно пишет неожиданные от нее теплые письма».

«Относительно Асиного приезда. Я написал ей, что пусть она приложит все силы к тому, чтоб уладить дела в Л(енинграде). А потом, если ей это удастся, она сможет, подкопив денег, приехать ко мне на недельку осмотреться, и если трудности и мерзости ее не остановят, пусть останется».

«Дело в том, что Светлана узнала, конечно, что у меня есть жена, и, конечно, решила, что я держу ее (Светлану) для удобства поблизости, а после армии поеду домой (О „Светлане“ как особой теме армейской переписки с отцом, речь пойдет ниже.— А. П.)».

«Очевидно, в одном из писем тебе я случайно послал короткое письмо Асе. Ты ей его передай».

Письма за номерами 18, 24, 28, 33, 46, 54, 56, 62, 63 были изъяты, скорее всего, из-за включения в них запретной тематики типа посвящений «Светлане»,

имя которой семья предпочитала забыть, или фактов, требовавших неразглашения на время здравствования Норы Сергеевны. Ведь не могли же они откровенно напомнить Норе Довлатовой, что в свое время о дате ее рождения не подозревали ни Сережа, ни Донат.

«В одном из писем я просил тебя тайком узнать день рождения моей мамы. Сделай это, пожалуйста», — пишет Сережа отцу 7 февраля 1963 года.

С другой стороны, в обе публикации оказались включенными письма, в которых обсуждается тема нашего с Сережей развода.

«С разводом я по-прежнему согласен, я только не хочу, чтобы какие бы то ни было приготовления велись без Асиного ведома. Мне кажется, это некрасиво».

«Подозреваю, что мама специально не отдает Свидетельство о браке, чтоб Ася не захватила вероломно нашей фамилии. Хочу сказать, что я сделаю все для того, чтоб Ася не чувствовала никакой обиды на маму или на тебя и на меня тоже. Это не „реставрация отношений“, а попытка вести себя по-джентльменски».

«Я Асе написал письмо (короткое) о разводе, она не ответила. Больше писать не буду, но обязательно пошлю новогоднюю открытку. Мы все о разводе выясним сперва, а потом уже, переговорив с Асей, начнем действия».

«Горю желанием расторгнуть мой дегенеративный брак».

«С Асетриной мы собираемся дружно начать разводиться, но никак не начнем, у меня времени нет, а ей лень».

Однако даже из чтения тех писем, в которых автор публикации не углядел подвоха, можно заключить, что армейская жизнь рядового Довлатова была преисполнена делами, далекими от тех, которыми полна армейская жизнь рядового состава Советской Армии. Виной ли тому был суровый армейский устав войск НКВД или разбитое сердце рядового Довлатова, но в армии Сережа всецело полагается на театральный опыт отца, ожидая от него суфлерской подсказки.

Осенью 1962 года в Сережиных руках оказывается документ, созданный Донатом с профилактической целью охранить сына от грядущих травм. Не исключено, что документ этот был задуман отцом как средство против других травм, в которые Сережа благоразумно посвящал его лишь наполовину. Как бы то ни было, но поступивший от Доната документ содержал в себе «теорию любовной интриги», как никогда пригодившуюся Сереже для украшения суровых армейских будней, не говоря уже о литературном опыте недалекого будущего.

«Между прочим, ты не сердись,— писал он отцу, благодарно воздавая ему за заслуги Сирано де Бержерака,— это письмо пошло по рукам, и ребята выписывают оттуда куски в качестве афоризмов».

Параболическая траектория Донатовых «афоризмов» в Сережином псевдодокументальном опыте остается делом будущего, в то время как донжуанский опыт сына неотделим от де-бержераковского опыта отца.

В октябре 1962 года Донат получает сообщение о предпринятом первом шаге.

«Завтра утром я еду на Весляну лечить зуб, обрадуй мамашу. Светлана неожиданно оказалась чистокровной коми. Но это не страшно, а даже забавно».

Тут следует оговорить, что фрагмент с расистской ссылкой на «чистокровную коми» оказался изъятым из более поздней публикации писем. Вслед за отчетом об обмене фотографиями («Если она пришлет, то я смогу одну лишнюю послать тебе») в декабре 1962 года в адрес «Светланы» поступает почтовое отправление под рубрикой «бусы», причем отправителем оказывается вовсе не Сережа, а располагавший большим досугом Донат. Впоследствии в любовную историю оказываются вовлеченными оба родителя Сережи, наконец отыскавшие общий фундамент, который, вероятно, был утрачен за десятилетия пребывания в разводе.

«Донат, прошу тебя позвонить маме и сказать ей, что перерыв и сухость последних писем вызваны тем, что Светлана, занятая экзаменами, стала реже писать. Это не совсем правда, но мама, зная мой бабий характер, поверит».

Если операция «бусы» была предпринята Донатом для завоевания доверия у Светланы, то можно сказать, что она удалась на славу, ибо начиная с февраля 1963 года он вступает с ней в прямую переписку, намекая на возможный матримониальный исход. На некоторое время становятся неясными те функции, которые сохранились за Сережей. Однако в апреле того же года Сережина кандидатура снова всплывает

на глади текучих вод. И тут происходит сразу несколько событий, начало которых провоцируется тем, что «Светлана» выбывает из игры, спасая Сережу от последствий двоеженства. Отчет об этом имеется в письме Сережи к Донату, датированном весной 1963 года.

«Светлана прислала письмо, где всячески чернит меня за то, что я уехал и замолчал,— пишет он.— Я сперва и сам недоумевал, *чего же это я молчу* (курсив мой.— А. П.), но тем временем получил письмо от одного приятеля из Вожаеля, который, страдая от угрызений совести, сообщает, что подсыпался к ней тоже, был благосклонно принят, а также был целуем, обнимаем, хватаем за всякие места, но в последний миг остановлен просьбами и логическими доводами, как, впрочем, и я. После этого он на нее разобиделся и решил мне обо всем написать. Это письмо у меня, я его тебе покажу. Кроме того, родители Светланы, очевидно в сговоре с дочкой, предприняли наивную попытку провинциального шантажа. Они нагло сообщили моей маме, что Светлана в положении. Но мне доподлинно известно, что для рождения ребенка нужно, как минимум, совершить половой акт, иначе быть не может. Мы с мамой посмеялись и решили на них на всех наплевать. Сейчас я всем своим громадным сердцем устремлен в грядущие амурные баталии».

Одновременно с матримониальным провалом в Коми Сережа терпит фиаско и на другом объекте:

«Да, В. Г. (возможно, Валера Грубин? — А. П.), смущаясь и юля, сообщил мне, что вскоре

после моего отъезда в Коми спал с А. Р. (возможно, Аней Райлян? — А. П.). Так что, Донат, все кругом безнравственны и лживы, и мое откровенное легкомыслие мне с каждым годом все милей».

Объем той деятельности, в которую погрузился рядовой Довлатов при поддержке Доната, идет по нарастающей. А вместе с тем ко мне, которой Сережа ни намеком не обмолвился о своей матримониальной и прочей «деятельности», продолжают приходить письма, заслонка печи которых приоткрывает другой температурный режим:

«Я все еще тебе пр(Е)надлежу,
Я все еще (С) твоим молчаньем связан,
Я все еще немислимо и свято
Последнею надеждой дорожу.

Над всем, что в мире подлость и вранье,
Над суетой и сложностью мгновенной
Я шлю тебе безрадостно и верно
Последнее молчание мое».

(Из письма к автору, февраль 1963 г.)

Не исключено, что под действием «ужасов» армейской жизни, помноженных на тревоги донжуанского опыта, страсть к грамматическому канону отступила на задний план. Как бы то ни было, но в тексте приведенного здесь послания, в котором мною сохранена орфография, имеются пробелы, дискредитирующие титул жреца тотема. О наличии этих пробелов, по имеющимся данным, Сережа не подозревает до сего дня.

У египетских колоссов

Да, Аполлон Безобразов в совершенстве умел гулять, добродушно и равнодушно, не утомимо и не утомительно, бесцельно, но и с величайшей пользой, без тени зависти и ничего не осуждая, но и ничего не жалея, и это он научил меня этому исканию глубочайшего покоя и равновесия в походке, подобно шествованию иероглифических фигур, и хотя оно в совершенстве у меня никогда не получалось, все же иногда оно давало мне забвение зависти и жалости и то глубокое приятие всех вещей, которое может быть только у египетских колоссов.

Борис Поплавский

Тема нашего развода с Сережей всплыла уже по его возвращении из армии. Однажды он позвонил мне рано утром, что случилось с ним нечасто, и выпалил на одном дыхании, но довольно деловито:

— Лена на восьмом месяце беременности, и это касается тебя.

— В каком отношении? — спрашиваю я.

— В отношении меня.

— Тебе что-нибудь от меня нужно?

— Именно. Мне нужен твой развод.

— Мой развод?

— Мой, пожалуй, тоже, — сказал Сережа и принес мне какие-то бумаги, которые я не глядя подписала. Однако наш развод, по образцу нашей женьитьбы, состоялся только со второго захода. Помню, в ожидании очереди в зале суда Сережа сильно меня смешил, потом пытался утихомирить, закрывая мой рот своей рукой.

Представ наконец перед судьей, мы получили отказ, мотивированный тем, что наше решение не было «достаточно хорошо взвешенным». Нам был назначен новый срок, в который мы явились уже с серьезным намерением получить развод правдами и неправдами, — у Сережи тогда уже родился ребенок, Катя, которого необходимо было, так сказать, «легализовать». Играя роль безнадежно враждующих супругов, мы вошли в зал суда из противоположных дверей, уселись на расположенные в противоположных углах скамьи и, выйдя оттуда людьми, свободными от уз семьи и брака, пошли отмечать это событие в «Восточный» ресторан. Полагаю, что вслед за нашим разводом был зарегистрирован брак с Леной.

Таковы тривиальные факты начала второго счастливого брака Сережи, причем датировка армейской переписки с Донатом позволяет установить дополнительные подробности типа того, что кандидатура Лены, уже живущей в доме на Рубинштейна, то есть по адресу, где проживал Сережа до призыва в армию и по возвращении из нее, получила пристальное рассмотрение непосредственно после разрыва со Светланой, разумеется, если не считать объекта другой радужной надежды, по всей видимости не нашедшей должной реализации за пределами того, что описано в письме к отцу от 28 апреля 1963 года:

«На первом курсе инст(итута) Островского появилась девочка 18 лет неопишуемой красоты. Ее зовут Тамара Уржумова. Я очень заволновался и засуетился. Но ей, кажется, уже сообщили, что ею интересуется один подонок солдат, это может испортить дело».

Первое упоминание о Лене Довлатовой датировано, как уже было упомянуто раньше, маем 1963 года.

«Дорогой Донат,

...Не можешь ли ты прислать мне в письме рубль. Дело в том, что у Елены 17-го день рождения. Взять у Елены значило бы дискредитировать саму идею подарка, а мама сама Елене что-то дарит и тратится...»

Полагаю, что со своей позиции мемуариста и творца собственной биографии Сережа не раз впадал в задумчивость по поводу того, как и по какому рецепту запечь индейку своей матримониальной судьбы. Не исключено, что в числе возможных планов была мысль обнести подробности второй женитьбы, на манер первой, частоколом могильного забвения. Однако по законам здравого смысла, в котором Сережа знал толк, можно предать могильному забвению историю одного брака. В этом даже есть какой-то шарм. Но похоронить следы обоих matrimonia, что в Серезином случае составляло тотальное число всех отчисленных ему судьбой браков, грозило чреватостью. Так или иначе, но мысль о полной амнезии по части женитьб, если и возникала в Серезином сознании, а, зная Серезу, я убеждена, что несомненно возникала, долго там не задерживалась. Скорее всего, эта мысль была отвергнута, причем отвергнута в пользу другой мысли, возникшей, возможно, по аналогии с опытом, о котором человечество не может забыть вот уже около двух тысячелетий.

Сереза сочинил три достоверные версии своей женитьбы на Лене, по числу которых зарегистрировал три документа: «Наши», «Заповедник» и «Чемодан», выполненные в ключе проповедываемого им жанра псевдодокументализма и составившие серьезную конкуренцию другим достоверным документам, и прежде всего документам, известным под именем четырех Евангелий. И тут Серезе следует воздать

за особую сноровку. В евангельских притчах, как известно, имеются разночтения, не исключающие, однако, объединяющего тезиса, являющегося залогом «аутентичности» всех версий документа. Скажем, в истории о въезде Иисуса в Иерусалим совпадают детали типа того, что Иисус садится на осла; Иисус въезжает на осле в Иерусалим; и народ славословит Иисуса, хотя рассказана сама история в каждом Евангелии по-своему. В Евангелии по Матфею Иисус посылает двух учеников на поиски ослицы и молодого осла, якобы связанных в противоположащей деревне, в то время как в Евангелиях по Марку и Луке связанным оказывается не молодой осел с ослицей, а всего лишь осел, а в Евангелии по Иоанну Иисус сам находит осленка, исключая надобность в том, чтобы кого-то куда-то послать.

В процессе пересказа своей матримониальной судьбы, то есть в процессе перехода от одной версии женитьбы к другой, общим числом едва не дотягивающих до числа евангельских, у Сережи не осталось ни одной приправы, соуса или букета, которые бы сохранили один и тот же запах, цвет или вкус. Чтобы ускорить для читателя процесс подачи всех трех версий к жреческому столу Сережиного брачного пира, хочу воспользоваться сокращенным их переложением, трудолюбиво и беспристрастно составленным добротствующим критиком Игорем Сухих.

Версия 1

«В главе одиннадцатой („Наших“.— А. П.) парикмахерша Лена оказывается в комнате героя после дружеской пирушки („Меня забыл Гуревич“), постепенно приучает его к „нормализованному безумию“ странных отношений, завершающемуся не менее странным браком.

„Это была не любовь. И тем более — не минутная слабость. Это была попытка защититься от хаоса. Мы даже не перешли на «ты».

А через год родилась дочка Катя. Так и познакомились...“».

Версия 2

«В „Заповеднике“ работающая в канцелярии ЛИТМО Таня знакомится с Алихановым в мастерской художника где-то возле Пушкинского театра, потом они оказываются в ее квартире, а на женитьбу нерешительного Одиссея подвигает ее мнимый брат, тренер по самбо в Обществе глухонемых: „Ты почему не женишься, мерзавец?! Чего виляешь, мразь?!“»

Версия 3

«В „Чемодане“ Таня снова превращается в Лену, но теперь она, профессиональная парикмахерша, является в дом героя как агитатор во время выборов, знакомство продолжается сидением в Доме литераторов и гулянием по набережной Фонтанки, дочка появляется через четыре года, а женитьба и вовсе отсутствует как факт».

Первая версия точнее всего отражает реальный документ знакомства Сережи с Леной. Достоверно имя героини. Достоверен факт наличия преимущества («Меня забыл Гуревич»). Достоверна ссылка на рождение дочки Кати. Достоверен даже намек на рациональность выбора («Это была попытка защититься от хаоса»). Конечно, достоверность псевдодокумента не обходится без тени иллюзорности, достигаемой самими что ни на есть простейшими средствами типа

грамматических перестановок, на которые Сереже, кстати говоря, давно пора выдать патент. Скажем, подменив активное действие субъекта на пассивный, то есть активный акт защиты от одной женщины с использованием других на инертную «попытку защититься от хаоса», автор добился того, чтобы представить свою нежную мечту как необходимость, а необходимость в виде новой розовой мечты, а стало быть, и новой необходимости. Конечно, понять Сережу может каждый, кто сам сражался в реальной жизни с покинувшим тебя партнером. Но перенести поле битвы на страницы псевдодокумента и уничтожить всех, кто попался на пути, удалось лишь Сереже, хотя мечталось не ему одному, за что и воздалось именно Сереже, а не другому какому мечтателю и копьеметателю. Я уж не говорю о том, что мысль о «хаосе» не могла прийти на ум обычному квартиросъемщику или даже квартуполномоченному. Она непременно должна была осенить, причем осенить того, кому дано романтически и отважно ринуться в пространство, на которое простер свои всемогущие руки Бог.

Короче, аккуратно нанеся тончайшей кисточкой микроскопическую неточность, за которой мог последовать и ряд других, Сережа умудрился представить историю знакомства со второй женой в виде романтической истории, а при подгонке свадебных нарядов по фигуре сам перенял портновский опыт по части кое-что урезать, откромсав и выутюжив каленым железом. Что же, спросят меня, оказалось урезанным, откромсанным и выутюженным из романтической версии Сережиного знакомства с Леной?

а) Деталь добровольной сделки, активного товарообмена (брошенный одной, а возможно, и несколькими женщинами, Сережа приценивается к новой женщине, уже «принадлежавшей» мужчине,

который готов «уступить» ее Сереже. Сделка совершается).

б) Деталь символичности сделки (Сережа не готов на отношения с новой женщиной. Он вводит ее в свой дом в залог будущей готовности, а сам уходит в армию).

Во второй версии, скорее всего написанной в преддверии той эпохи, когда рекламная заявка писателя Довлатова будет переведена на несколько языков, знакомству с Леной дан другой поворот. Разумеется, версия «забыл Гуревич» сильно не дотягивала до нового литературного имиджа. Это ясно и поркупайну. К тому же и перспективы, открывшиеся по части создания псеводокумента, требовали творческой активности. Короче, во второй версии знакомство с Леной переносится с пьяной «пирушки» в обитель «художника», причем не просто в обитель, но в «мастерскую», так сказать, творческий уголок, и, наконец, в мастерскую знаменитости, ибо у кого, как не у знаменитости, могла быть мастерская «где-то возле Пушкинского театра»? Надо отметить, что десятки лет спустя именно эта деталь, вероятно отозвавшись особо в женском сердце, была использована Леной Довлатовой в создании четвертой версии ее знакомства с Сережей, о которой речь впереди.

Надо сказать, что в третьей версии, как и в двух предшествующих, содержался как минимум один достоверный факт: ссылка на подлинную дату рождения Кати — спустя четыре года после их знакомства. И все же ценность каждой новой версии заключалась у Сережи прежде всего в отрицании (умерщвлении) остальных, что позволяло ему добиться, по образцу евангельских притч, иллюзии парадокса и тайны. Окружив незамысловатые факты своего знакомства с Леной тем ореолом парадокса и тайны, Сережа все же не застал, как, увы, не застали и свидетели

евангельских притч, того, как люди додумывают за авторов. А люди действительно додумывают.

«Последнюю точку в интерпретации повести („Заповедник“.— А. П.), кажется, позволяют поставить пушкинские ассоциации и мотивы. Дочь героя зовут Маша, что напоминает о „Капитанской дочке“. Жена же получает имя героини: „Итак, она звалась Татьяна“. Что делает героиня пушкинского романа в стихах в финале? Остается с мужем, спасая его честь и свою репутацию: „Я вас люблю (к чему лукавить?)“...» — пишет Игорь Сухих в опусе под названием «Голос. О ремесле писателя Д.».

Однако если на базе евангельских притч, построенных на достоверности нескольких версий одного и того же события, Сережа взгромоздил свой иллюзион рутинного снятия кожи, отбивания, резания, тасовки, растягивания и формообразования многообразных материалов и форм, то сам ритуал снятия кожи, отбивания, резания, тасовки, растягивания и формообразования многообразных материалов и форм послужил для Сережи источником откровения.

И тут важно забежать вперед, упредив читателя в том, против чего ему еще не пришло время возражать. Если существуют скрижали или, скажем, скрижапели, по образцу которых выращивался довлатовский псевдодокумент, то их можно опознать по одной достойной восхищения находке, уже подхваченной представителями довлатовской свиты. Пути Сережиного откровения были всецело подчинены закону совпадений, в соответствии с которым ему ничего не стоило в одну нужную минуту оказаться Альтшулером Лазарем Самуиловичем, а в следую-

щую, не менее нужную минуту уже скульптурно приосаниться в обличии Андрея Платонова. Не успевали современники и глазом моргнуть, а Довлатов уже вона где — топтал ногами что-то красное. Не Евтушенко ли? И впрямь. Попирал башмаком 47 размера плоть кумира молодежи. Ну да об этом довлатовском лихоимстве еще не раз придется всплакнуть вместе с возмущенным читателем.

Однажды поняв, что своим искросыпительным успехом псевдодокументалист обязан лишь закону случайных совпадений, за Довлатовым засемили тысячи амбициозных ваятелей собственного псевдодокумента. Ведь в пору случайных совпадений возникают самые что ни на есть документальные ситуации типа летних ливней, тридцатилетних войн, рождения Титанов, гибели «Титаников». Да чего только не возникает под видом невзыскательного случая! Например, в тихую украинскую ночь один черный кот, разгуливая по саду с выгнутой спиной, назвал по имени уже немолодую Пульхерию Ивановну, которая преставилась, не дождавшись рассвета.

Дождавшись своего часа, с четвертой версией своего знакомства с Сереей выступила и Лена Довлатова, доведя общее число печатных версий до евангельского. Судя по названию, предложенному Леной журналу «Огонек», «Елена и Катя в окрестностях Сергея», дело не обошлось без участия Александра Гениса, надо полагать не посчитавшего за труд выполнить свой ученический долг перед учителем со всей присущей случаю анонимностью.

«Мы познакомились в троллейбусе,— начинает свою повесть Лена Довлатова, посягнув на то, чтобы объединить все Сереежины версии воедино.— Сергей заговорил со мной, мы проехали

две остановки, потом некоторое время шли по одной улице. Не доходя Малого драматического театра, распрощались — Сергей пошел домой, а я в гости к одному художнику. В гостях было шумно, у меня разболелась голова, я хотела уйти. Сказала, что иду за сигаретами, хозяин послал со мной художника Мишу Кулакова с наказом привести обратно. Киоск был закрыт, я пошла к другому, пытаюсь оторваться от Миши, но он во исполнение задания схватил меня за рукав. И надо же, чтобы в эту минуту мимо шел Довлатов. Он увидел мою борьбу с Мишей, который был в довольно сложном положении: его жена, чтобы удержать его дома, состригла со всей его одежды пуговицы. Он был завернут в рубашку, в пиджак, в пальто, как капуста,— поэтому одной рукой держал брюки, а другой меня. Вдруг сверху раздался голос: „Мне кажется, барышня не хочет с вами идти“. И ко мне: „Лена, вы знаете этого человека?“ Я сказала, что знаю, но все равно хочу домой. „Вам ничего не остается делать, как отпустить барышню“ ,— обратился он к Мише, которому пришлось ретироваться. Сергей проводил меня до остановки, и мы расстались...

В течение трех лет мы случайно встречались на улице,— закругляется Лена, подводя к теме женитьбы.— Правда, происходило это довольно часто — ведь тогда вся молодежно-вечерняя жизнь крутилась на Невском, все мы жили поблизости друг от друга. Однажды Сергей даже потащился со мной к моей приятельнице и очень уговаривал пойти потом с ним в гости, но я отказалась. Потом Сергея забрали

в армию, он приехал в отпуск и пошел со своим задушевным другом Валерием Грубиным в кафе „Север“. Там сидела и я с друзьями. Выхожу позвонить — и сталкиваюсь с Сергеем. Встреча оказалась роковой. С нее начались наши отношения. Правда, расписались мы, только когда он вернулся из армии».

Персонажами своих мечтаний

Аполлон Безобразов со всех сторон был окружен персонажами своих мечтаний, которых один за другим воплощал в самом себе, продолжая сам неизменно присутствовать как бы вне своей собственной души, вернее, не он присутствовал, а в нем присутствовал какой-то другой, и спящий, и грезящий, и шутя воплощавшийся в своих грезах...

Борис Поплавский

Мистификациями, как уже говорилось, Сережа увлекался задолго до того, как нашел им полезное применение в своих литературных публикациях. Ему нравилось рассказывать истории о себе в третьем лице, а истории о других в первом. Каждая история обрастала необходимыми подстановками, что и было, условно говоря, началом вымысла. Иногда рассказчик снимал с себя маску вымышленной персоны и подвергался «саморазоблачению», походившему на то, что Шкловский когда-то называл «обнажением приема». Когда вымысел отменялся, Сережа объявлял себя подлинным лицом реального события, и история из категории «вымысла» перекочевывала в категорию «документа».

Постепенно жонглирование персонажами из откровенно сказового приема становилось средством манипуляции аудиторией. В историю вкраплялся тот или иной оценочный критерий, который, проходя незамеченным для читателя, неизменно сулил выгоды для рассказчика, Сережи. Как-то всегда получалось, что «компрометирующие» истории, происшедшие с рассказчиком, приписывались другим пер-

сонажам, в то время как благородные поступки, способные польстить самолюбию, приписывались Сережей себе вне зависимости от того, кем совершались. Однако самолюбием мы тогда не страдали, определяя его, вслед за Достоевским, как свойство чином ободенного чиновника, в связи с чем тот неуловимый факт, что Сережа-рассказчик неизменно оказывался возвеличенным в сравнении с Сережей-человеком, ускользал от нашего внимания. Важен был сам рассказ, а не мораль, из него извлеченная.

«Обнажение приема» обыкновенно оттягивалось до момента, когда подлинный персонаж из истории объявлялся в контексте собственного рассказа о себе или в авторизованной версии знакомых. Но как бы то ни было, Сережа начинал свой литературный опыт с трансформации реального события в историю, рассказанную с точки зрения подставного лица с последующими «обнажением приема» и возвратом к первоначальной версии, которая подавалась в новом, скорее всего, более ярком изложении, хотя иногда и искаженном небескорыстной редакторской правкой и небеспредельной памятью.

С годами, когда не востребованное молодостью самолюбие начало вступать в свои законные права, Сережины мистификации приобрели чувствительность к запросам аудитории, и то, что в пору ранней юности выставлялось напоказ и являлось предметом гордости, в более зрелые годы служило основанием для конфуза. Скажем, оказавшись в «добропорядочном обществе», каким в глазах повзрослевшего Сережи стал дом Черкасовых, Сережа уже не решался бравировать своим «гаргантюанизмом», а спешил пригладить себя и даже умерить свой аппетит известными ему средствами.

Нора Сергеевна любила рассказывать гостям, как перед поездкой к Черкасовым Сережа торопливо

заглатывал куски заготовленного ему загодя порционного с таким расчетом, чтобы не тревожиться, если хозяйка дома замешкается с приглашением к столу. Однако, едва заняв предложенное ему место, Сережа все же начинал тревожиться, пытаясь ненавязчиво склонить хозяйку к той мысли, что, распорядившись убрать мясные котлеты во время раздачи чая, она рискует лишиться праздничный стол цветовой гармонии, исторически закрепленной за всяким праздничным столом. Если Сереже не удавалось умерить своего аппетита загодя, до поездки в гости, по возвращении домой «эпикурейское баловство», каким в его глазах была трапеза в гостях, восполнялось образцами домашней кухни. Короче, проблема гастрономического разгула входила в число неизменных Сережиных забот и в этом качестве была отражена в очерке «Наши», где сам Сережа, по образцу балаганных мистификаций времен Петра Великого, представляет себя под именем другого.

«Дед Исак очень много ел. Батоны разрезал не поперек, а вдоль. В гостях бабка Рая постоянно за него краснела. Прежде чем идти в гости, дед обедал. Это не помогало. Куски хлеба он складывал пополам. Водку пил из бокала для крем-сода. Во время десерта просил не убирать заливное. Вернувшись домой, с облегчением ужинал».

В той же серии «о деде», где сохраняется уже отмеченная выше подмена первого лица третьим, есть рассказ, которому в реальной жизни предшествовало два эпизода.

«Как-то раз в Щербаковом переулке ему (делу.— А. П.) нагрубил водитель грузовика...

Дед ухватился за борт. Остановил полуторку. Отстранил выскочившего из кабины шофера. Поднял грузовик за бампер. Развернул его поперек дороги...»

Однажды, явившись ко мне с опозданием, Сережа рассказал, как, совершая одинокую утреннюю прогулку вдоль железной дороги, он повстречал незнакомца, прогуливающегося с барышней по тому же маршруту. Поравнявшись с Сережей, незнакомец вдруг нанес обиду барышне, с которой прогуливался, и Сережа, привыкший держать близко к сердцу интересы лиц слабого пола, не преминул вступить за барышню. Он ухватил незнакомца за воротник воскресного пиджака, придав ему ускорение в направлении железнодорожного полотна, после чего возобновил одиноко начатую прогулку. Некоторое время спустя перед ним затормозил грузовик, из которого свешивался воскресный пиджак в компании двух невоскресных. Не долго думая, Сережа ухватил грузовик за бампер и развернул его поперек дороги в надежде, что этим инцидент будет исчерпан, что, в общем, и случилось.

Второй эпизод, хронологически следующий за первым, развивался уже вдали от железнодорожного полотна и при моем непосредственном участии, а также при участии реквизита в виде легкового автомобиля и лица неслабого пола. С поворотом ключа зажигания мой спутник, которым лицо неслабого пола оказалось, заметил в переднем стекле фигуру великана, в которой распознавался Сережа, делающий попытку повернуть (перевернуть?) наш автомобиль, что, к счастью, превосходило его физические возможности. Потрудившись минуту-другую и даже преуспев в том, чтобы оторвать, как нам

показалось, колеса от земли, Сережа оставил свою затею и исчез так же неожиданно, как и появился.

Много лет спустя Валера Попов, вероятно либо не прочитавший «Наших», либо не заметивший в них той аналогии, рассказал эту историю как одну из не-написанных.

«Это уже был — Довлатов, первый его рассказ, так и не написанный,— писал Валера в статье под названием „Победа неудачника Довлатова“.— И остальные рассказы тоже еще происходили и не были еще написаны. Увы, не у каждого в жизни происходят рассказы — не хватает смелости попасть в историю, не хватает духа прожить ее, не хватает честности так и написать, как было на самом деле. Довлатов, несчастный и никому не известный, в те далекие годы и учился этому — вернее, это все терпел».

«На одном ленинградском заводе произошел такой случай. Старый рабочий написал директору письмо. Взял лист наждачной бумаги и на оборотной стороне вывел: „Когда мне наконец предоставят отдельное жилье?“ Удивленный директор вызвал рабочего. „Что это за фокус с наждаком?“ Рабочий ответил: „Обыкновенный лист ты бы использовал в сортире. А так еще подумаешь малость...“»

Так писал Сережа в «Соло на ундервуде», и, казалось бы, история не могла быть не чем иным, кроме фантазии в духе Рейна. А вместе с тем история родилась как продукт слияния двух событий.

Из конституционного Королевства Бельгия в тогда уже распавшуюся семью Довлатовых-Мечик

пришло заказное письмо на имя Доната, которое заставило Нору Сергеевну задуматься над определяющим сознание бытием, ибо из того письма следовало, что у Доната объявился богатый и готовый на подвиг любви родственник, подписывающийся именем Леопольд, что походило на чудо, но могло быть и правдой, ибо младший брат Доната как раз и именовался Леопольдом со времен, предшествующих его побегу из России и роковому невозвращению в нее. Любящий брат не только давал знать о своих чрезмерных чувствах, но и намекал на реальное желание оказать содействие. Интересовался потребностями, — мол, дескать, что прислать?

Размышляя над нуждами семейства, когда-то оставленного Леопольдом в спешке и без учета инвентаря, Нора искала совета у Сережи:

— Я, конечно, могла бы написать ему, что в городе нет ни гвоздей, ни напильников, что за туалетной бумагой, когда в наличии, стоит нечеловеческая очередь, что сахар бесследно исчез, хотя им мостят дороги если не на Кубани, то уж наверняка на Кубе... Но разве то, что служит в нашем сортире туалетной бумагой, может быть представимо человеку с бельгийским воображением, особенно если речь идет о человеке с таким именем, как Леопольд? Чего доброго, заподозрит меня в предпочтительном выборе туалетной бумаги бельгийского образца, тем более что именно к такой бумаге я испытываю сердечное пристрастие.

— А что здесь особенно представлять? Ну, у него в сортире лежит бельгийская бумага, а у нас — газета «Известия». Кто знает, что бы было с нами, если бы у них в туалете лежала наша газета «Известия», — возразил кто-то из присутствующих, кажется Грубин.

— А вы помните, что писал Пушкин, когда у него не было даже газеты «Известия» под рукой? «Я же грешную дыру подтираю коленкором» — вот что он писал.

— Писать-то он писал, но не скреб то, что писал, на наждачной бумаге, как некоторые... А я, представьте себе, скребу в надежде, что никто их в сортир не спустит.— То был уже голос Сережи.

— В том-то и беда,— заметил, стораая от робости и покрываясь неизбывным кумачом, покойный Грубин.

В Норином ответе на письмо дяди Леопольда, по всей видимости, была разработана тема гвоздей, туалетной бумаги и сахара, в связи с чем из Бельгии пришла посылка в форме гигантской горы, состоящей исключительно из сыпучих сахарных залежей, которыми к тому моменту были наводнены гастрономические прилавки каждого населенного пункта нашей необъятной родины и которых семье Довлатовых хватило на много лет вперед, о чем читатель был своевременно оповещен Сережей со страниц одного из томов его печатных книжек.

Люда Штерн, пригласившая на обед Бродского и Наймана к определенному часу, задержалась у меня в гостях, забежав на минутку вместе с Бродским. Желая оповестить Наймана об опоздании, она звонит ему от меня:

— Толя, я запаздываю минут на десять, в связи с чем прошу тебя захватить по дороге баночку клюквенного варенья и каких-нибудь консервов типа сардин, если тебя не обременят эти расходы,— после чего Люда поспешно вешает трубку и пересказывает нам Толин ответ: «Расходы меня никоим образом не обременят, так как ни того ни другого я покупать не собираюсь».

Вероятно, услышав эту историю от самой Люды, с которой он тогда тесно дружил, Сережа рассказывает ее мне недели через три в первом лице и без упоминания имен Толи и Люды:

— Звонит мне одна приятельница с просьбой принести к ней на обед марокканских сардин и какого-то варенья, если меня не беспокоят эти расходы, на что я ей отвечаю, что расходы меня никоим образом не беспокоят, ибо никакие покупки, будь то сардины или варенье, в мой сегодняшний бюджет включены не будут.

Я хохочу, Сережа доволен эффектом. Затем история поступает в «Соло на ундервуде» в некой усредненной версии.

«Я сидел у наших машинисток. Рыжеволосая красавица Манюня Хлопина твердила:

— Да пригласи же ты меня в ресторан!

Я хочу в ресторан, а ты меня не приглашаешь!

Мне приходилось вяло оправдываться:

— Я ведь не живу с тобой»,—

пишет Сережа в рассказе «Приличный двубортный костюм», приглашая не одного читателя останавливаться в этом месте текста, в недоумении пожимая плечами: какая связь? При чем тут «ресторан»? А между тем этот невнятный текст пережил не только все редакторские правки, которых было, как говорят, великое множество, но и самого автора, отличавшегося взыскательностью к слову. Тема «ресторана» с отсылкой к «рыжеволосой красавице Манюне Хлопиной» является для Сережи ностальгической темой времен далекой юности. «Манюня» было прозвище, данное когда-то одному из моих ухажеров, взявшему на себя, по ритуалу сложившихся у Сережи

отношений с моими ухажерами, включая рыжеволосых, оплату ресторанных счетов, что повергало будущего гуманиста в глубокое и, как мне тогда казалось, недолговечное отчаяние. «Манюне» был адресован первый (на моей памяти) Сережин «экспромт»:

Безмолвно по бульвару
Одна гуляет пара.
И кавалера мучает вопрос:
Нет денежки хрустящей
Для девушки курящей
Купить хотя бы пачку папирос.

Она краса-девица,
Что можно удавиться,
А если уж влюбиться, так навек.
Он парень был не промах,
Спросите у знакомых,
А главное — хороший человек.

На это все Манюня
Глядел, роняя слюни,
Манюня был решительный еврей...
С сигарою в кармане,
С жасмином в талисмানে,
Смердел точь-в-точь как старый лук-порей.

Гуляя по бульвару,
Стихи читала пара,
Я строки эти в памяти храню...
Манюня ж был в старанье,
Чтоб с нею в ресторане
Щека к щеке зачитывать меню.

Она сказала: «Папа,
На вас пальто и шляпа.

На вас костюм и модные носки,
Но я люблю поэтов,
Желательно брюнстов.
И вы мне удивительно мерзки.

И снова по бульвару
Одна гуляет пара.
И кавалера мучает вопрос:
Нет денежки хрустящей
Для девушки курящей
Купить хотя бы пачку папирос.

Вкрапление «Манюни» в контекст его позднейшего ресторанного опыта позволило Сереже, вероятно самому того не подозревая, опровергнуть мой бездоказательный тезис о том, что продолжительность его травмы была мною сильно занижена в молодости. Однако в решении лишить реального Манюню атрибутов пола, то есть произвести акт кастрации, необходимый для того, чтобы самому выступить в роли платежеспособного ухажера, каким в реальной жизни был подлинный Манюня по отношению к неплатежеспособному рассказчику, заключалось как раз подтверждение фрейдовского тезиса о том, что травматическое прошлое остается с нами навсегда.

Опыту «травматического прошлого» Сережи Довлатова было суждено разразиться эпидемией по случаю его смерти. Игорь Смирнов, например, не преминул оснастить свои мемуарные амбиции жгутом и креплениями того, что можно было бы назвать импровизацией, если бы это не было так далеко от правды.

«Фима Койсман (Манюня.— *А. П.*), процветавший в то время адвокат... соблазнял наших девушек... Фиму мы с Сережей простили...

Позднее Довлатов сочинил песенку про Фиму: «А он-то был решительный еврей. / И с денежкой в кармане, / В шикарном ресторане / Был желанным гостем для б...» — мякнулся межуарист Смирнов, на ходу жеманно отстегнув от слова «блядь» четыре определяющие его литеры.

«В рифме меня не устраивал не столько прорезавшийся в Сереже эдипальный антисемитизм, — продолжает витийствовать Игорь, уже на филологический лад, — сколько ее бедный звуковой состав...»

Кто-то рассказывал в присутствии Сережи:

— Толю Наймана спросили, не знает ли он молодого человека, художника, по имени Юра Ярмолинский. Толя ответил: «Юра Ярмолинский? Имя Юра я, кажется, уже встречал, но вот фамилию Ярмолинский слышу в первый раз». Таков был первоисточник. В литературной обработке Довлатова рассказчик «Невидимой книги», желая сравнить сче-ты с Толей Найманом по части светских знакомств, похвалится своим коротким знакомством со знаменитостью:

«— Вы знаете Абрама Каценеленбогена? Абрам Каценеленбоген — талантливый лингвист. Популярный, яркий человек...»

— Абрам Каценеленбоген? — отвечает Толя. — Что-то знакомое. Имя Абрам мне где-то уже встречалось. Определенно встречалось. Фамилию Каценеленбоген слышу впервые».

В Толиной шутке комический эффект построен на подмене семантического понятия уникального и

единственного в человеке, каким является его имя/ фамилия, понятием общего и множественного, типа «Ономастокон» или словарь имен и фамилий. Однако в Серезиной версии, при сохранении той же подмены, вводятся два дополнительных элемента: переименование героя из реального и славянского («Юра Ярмолинский») в гротескное и семитское («Абрам Каценеленбоген») и трансформация статуса героя из статуса знакомого (вариант Ярмолинского) в статус знаменитости (вариант Каценеленбогена), в результате чего принцип уникальности человека возводится в принцип уникальности по определению (у знаменитости имя и фамилия неотделимы), что могло бы придать Серезиной шутке бóльшую изощренность и остроту. Но этого не случилось. В Серезином переложении Толина шутка оказалась утяжеленной, разделив судьбу Донатовых историй, заимствованных сыном для пополнения своего литературного багажа.

Глеб Горбовский однажды поднялся в мансарду, служившую мастерской какого-то художника, куда он был приглашен по случаю моего дня рождения в числе прочих семидесяти гостей. Праздничный стол, не ведавший недостатка в еде и спиртном, срок жизни которых уже был предрешен с приходом нового гостя, состоял из нескольких придвинутых друг к другу чертежных досок. Явившись позже других и не сразу найдя подобающего его умонастроению тона беседы, который впоследствии был им отыскан не без посторонней помощи, Глеб потребовал выдачи недостающего в его хозяйстве будильника, который мы с Серезей ему пообещали подарить в один безответственный момент и не удосужились доставить в другой, не менее безответственный.

Угомонившись и заняв место за одним из столов, Глеб начал по обыкновению напиваться, когда вдруг

его сосед, сильно опередивший Глеба по части нагруженности спиртным и уже в отличие от него закончивший трапезу, одним движением перевернул стол, смахнув на пол всю стеклянно-фарфоровую номенклатуру, придававшую форму и содержание и еде, и алкоголю. Поэт Горбовский, вероятно осознав, что его обделили, внезапно закричал так, что гости моментально умолкли. «Безобразие,— кричал он.— Перевернуть такой стол! Смахнуть драгоценнейшее содержимое! Тут должен был быть замешан поддон и варвар! Ведь это же должен был сделать я!»

Не исключено, что история с Глебом Горбовским была забыта Сережей, в то время как комический эффект остроумной реплики удержался в памяти, о чем свидетельствует аналогичная в структурном отношении реплика, приписанная Рихтеру и попавшая в «Соло на ундервуде» в другом контексте.

«Министр культуры Фурцева беседовала с Рихтером. Стала жаловаться ему на Ростроповича: „Почему у Ростроповича на даче живет этот кошмарный Солженицын?! Безобразие!“ — „Действительно,— поддакнул Рихтер.— Безобразие! У них же тесно. Пускай Солженицын живет у меня...“»

«Вольф с Длуголенским отправились ловить рыбу. Вольф поймал огромного судака. Вручил его хозяйке и говорит:

— Поджарьте этого судака, и будем вместе ужинать.

Так и сделали. Поужинали, выпили. Вольф и Длуголенский ушли в свой чулан. Хмурый Вольф сказал Длуголенскому:

— У тебя есть карандаш и бумага?

— Есть.

— Давай сюда.

Вольф порисовал минуты две и говорит:

— Вот суки! Они подали не всего судака! Смотри. Этот подъем был. И этот спуск был. А этого перевала не было. Явный пробел в траектории судака...»

Попав в «Соло на ундервуде» без переделки, Сережина шутка сказала примененной Сережей в собственных историях позднейшей чеканки. То, что Сережа перенял у своего тезки, можно назвать эффектом зачеркнутой метафоры. Сначала создается метафора в традиционном, аристотелевском смысле, то есть как сравнение одного предмета с другим по принципу аналогии. Далее аналогия, а с ней и метафора, отменяется с возвратом к первоначальному называнию предмета в его новом и неожиданном значении. В истории Вольфа «судак» сначала «подаётся» нам топографически, по аналогии с ландшафтом, после чего, будучи выраженным в терминах правового нарушения контракта («Суки, подали не всего судака»), переносится, отменяя метафору, в новый контекст со значением «изъяна» или «дефекта», после чего метафорический цикл восстанавливается путем возврата к топографии, но уже помеченной дефектом («Явный пробел в траектории судака...»).

«Он склонился над бумагой. Через минуту раздалось тихое бормотание:

— Так... Нажим в заглавных буквах... шатен... промежуток между „бэ“ и твердым знаком... Узкие глаза... Незамкнутый овал... Курит одну сигарету за другой... „Эр“, переходящее в „е“... Ботинки сорок третьего размера... Хорошо... Короткий росчерк над буквой „дэ“... Усы... Перекладина... Оборванная линия...

Шурка Богуславский... Затем отец поднялся и торжественно воскликнул:

— Это написал Шурик Богуславский», — пишет Довлатов в «Наших».

Не располагая данными о том, как эта история попала в том Серезино мифотворчества, но все же храня в памяти некоторые релевантные детали, постараюсь построить гипотезу, вероятность которой возьму на себя труд защитить. Начну с того, что Донат действительно увлекался физиогномикой, причем увлекался ею именно в молодости, что повышает вероятность того, что история была рассказана Серезей со слов молодого Доната. Однако против такой гипотезы говорит «торжественность» развязки, несовместимая с умонастроениями как самого Доната, так и Серези.

Дело в том, что пианист Шурик Богуславский, которому Донат, согласно Серезиной версии, приписывает авторство анонимного доноса, был реальным лицом, с которым был связан травматический опыт, затрагивающий и отца, и сына. Не знаю, как у Доната, но у Серези встреча с «Шуриком» в бытность нашего совместного проживания так и не состоялась. В соответствии с бытующей тогда традицией умолчания о людях, отбывающих срок заключения в советских лагерях, имя Шурика было окружено ореолом таинственности. О том, что была и другая причина к умолчанию, Сереза узнал совершенно случайно, из письма Неры Сергеевны, изъятого Серезей из семейного архива, согласно которому выходило, что Шура был Серезиным отцом.

Никогда не найдя подтверждения своему открытию, то есть никогда не узнав, во всяком случае на моей памяти, кому в действительности принадлежит право отцовства, Шурику или Донату, Сереза

принужден был распутывать таинственный клубок в одиночку и не без откровений и апокалиптических провидений интерпретировал отсеки приватной жизни своих родителей, почти как Gilles Deleuze вычислял знаковый мир Марселя Пруста. Полагаю, что опыт физиогномики, то есть попытка анализа параллелей между характером и внешним видом Шурика, приписанный Донату, был произведен на самом деле Сережей. Такая гипотеза базируется мною, помимо прочего, на памяти о том, как Сережа изучал Шурикову фотографию, то и дело извлекая ее из Нориного архива и подолгу рассматривая, пытаясь усмотреть черты сходства.

Не исключено, что сам факт введения имени Шурика в (кон)текст семейной хроники «Наши», опубликованной еще при жизни отца, был попыткой уязвленного сына вызвать отца на откровенный разговор. Во всяком случае, публикация «Донатовых» домыслов о характере Шурика Богуславского могла содержать намек на то, что сам Сережа, возможно, занят вычислениями, пытаясь установить свои подлинные корни. Возможно также, что вовлеченностью в генетические секреты, связанные с проблемой отцовства, Сережа был обязан юношеской сверхчувствительности, нашедшей преломление в зрелые годы, когда Сережа, сам являясь отцом нескольких семейств, взял на себя роль продолжателя семейной традиции, окутав ореолом таинственности подробности своих женитьб и своего отцовства.

Опережая будущие и несостоявшиеся сюжеты с генетической тайной, автор снабжает факсимильную репродукцию «Наших» необходимой перестановкой, при которой подробности собственной биографии приписываются рассказчиком третьему лицу, которым оказывается уже знакомый читателю «брат Боря».

«Мой старший брат родился при довольно загадочных обстоятельствах. До замужества у тетки был роман. Она полюбила заместителя Сергея Мироновича Кирова. Звали его — Александр Угаров. Старики ленинградцы помнят этого видного обкомовского деятеля.

У него была семья. А тетку он любил помимо брака.

И тетка оказалась в положении. Наконец пришло время рожать. Ее увезли в больницу.

Мать поехала в Смольный. Добилась приема. Напомнила заместителю Кирова о сестре и ее проблемах.

Угаров хмуро сделал несколько распоряжений. Обкомовская челядь строем понесла в родильный дом цветы и фрукты...

Тетка родила здорового и симпатичного мальчика Боря...

Когда тетка заболела и умерла, в ее бумагах нашли портрет сероглазого обаятельного мужчины. Это был заместитель Кирова — Александр Иванович Угаров. Он напоминал моего брата, хотя и выглядел значительно моложе. Боря и раньше знал, кто его отец. Теперь на эту тему заговорили открыто».

Допускаю, что семейная тайна, которую Сережа поведал мне на заре нашего знакомства, была тайной именно Бориной биографии, приписанной Сережей себе по тому же принципу, по которому он делал авторские заявки на чужие истории в пределах нового жанра псевдодокументализма, о котором еще пойдет речь. Однако такому допущению противоречат три обстоятельства.

Во-первых, Сережа до конца был верен версии Шуриного отцовства, чего нельзя сказать о прочих

историях, построенных на замене первого лица третьим. Во-вторых, ни в одном из упоминаний об Ашке, Борином отце, не было и намека на то, что Ашка не являлся тем, за кого его принимали, а именно отцом Бори. В-третьих (и этот довод не более чем спекулятивный), имя «анонимного» Шурика всплывает в контексте некоего анонимного доноса, в котором имя Шурика распознается стараниями «подлинного» отца Сережи как автора доноса. Зачем, спрашивается, понадобилось Донату «умерщвлять» репутацию Шурика Богуславского, пусть в пределах художественного вымысла? Не для того ли, чтобы избавиться от конкуренции в вопросе о невыясненном подлинном отцовстве?

Однако, если припомнить, что идея «умерщвления» принадлежит вовсе не Донату, а автору псевдо-документа Сереже Довлатову, то ответ должен отыскаться сам собой. Автор позволяет Донату «умертвить» Шурика Богуславского, усмотрев в акте «умерщвления» факт узаконивания своего собственного рождения, совпавшего с фактом рождения писателя Довлатова.

Те поздние слезы

Плачь, мальчик, плачь, слезы — это жалость к себе, и если ты себя не пожалеешь, кто еще пожалеет тебя, сладкие слезы, слезы совести и отворачивания, слезы первого столкновения с равнодушным миром, подобно первому страху юнкера под артиллерийским огнем. Плачь... Все прошли через это, все остались на этом, все только вспоминают об этом, как земля о весенних дождях, и это еще не те поздние слезы, скупые, горькие, соленые, как арабийская пустыня, те страшные слезы.

Борис Поплавский

В русском языке существует банальность, претендующая на остроумие, которая звучит примерно так: «Не вру, так как вранье есть роскошь, сопряженная с такой нагрузкой на память, которая мне не по плечу». Полагаю, что эта банальность подлинно русских корней не имеет, ибо вранье в русском языке, не ассоциируясь с понятием намеренного обмана, принадлежит к явлениям эстетическим, нежели этическим, и, несомненно, спонтанным. «Врать», если верить Далю, — а кому же еще верить? — значит «говорить вздор», «пустословить», «пустобаять», «молоть языком», «суесловить» и т. д. Отсюда и идиомы: «Врать — не мякину жевать. Не подавишься», «Было бы кому врать, а кому слушать найдется», «Не хочешь слушать, как люди врут, — ври сам».

Категория «вранья» сильно утяжеляется с продвижением на Запад, а дойдя до Америки, оказывается приравненной к категории «подлога», уголовно

наказуемого преступления, в сети которого может быть отловлен даже американский президент. Американские психологи заняты проблемами того, как распознать ложь. Создаются теории. Враль, считают одни, имеет тенденцию говорить медленным и монотонным голосом, смотреть на вас расширив зрачки. Враль, утверждают другие, говорит скороговоркой и избегает встречных взглядов. Но все соглашаются в одном: вранье лишено спонтанности, тем самым вступая в противоречие с тем, во что верит россиянин.

Судя с нашей колокольни, можно сказать, что Сережа вралем не был, то есть не был выдумщиком, фантазером, пустословом, не говорил вздор, не пустобаял, не молол языком, не суесловил, и если перегружал память, то перегружал ее только по мере надобности. И в этой надобности заключался секрет того, что к концу жизни вранья у Сережи накопилось столько, что он оказался в сетях собственных наговоров, в связи с чем молил издателей и наследников своего завещания воздержаться от публикаций текстов, лишенных предварительной авторской правки как при жизни, так и после нее. Традиция логоцентрического мышления сохраняет веру в слово, сказанное вначале, даже если это слово, впоследствии подвергнувшись многократным переписываниям, доходит до нас искаженным, деформированным, неузнаваемым. В какой-то мере вера в первую версию автора имеет тот же магический эффект на последующие версии вне зависимости от степени их правдоподобия.

«Короче, осенью 64-го года я появился в Ленинграде. В тощем рюкзаке лежала „Зона“. Перспективы были самые неясные», — пишет Довлатов в «Невидимой книге».

«Потом он исчез с улицы, потому что загремел в армию. Вернулся он оттуда, как Толстой из Крыма, со свитком рассказов и некоторой ошеломленностью во взгляде...» — пишет уже Бродский, поверивший Довлатову на слово, ибо в 1990 году, когда Бродский писал эти строки, он вряд ли располагал точными сведениями о том, когда Довлатов принес ему свои рассказы, на третий день после армии или на третий год.

В более достоверном автобиографическом документе, в «Наших», ненавязчиво опровергается версия «Невидимой книги», а стало быть, и версия Бродского. Здесь Довлатов приурочивает начало своей литературной деятельности к возвращению из армии:

«Вернулись мы почти одновременно. Брата освободили, а я демобилизовался... Моего брата приняли на „Ленфильм“... А я поступил в многотиражку. И к тому же начал писать рассказы».

Спрашивается, какой же версии верить? Той, в которой Сережа декларативно заявляет, что закончил «Зону» в армии, или той, где он проговаривается, утверждая, что первую пробу пера осуществил в послеармейский период, уже возвратившись в Ленинград?

Начитавшись Фрейда или по собственному наитию, современный читатель предпочитает раскинуть свой шатер поближе к оговоркам, опискам и языковым ляпсусам, объединенным под названием мифа, отдавая им предпочтение перед документом. И даже критик, собравший обширный материал в пользу того, что Довлатов не писал своей «Зоны» в армии,

сердечно откликнулся на миф, оставив дело его демифологизации потомкам.

«Каким был тот вариант из тощего рюкзака, — риторически вопрошает критик Сухих, — может быть, выяснится когда-нибудь. Но археологические слои авторской работы по некоторым деталям и датам опознаются и в окончательном тексте».

Жизнестойкость всякого мифа строится на том, что миф подается в такой облатке, которая выглядит точь-в-точь как истина. Возвратившись из армии одиноким, заброшенным и интеллектуально непригодным для своего бывшего литературного круга, квадрата и параллелепипеда человеком, Сережа был поставлен перед дилеммой — либо признать свою интеллектуальную непригодность, либо, изловчившись, обойти страждущих литературным недугом сверстников. И Сережа, разумеется, решил «изловчиться», продемонстрировав свой интеллектуальный потенциал созданием достоверной повести об армейской жизни.

Для достижения эффекта достоверности необходимо было погнать нарративное время вспять, чего Сережа добился путем отмены ретроспекции и введения красноречивой детали, выступающей из самого Предисловия, в котором автор смело провозгласил, что привез рукопись «Зоны» в армейском рюкзаке. По-видимому, уповая на завораживающую близость рукописи и армейского рюкзака, Сережа попал в десятку. Никто не усомнился в правоте его утверждения. До поры до времени, то есть пока не стало ясно, что не таким Сережа был человеком, который захочет городить большой огород без того, чтобы

в нужный момент не полакомиться свежим огурцом, а то и редиской.

И тут дело даже не в том, что Сережин рассказчик пишет о событиях армейской жизни вслепую, из недр своей питерской обители. Никто не сомневается в том, что Сережа многое увидел и многое запомнил именно в армии, а чего не увидел и не запомнил — мог прочесть у других. Дело заключается в том, что Сережин армейский опыт был заслонен и вытеснен мечтой и мыслью о питерском тотеме. Став жертвой тотема именно в зоне, то есть именно в зоне подпав под общее правило о том, что опыт жертвы не располагает к вдохновению, Сережа мог начать писать только тогда, когда стал конкурентоспособным по части вдохновения, а мысль о том, чтобы пометить приход вдохновения задним числом, пришла и того позже.

Когда Сережа, постарев на десятилетие и пройдя через огонь и воды, наконец разразился «Зоной», наделив ее, надеюсь, это не прозвучит парадоксально, людьми своего круга, квадрата и параллелепипеда, стилизованными под уголовников, он оказался в положении того враля, которому нужно было многое объяснить, чтобы ему поверили. С позиции человека, которому позарез нужно было быть понятым правильно, Сережа создает первое Предисловие, делая искреннее, хотя и лживое, признание («Короче, осенью 64-го года я появился в Ленинграде. В тощем рюкзаке лежала „Зона“»), вступающее в конфликт не только с более поздним искренним признанием в «Наших» («...А я поступил в многотиражку. И к тому же начал писать рассказы»), но и с собственной оценкой того периода.

«Я встретился с бывшими приятелями. Общаться нам стало трудно. Возник какой-то психо-

логический барьер. Друзья окончили университет, серьезно занимались филологией... А я безнадежно отстал. Я напоминал фронтовика, который вернулся и обнаружил, что его тыловые друзья преуспели. Мои ордена позвякивали как шутовские бубенцы... Я был одержим героическими лагерными воспоминаниями. Я произносил тосты в честь умерщвленных надзирателей и конвоиров. Я рассказывал о таких ужасах, которые в своей чрезмерности были лишены правдоподобия. Я всем надоел».

Автором той «Зоны», с которой читатель знаком, возможно, единственной авторской удачей Довлатова, Сережа стал только тогда, когда изобрел свежий стиль и новый спектр палитры, перекроив «героические» воспоминания и перекрасив ужасы. Имея дело с контингентом читателей, ни разу не покинувших уютных коконов своих петербургских квартир, у которых один вид мундира тюремного надзирателя вызывал тошноту и отвращение, Сережа стал автором «Зоны» гораздо позже, когда ему удалось извлечь из театрального реквизита своего славного прошлого раззолоченный камзол ироничного, беспристрастного и тонкого бытописателя нравов, удовлетворяющего запросам и вкусам своего бывшего окружения, с юношеских лет примеривавшегося к аналогичному камзолу. И вот, оставив в стороне панораму лагерных параш, повергших в уныние будущих читателей, Сережа пронзил их взоры новым опытом, пролился на землю метеоритным дождем, взвился в небо раззолоченной радугой и вернулся назад грозным Аквилоном. Его экзотические уголовники, взращенные на литературных образцах, как и он сам, разрешают филологические проблемы, которые в сознании

«сильно отставшего» от коллег автора кажутся ему не лишенными актуальности.

«Изысканная речь,— пишет филолог собственной чеканки Довлатов в „Зоне“,— является в лагере преимуществом такого же масштаба, как физическая сила. Хороший рассказчик на лесоповале значит гораздо больше, чем хороший писатель в Москве.

Можно копировать Бабеля, Платонова и Зощенко.

Этим не без успеха занимаются десятки молодых писателей. Лагерную речь подделать невозможно, поскольку главное ее условие — органичность.

Разрешите воспроизвести не совсем цензурную запись из моего армейского блокнота.

„Прислали к нам сержанта из Москвы. Весьма интеллигентного юношу, сына писателя. Желая показаться завзятым вохровцем, он без конца матерился.

Раз он прикрикнул на какого-то зека:

— Ты что, ёбнулся?!

(Именно так поставив ударение.)

Зек реагировал основательно:

— Гражданин сержант, вы не правы. Можно сказать — ебнулся, ебанулся и наебнулся. А ёбнулся — такого слова в русском литературном языке, уж извините, нет...

Сержант получил урок русского языка».

Не подлежит сомнению, что даже при наличии страсти к орфографической точности, не уступающего влечению его предшественника, Акакия Акакиевича, Сережа не мог почерпнуть свой «жизненный материал» с вышки лагерного надзирателя и в отсут-

ствие реферативного источника, каким мог ему послужить, к примеру, изданный на Западе нормативный словарь нецензурных слов и выражений. Кстати, упоминание о таком словаре можно найти, кажется, в записных книжках Довлатова. Не имея перед глазами источника, могу допустить, что слово «ебнүлся» приводится в том словаре с ударением не на первом слоге, принятом за норму ленинградской шпаной шестидесятых годов, а на втором, допустимом словарной нормой западных лексикографов по аналогии с производными формами типа «ебанүлся» и «наебнүлся».

Такого рода открытия, которые даже невзыскательный читатель обычно пропускает мимо ушей, не могли не явиться ценной находкой для начинающего писателя, обращающегося со всяким идущим в руки материалом с бережливостью того, кого Бог бережет. Поместив заимствованную из словаря информацию в воображаемый «армейский блокнот», где покоились прочие «трофеи» из многослойной жизни автора, Сережа сочинил подходящий для данного контекста диалог, сопроводив его предисловием об особенностях лагерной речи, и тем самым добился невозможного. Разумеется, если принять на веру первичный тезис о том, что «лагерную жизнь подделать невозможно».

Не мне первой принадлежит догадка о том, что в «Зоне» нет уголовников, хотя Игорь Сухих, сделавший аналогичное наблюдение, проводит другие параллели.

«Можно подумать, что „Зона“ расположена где-то возле Зурбагана и в уголовников играют те самые молодые интеллектуалы, что ехали за туманом, называли кафе „Бригантина“ и „Алые

паруса“, называли друг друга „старик“ и спорили о сроках пришествия коммунизма...»

Взяв героев «Зоны» напрокат из знакомого питерского реквизита, где «воля... есть знакомый песенный рефрен, не больше», а жизнь, подобно кинематографической ленте, напоминает «узкую кровь, стекавшую изо рта под голову», Сережа поселил их на фоне сурового сибирского пейзажа, из-под которого нет-нет да и проглядывает бутафорская декорация фаллического происхождения типа «вертикальных столбов дыма». И тут уже не нужно особой смекалки, чтобы понять, почему одна и та же история, приписанная разным людям, действующим в разное время и в разных ампулах, обрастает авторскими комментариями под видом предисловий, преамбул, пролегомен, введений и интродукций, а также почему сам автор, выступая под разными именами, не устает оправдываться, сгибаясь под тяжестью им же созданной путаницы вымысла и факта.

— Вот вы твердите о путанице вымысла и факта. А позвольте вас спросить, на основании каких фактов вы базируете свое знание о вымысле? О каком, собственно, вымысле вы толкуете? И в противовес каким фактам? Даже если допустить, что сроки публикации «Зоны» перепутаны, то к достоверности текста эта путаница не имеет отношения. Забывчивость автора не лишает его права на знание жизни. Не так ли? — муштрует меня невольный свидетель моего сочинительства, чье ожидание чего-то гораздо более солидного оказалось повергнутое.

— Хорошо, — лепечу я в оправдание. — Возьмем для начала «ужасы» лагерной жизни, с такой трогательностью принятые на веру таллинским коллегой Довлатова Борисом Ройтблатом. Не заметили ли вы такой странности... Ведь они, эти «ужасы», введены

в текст «Зоны» как бы реферативно, то есть в виде ссылки на то, чего автор либо никогда не видел, либо, зажав нос, проскочил... Не объясняется ли такой пробел в части описания «ужасов» путаницей вымысла и факта? Впрочем, у Сережи находится другое объяснение.

«Экзотичность пережитого материала, — любезно комментирует он нам свою позицию, — важный литературный стимул. Хотя наиболее чудовищные, эпатажирующие подробности лагерной жизни я, как говорится, опустил. Воспроизводить их не хотелось. Это выглядело бы спекулятивно. Эффект заключался бы не в художественной ткани произведения, а в самом материале».

Будучи страховым агентом, Кафка писал с дотошностью и протокольной осмотрительностью сочинителя страховых полисов, призванных отразить, в своем основном принципе, будущие бедствия, которые, в сущности, непредсказуемы и никем, кроме страховых компаний, в расчет не принимаются. Каждый страховой полис Кафки есть некий миропорядок вчерашнего дня с вкраплением катаклизмов завтрашнего, потенциально заложенных в миропорядок вчерашнего. При этом держатели полиса, чей кругозор ограничен личным опытом, не выходящим за пределы привычного распорядка сегодняшнего дня, принуждены с напряжением следить за поступательным движением времени от настоящего в будущее. Кафка, в отличие от Довлатова, пишет об ужасах там, где хранители его полиса не видят ничего, кроме благополучия. Поэтому Кафке не грозит удел «спекулятивного» рассуждения, тем более что понятие

«спекулятивности» («умозрительности») не принято распространять дальше философского текста.

Господину К., например, хозяйка пансиона вдруг не приносит в постель завтрака. Каждый день приносила, а сегодня нет. Почему? Выясняется, что господин К. находится под арестом. За что? За то, что он виновен. В чем? Охранники, к которым этот вопрос адресуется, дают такой ответ: мы расследованием не занимаемся: мы просто сажаем под арест тех, кто виновен. Таков закон. Господин К. не знает такого закона, как не знают подоплеки страховых полисов те, кто их покупает, что не освобождает ни тех ни других от ответственности за соблюдение всех пунктов страхового полиса. И дальше начинаются приключения господина К. (самого Кафки?), то есть персонажа-рассказчика, который в одно и то же время сохраняет статус свободного человека, находится под вечным арестом и принужден к тому, чтобы начать приспособливаться к миру, живущему по законам-полисам, которых не знает никто.

В «Зоне» нет места ужасам лагерной жизни. Она «рассказана» с позиции стилизованного лагерного надзирателя, хорошо приспособившегося к лагерному режиму и чувствующего себя в нем «свободным» человеком, каким Сережа был в период своего подлинного авторства. Даже другая точка зрения, одновременно присутствующая в «Зоне», освобождает читателя от свидетельства ужасов лагерной жизни. За этой точкой зрения стоит всеми покинутый и забытый неудачник Довлатов, еще вчера бывший свободным и преуспевающим человеком, представителем другого режима, жрецом анклава, а сегодня ставший его жертвой. И именно потому, что надзиратель Алиханов оказывается лицом подставным, являющимся одновременно и свободным человеком вне «Зоны», и лицом, подчиненным лагерному режиму,

то есть и жрецом, защитником режима, и его жертвой, отловленной жрецом на заклатие в другом режиме, в довлатовской «Зоне» происходит уравнивание жреца с жертвой, жреца одного режима с жертвой другого режима, режима с нережимом, персонажа с рассказчиком.

Всем приглянувшееся открытие автора «Зоны» о том, что уголовники похожи на конвоиров, а лагерь на государство в миниатюре, возникло как раз из дихотомии довлатовского рассказчика, снимавшего мерку для многих персонажей «Зоны» с самого себя. Разве ефрейтор Фидель, который держит оружие на прицеле, не повторяет Довлатова, некогда разыгрывающего из себя убийцу? Не является ли уголовник Купцов, который, на манер реального Довлатова, «прячет кулаки в рукава», сотканным, как и Сережа, из литературного материала?

«Передо мной у низкого костра сидит человек. Рядом на траве белеет книга. В левой руке он держит бутерброд...

— Привет,— сказал Купцов.— Вот рассуди, начальник. Тут написано — убил человек старуху из-за денег. Мучился так, что сам на каторгу пошел. А я, представь себе, знал одного клиента в Туркестане. У этого клиента штук тридцать мокрых дел и ни одной судимости. Лет до семидесяти прожил. Дети, внуки, музыку преподавал на старости лет... Более того, история рассказывает, что можно еще сильнее раскрутиться. Например, десять миллионов угробить или там сколько, а потом закурить „Герцеговину Флор“...

И вдруг я понял, что рад этому зеку, который хотел меня убить. Что я постоянно думал о нем. Что жить не могу без Купцова. Это было

так неожиданно, глупо, противно... Я решил все обдумать, чтобы не кривить душой. Я отпустил его и зашагал прочь. Я начинал о чем-то догадываться. Вернее, ощущать, что этот последний законник устьевымского лагпункта — мой двойник. Что рецидивист Купцов (он же Шаликов, Рожин, Алямов) мне дорог и необходим...»

Что побудило Довлатова, спросим мы, изобразить уголовного Купцова с томом «Преступления и наказания» в руках? Зачем ему понадобилось создать своего «двойника» по модели Раскольников, который, убив «старуху из-за денег», «сам на каторгу пошел»? Разумеется, тема «Преступления и наказания» неотделима от петербургского пейзажа, что говорит еще раз в пользу того, что «Зона» писалась вне зоны. С другой стороны, позиция Достоевского, самого прошедшего через каторгу, не могла не показаться Довлатову близкой его собственной. (Парадоксально, что, как в случае Довлатова, так и в другом случае, Достоевского, «каторга» оказалась оздоровительным делом.) Так зачем же Довлатову так понадобились Достоевский и Раскольников?

Ну, прежде всего, тема «преступления и наказания» у Довлатова развивается в контексте большего преступления диктатора и любителя «Герцеговины Флор». Преступление преступлению рознь, как бы говорит автор «Зоны» и двойник уголовного Купцова. Однако так же, как размышление о преступлении одного диктатора возникает у Сережи в контексте романа Достоевского, размышление о преступлении другого диктатора, «мандарина», возникает у Достоевского в контексте бальзаковского наследия.

— Ну так что из этого? — спросит у меня читатель.

— Вот именно,— отвечу я.— Не решал ли Сережа, равнявший себя на Достоевского, сын, внук и правнук бальзаковского «мандарина» и того «клиента», который угробил «десять миллионов» перед тем, как закурить «Герцеговину Флор», вопрос о собственной неуправляемости и связанной с ней ненаказуемости, так волновавших его самого? Не случилось ли Сереже, возвратясь из армии, решать для себя дилемму, которую можно было приписать Купцову: искать работу или вернуться к прежней жизни?

«Там возле огня сидел на корточках человек.

— Не работаешь, бес?

— Воздерживаюсь. Привет, начальник.

— Значит, в отказе?

— Без изменений.

— Будешь работать?

— Закон не позволяет....

Я подошел и разбросал костер.

— Будешь работать?

— Да,— сказал он,— пойдём...

— Иди вперед...

Под вышкой около сваленного дерева курили заключенные. Я сказал нарядчику:

— Топор.

Нарядчик усмехнулся.

— Топор,— крикнул я.

Нарядчик подал Купцову топор.

— К Летяге в бригаду пойдешь?

— Да.

Пальцы его неумело сжимали конец топорика.

Кисть выглядела изящно на темном, залоснившемся древке. Как я хотел, чтобы он замахнулся! Я бы скинул клифт. Я бы скинул двадцать веков цивилизации. Я бы припомнил все,

чему меня учили на Ропче. Я бы вырвал топор и, не давая ему опомниться...

— Ну,— приказал я, стоя в двух шагах. Ощущая каждую травинку под сапогами.— Ну,— говорю.

Купцов шагнул в сторону. Затем медленно встал на колени около пня. Положил левую руку на желтый, шершавый, мерцающий срез. Затем взмахнул топором и опустил его до последнего стука.

— Наконец,— сказал он, истекая кровью,— вот теперь хорошо...

— Чего стоишь, гондон,— обратился ко мне подбежавший нарядчик,— ты в дамках — зови лепилу!»

«После реплики Купцова и многоточия,— пишет критик Сухих,— появился — через пробел — маленький эпилог, перебрасывающий действие далеко в будущее. „С тех пор прошло много лет. Я живу у Пяти углов в старом коммерческом доме. Окна моей квартиры выходят на помойку. Каждое утро я с продовольственной сумкой иду в магазин за едой. Моей жене кажется, что я должен быть в курсе политических событий. Она с шуршанием разворачивает у меня за спиной газету. В этот утренний час я жизнью доволен, может быть, с той оговоркой, что меня почему-то раздражает, если кто-то стоит у меня за спиной“...

Этому подтекстно введенному мотиву нечистой совести и почти забытого прошлого („Почему-то раздражает, если кто-то стоит за спиной“) Довлатов предпочитает яркую, театральную реплику нарядчика, сталкивая стилистически трудно совместимые „кровь“ и „гондон“».

Вероятно, заметив неувязку между заявлением автора в Предисловии и сообщением того же автора в «маленьком эпилоге» к «Зоне», критик Сухих пытается освободиться от противоречий, приписывая автору гипотетические мотивы («перебрасывание» действия «в будущее» и «мотив нечистой совести»), при этом не удосужившись задать два простейших вопроса, напрашивающихся сами собой. Что побудило Довлатова расстаться с «маленьким эпилогом», заменив его другим текстом в окончательной редакции? И если эпилогу надлежало быть вымаранным из «Зоны», то по каким критериям он с этой «Зоной» не согласовывался? Едва сформулируешь вопросы, становится очевидным, что критерий несогласованности эпилога с «Зоной» лежит в сфере Сережиного мифотворчества, вводящего путаницу в вопрос о времени написания «Зоны». Разве не очевидно, что, поступишь Сережа бутафорской отсылкой в прошлое («С тех пор прошло много лет»), с которой начинается эпилог, авторское признание окажется сделанным открытым текстом. «Зона» писалась в Ленинграде по возвращении из армии.

Привычка перегружать память только по мере необходимости ставила Сережу перед необходимостью удерживать многое в памяти. Любая попытка расслабиться грозила неприятными последствиями. Заявив в Предисловии о том, что «Зона» была написана в лагере и легкомысленно забыв об этом заявлении к моменту создания эпилога, Сережа был поставлен перед необходимостью отказаться либо от эпилога, либо от Предисловия. И что же? Вымарав эпилог, он хотя и не добился того, чтобы разночтения с первоначальной версией прошли незамеченными для читателей, но все же избежал того, чтобы быть уличенным в преднамеренном вранье. Ведь идея «подтекстно введенного мотива нечистой совести»,

как ее эвфемистически формулирует Игорь Сухих, легко укладывается в метафорический контекст, еще раз отсылающий читателя к вопросу о реальном времени написания «Зоны».

Ответ на вопрос о том, почему рассказчик сохранил чувствительность к тому, что «кто-то стоит за спиной», поступит к читателю еще одно десятилетие спустя, когда, уже с позиции человека, у которого «все печатают», Сережа позволит себе, в виде скупой и ни к чему не обязывающей отсылки в прошлое, приоткрыть завесу тайны, окружающей опыт послеармейских лет, то есть времени написания «Зоны».

«Через некоторое время в „Ардисе“, — пишет Сережа в статье на смерть Проффера, — на русском и английском языках была издана моя первая книга. Не будет преувеличением сказать, что Карл Проффер в те годы буквально спас мне жизнь, удержал от самых безрассудных, отчаянных поступков».

Стало быть, и топор, рассекающий запястье Купцова, скорее всего, передает умонастроение самого автора, подрядившегося на журналистскую работу в многотиражной газете Ленинградского кораблестроительного института. Так что мысль скорее отрубить себе руку, чем продолжать тянуть унижительную журналистскую лямку, могла быть перенесена в «Зону» непосредственно из ленинградского опыта.

С публикацией армейских писем, полагаю, не осталось такого «исследователя», который бы поверил в миф о том, что «Зона» писалась за пределами Ленинграда. Осенью 1962 года Сережа мечтательно пишет отцу: «Года через три я попробую написать повесть».

В феврале 1963-го мечта разрастается:

«Часто думаю о том, что стану делать после армии... но ничего не придумал пока. Может быть, я и мог бы написать занятную повесть, ведь я знаю жизнь всех лагерей, начиная с общего и кончая особым, знаю множество историй и легенд преступного мира, т. е., как говорится по-лагерному, по фене, волоку в этом деле. Но тут надо очень хитро написать, иначе самого посадить могут. Но пока я живу себе, смотрю, многое записываю, накопилось две тетрадки. Рассказывать могу, как Шехерезада, три года подряд».

Вот Сережа исхитрился и написал, причем так написал, что никто не усомнился в достоверности того, чего не было, и в своевременности того, что не имело прецедента ни в прошедшем, ни в будущем.

Все глубоко несчастны

Иногда ему казалось, что все представляются.

Это было правильно.

Иногда ему казалось, что все взаправду пьяны.

Это было также правильно.

Иногда ему казалось, что все глубоко несчастны.

И это также.

Иногда все казались бессмысленно счастливыми. Еще казалось, что все запутались, забыли что-то, блуждают.

Иногда казались все мудрецами, постигшими все тайны Бога и природы в Боге.

И то и другое было несомненно. Все одновременно было вполне объяснимо, непонятно и не нуждалось в объяснении.

Борис Поплавский

Изнаночная сторона, так же как и лицевая, имеет свои корни и свои плоды, особенно если речь идет о прошлом. В какой-то момент Сережа увидел себя комплексующим, несчастным, постаревшим, всеми покинутым, облаченным в потертую солдатскую шинель и всеми презираемым человеком, которого лишили даже университетского диплома. И так оказалось, что в тот самый момент, когда Сережа осознал свою обреченность на неудачу, нашелся кто-то, кем, как ему показалось, могла быть только я, кто подсмотрел то зеркальное отражение и, подсмотрев, оказался в нем навечно запечатленным.

Тот момент мог давно миновать. Сережа мог обернуться маститым литератором, заскользить на

салазках успеха, поплыть на гребне удачи, прослыть мудрецом, фантазером, острословом, сказочным принцем, проскакать на тройке и в тройку же облачиться. Его могли переводить на доллары, йены, лиры. Ему могли подносить бокалы и шкалики, смолить в бочке, солить, посыпать пряностями, предупреждать его мечты и капризы, быть может, даже прочить в боги... Он мог видеть себя во сне, даже чувствовать немного как бог. Но потом в какой-то момент чья-то тень мелькала в снежно-кружевном кружении сладкого сна. Он просыпался и вдруг видел в своем зеркальном отражении давно забытый образ комплексующего, несчастного, всеми покинутого, постаревшего, облаченного в солдатскую шинель и всеми презираемого человека, которого лишили даже университетского диплома. И тут тот, кого он давно заподозрил в подсматривании, опять оказался свидетелем всего этого и, оказавшись, напомнил Сереже, что отражение было реальным и забвению не подлежит...

Заручившись в своем опыте предшественником в лице самого Николая Васильевича Гоголя, хотя, в отличие от Гоголя, обделенный способностью видеть себя в своих персонажах, Сережа посвятил жизнь тому, чтобы стать автором своей жизненной драмы, и, по числу персонажей этой драмы, принимал разные обличия. Так создается довлатовский двойник, Doppelgänger, жонглирующий полушариями «я», одним — презирающим «подлость и вранье» и горящим желанием постоять за правду, а другим — готовым на «подлость и вранье» во имя сокрытия правды, одним — стремящимся произвести впечатление, сорвать успех, покорить толпу, уничтожить соперников, а другим — страдающим от риска остаться незамеченным.

Двойником Довлатова является каждый его персонаж, и каждый двойник персонажей — сам автор. И чем отдаленнее представляется читателю сходство между двойниками, тем изощреннее авторская работа. В рассказе «Встретились — поговорили» траектория жизненных драм автора прослеживается в лице незадачливого эмигранта Головкера, превращенного рассказчиком в преуспевающего бизнесмена, бутафорского рыцаря, иностранного туриста в собственном отечестве. Двойник Довлатова, Головкер, по замыслу его двойника-автора перелетел многократно через один и тот же океан, известный своим магическим свойством превращать неудачников в богатых заморских гостей.

Свой первый перелет Головкер—Довлатов, вероятно, совершил, еще не покинув американского берега (быть может, даже и российского?), в сфере фантазии, своей тайной мечты. Растоптав поникший пиджак неудачника, Сережа в который раз облачается в парчу и золото сказочного принца, призванного избавить неудачника Довлатова от травматического опыта юных лет. Блуждая по лабиринтам своего обретенного сказочного царства, он предстает перед когда-то оставившей его женой. Мечта подхватила его на крыло, и вот он уже не неудачник и даже не сказочный принц. Кому нужны эти тривиальности? Он предстает перед женой, заметьте, все еще не обзаведшейся спутником жизни, в обличии преуспевающего бизнесмена, бутафорского рыцаря, иностранного туриста в собственном отечестве.

«Головкер представил себе момент возвращения. Вот он прилетает. Едет в гостиницу. Берет напрокат машину. Меняет по курсу тысячу долларов. А может быть — две. Или три.

Потом звонит ей:

— Лиза? Это я... Что значит кто? Теперь узнала?

— Да, проездом. Я, откровенно говоря, все-таки бизи... Хотя сегодня, в общем, фри... Извини, что перехожу на английский...

...Головкер провожает Лизу домой. Выходит из машины. Распахивает дверцу.

— Ну, прощай.— И затем: — Ах да, тут сувениры.

Головкер протягивает Лизе сапфировое ожерелье: „Ведь это твой камень“. Затем — пластиковый мешок с голубой канадской дубленкой. Учебный компьютер для Оли. Пакет с шерстяными вещами. Две пары сапог.

Затем он мягко спрашивает:

— Могу я оставить тебе немного денег? Буквально полторы-две тысячи. Чисто символически...

Он мягко и настойчиво протягивает ей конверт.

Она:

— Зайдешь?

— Прости, у меня завтра утром деловое свидание. Подумываю о скромной концессии. Что-нибудь типа хлопка. А может, займусь электронной. Меня интересует рынок...»

Так мечтает Головкер—Довлатов, фантазер, триумфатор, рыцарь печального образа, покупая билет в Россию, после чего следует сцена из реального разговора с бывшей женой:

«...И тогда он глухо выговорил:

— Квартира Головкерова? Лиза, ты меня не узнаешь?

— Погоди,— слышит он.— Я выключу чайник.

Когда случилось петь С. Д. и мне

И дальше — тишина на целую минуту. Затем какие-то простые, необязательные слова:

— Ты приехал? Я надеюсь, все легально?.. У тебя дела? Ты путешествуешь?

Головкер помолчал, затем ответил:

— Экспорт-импорт. Тебе это не интересно. Подумываю о небольшой концессии, типа хлопка.

Далее он спросил как можно небрежнее:

— Надеюсь, увидимся? — И для большей уверенности добавил: — Я должен кое-что вам передать. Тебе и Оле.

Он хотел сказать: у меня два чемодана подарков, но передумал.

— Завтра я работаю, — сказала Лиза, — вечером Ольга приглашена к Нахимовским. После завтра у нее репетиция. Ты надолго приехал? Позвони в четверг.

— Лиза, — сказал он забытым жалобным тоном, — еще нет десяти. Мы столько лет не виделись. У меня два чемодана подарков. Могу я приехать? На машине?»

Займованный из тайников памяти «забытый жалобный голос», голос эмигранта Головкера, перекликается с голосом самого автора, создающего (воссоздающего?) в эмиграции (а может быть, еще в России?) парадигму мысленных триумфов и реальных поражений, которыми так полна была его многообещающая юность. Позвольте, да при чем здесь автор? Разве вы не узнаете в господине Головкере двойника господина Голядкина, так сказать, Голядкина нашего времени, двойника, равного самому себе, Голядкина-старшего, мечтающего о встрече с дочерью генерала, и Голядкина-младшего, уже пережившего эту встречу? Где, объясните, проходит та черта, отделяющая

жанр «откровенного вымысла» от жанра «откровенного документа»?

А возможна ли такая черта? Хочется спросить того читателя, который ждет от меня исчерпывающего ответа. Загляните, к примеру, в другой текст Довлатова, где «вымысел» как бы расшаркивается перед документом. Откройте страницу «Филиала», где речь идет, так сказать, о событиях реальной жизни, о встрече с первой женой. Не звучит ли и там тот «забытый жалобный голос» Довлатова — Головкера, пусть скрытый за маской победителя, похитителя травматического прошлого, но все же легко узнаваемый? Кому, как не одному и тому же автору, двойнику своих персонажей и рассказчиков, жрецу и жертве своего тотема, творцу собственной биографии, мифотворцу Сереже Довлатову, принадлежит этот голос?

«А что, если во мне за километр ощущается неудачник? — тревожится рассказчик „Филиала“, повторяя мотив своего персонажа Головкера. — Что, если обо мне стараются забыть, как только я уйду?»

Я зашел в кондитерскую, чтобы позвонить Тасе из автомата. Я знал, что рано или поздно это сделаю...

Тася закричала:

— Где ты?

— Хочешь меня видеть?

Наступила пауза. Может, она думала, что я звоню с Камчатки?..

— Милый, я сегодня занята... Ведь ты надолго?..

— Могу я встретить тебя ночью и проводить домой?

— Нет,— сказала Тася,— позвони мне завтра утром. Позвонишь?..

Ночью я сел в архангельский поезд. Я думал — кончено! Одиноким путник уходит дальше всех. Я вновь упал, и это моя последняя неудача. Отныне я буду ступать лишь по твердому грунту».

Переключка голосов, начавшаяся в другом пространстве, другом времени и за пределами художественных текстов, трансформирует авторскую мысль, позволяя заимствование вымышленных персонажей из автопортрета автора. События реальной жизни становятся предисловиями и послесловиями к литературным текстам, их началом и концом. Автор с его двойником, вымышленным или реальным, заимствованным у Достоевского или сотканным из пряди собственной фантазии, отъединены от предмета своих желаний, от «жены», от «Клары Олсуфьевны», от «Лизы» и «Таси», посредством водораздела, воздушного бассейна, океана, «Камчатки», «архангельского поезда». Но сам автор является равным самому себе. Он дублируется в каждом тексте. Так где же, повторю я вопрос моего читателя, проходит та черта, отделяющая «откровенный вымысел» от «откровенного документа»? Если такая черта существует, то она должна, скорее всего, заключаться в авторском желании, возможно неосознанном, подсластить пилюлю своего личного опыта. Рассказчик «Филиала», будучи двойником рассказчика Головкера, вовсе не является неудачником. Напротив того, в нем сохранены достоинство и мужская гордость, которыми автор легко «жертвует», создавая персонажа Головкера. Короче, в «Филиале» «я» уже преодолел синдром неудачника.

Этот синдром несет на себе лишь Головкер, жалкий, смешной и безнадежный, в котором никому и в голову не придет заподозрить носителя авторской биографии.

Однако печальной «реальности», в которой персонаж Головкер так расходится с создавшим его автором, противостоит та «радужная мечта», в которой неудачник Головкер неотделим от неудачника Довлатова. То, что представляется воображению Головкера, скажем, то, о чем мечтает Головкер в вымышленном интервью, данном вымышленному корреспонденту в конце рассказа «Встретились—поговорили», повторяется в реальных интервью, данных Сережей Довлатовым реальным корреспондентам.

«— Значит, вернулись? — спрашивает корреспондент.

— Я выбрал свободу, — отвечает Головкер».

«И еще я подумал, — мечтает уже реальный Довлатов, — случись все это у меня на родине!.. Я мгновенно становлюсь знаменитым. Бываю в Доме творчества. Ужинаю в ЦДЛ с Юнной Мориц. (Белла Ахмадулина рыдает от зависти.) Официант интересуется: „Над чем работаете, Сергей Донатович?“ В общем, живу как человек. А здесь?»

Короче, возложив на себя счастливое бремя основателя дома Рокфеллеров, Дон Жуана и Ивана Александровича Хлестакова третьей эмиграции, рассказчик Довлатов создает себе вереницу двойников, талантливо повторяющих его мечту, но остающихся неудачниками в реальном мире. Однако, хотя синдром неудачника Довлатова уже был распознан и вознесен щедрым коллегой по перу Валерой Поповым, мечта победителя Довлатова и работа над литературным имиджем, воплотившим эту мечту, остались так и не разгаданными современниками.

«Всем пишущим — и не только литературным генералам, проигравшим свои битвы, — чрезвычайно обидно и интересно понять: как же это вышло? — пишет Валера Попов вдогонку победителю Довлатову в статье „Победа неудачника Довлатова“. — Что сделал он, чего не сделали они? Да много такого, чего другие не сделают никогда...»

И тут щедрый Валера подхватывает довлатовскую мечту. Вот уже и его теснят воспоминания, хотя и иные, чем у Сережи. Он оказался счастливее.

«Весь город был наш — мы входили легко в лучшие рестораны, и за всеми столиками были друзья. Мы угодили тогда в необыкновенно счастливое время: мы поймали момент свободной уже мысли — в сочетании с тоталитарной еще дешевизной. Вряд ли кто теперь, кроме рэкетиров, соберется там, где мы были каждый день! Этот подарок судьбы неповторим. Теперешняя молодежная свобода сидит по подвалам с пепси-колой или еще какой-то дрянью, а мы, когда поднимались, владели всей петербургской красотой — и тот запас счастья помог нам выдержать все потом.

Где-то там, над бокалами и окурками, мы и познакомились, наверно, с Довлатовым.

Помню наш приход — после радостных восклицаний — к нему домой.

— Познакомься, мама, это Валера Попов.

— Ну хорошо, что Попов. Плохо, что с бутылкой.

— Это моя! — рыцарски заявляет Сергей.

— Нет, моя! — У меня тоже рыцарства навалом.

— Ну, если вы не знаете чья,— усмехается мама,— тогда, значит, моя! — И убирает бутылку в буфет.

В добывании таких фраз — денным, а порой и ночным и, как вы только что видели, тяжким трудом и состояла жизнь Довлатова».

На исходе пружины автомата

И как бы сквозь сон, как райский свет, видел он все выше и выше загорающиеся над ним райские лампочки, и вот наконец, как пение валькирий, уносивших его душу, слетал к нему звонкий трезвон широкого круглого колокола на исходе пружины автомата. Часто только на улице замечал он, что до крови разбил себе руки... и, кажется, все деньги, до последней копейки, растратил бы он, опуская их без счета за всех присутствующих в металлическое брюхо спортивных молохов. Ах, если бы хоть часть этой энергии можно было пробудить на благую деятельность, нет, лишь на пустяки и на миг, и опять он совершенно успокоился, и энергия заснула в преисподней, из которой путь в жизни преграждало великолепие его «зачем».

Борис Поплавский

«Каков Савва, такова ему и слава», — говорят в народе, а на деле все выходит как раз наоборот. Едва вскочив на гребень своей славы, человек начинает сверкать разными гаммами от альфы до омеги, благоухать пряностями от розмарина до гардемарина, а самого-то человечка, запропадившегося под гнетом разного там серпантина славы, совсем не сыскать, сердечного...

«При всей... тяге к погружению в безумие, Довлатов вообще был человек рациональный, практичный, даже педант, день его начинался со списка дел по пунктам с последующим вычеркиванием...» — пишет о Сереже сослуживец Петр Вайль.

Это Довлатов-то был педантом? Да не перепутали ли вы его с Ходасевичем или Блоком, а еще пуще — с Набоковым или Чеховым? Да и какому педанту, скажите на милость, в голову придет начинать день «со списка дел по пунктам с последующим вычеркиванием...»? То-то и оно, что педанту никакого списка не нужно и вычеркивание ему ни к чему. Он этот список в собственной голове держит, и в жилах несет, и во сне хранит, уж не говоря о сферах под и вне сознания, к которым и доступ-то закрыт без особых пропусков. А Сереже, которому до педанта было как муравью до «кремлевского горца», вычеркивание было необходимо, оно было чуть ли не делом его жизни на исходе пружины автомата. Вот он и стал архивариусом.

«Архив Довлатова?.. Такого я еще не видел: все в идеальном порядке... обработан, размечен, готов к публикации. Так у моего покойного деда в старинном шкафу с деревянной цаплей лежали картонные коробки с надписями: „носки цельные“, „носки цельные непарные“, „носки, подлежащие ремонту“», — пишет Сергей Каледин.

— А зачем он свой архив размечал? — спросят любопытствующие. — Ведь не собирателем, чай, был разного хлама, не Плюшкиным, а своего рода сочинителем... Тут бы спросить у калединского деда: «Зачем, мол, носки сортировал?» — «Так чтоб не перепутать», — ответил бы вопрошаемый. Вот и Сережа... Если чего боялся пуще всякой чумы, так это того, чтобы ненароком чего не перепутать. Ведь в его архиве удерживалось такое, что могло бы нет-нет да и скомпрометировать архивариуса... Короче, рядом с пристрастием к педантичности, налаженности

и организованности архива, за которыми в первую очередь предполагается упорядоченность данных, отсутствие неряшливости и скрупулезность, в Сереже уживались беспорядок и путаница. Путались, обрас-тали вымышленными деталями истории, выдаваемые за реальные. Путались, извлекались из «коробки с цельными носками» или «коробки с непарными носками», попадая в коробку с «носками, подлежащими ремонту», имена и даты, претендующие на достоверность. При всей тяге к порядку у Сережи смешивалось все, как в старом, добром доме Облонских: и события, и даты, и «документы», а персонажи историй, переключивая из одного (кон)текста в другой, взаимно искажали и умерщвляли друг друга. Так что найти начала и концы становилось делом большой удачи.

Говорят, Илья Эренбург путал «Интернационал» с арией Торeadора, сам каясь заранее в отсутствии слуха. Путаницей в чувствах славились герои Тургенева, скажем Литвинов в «Нови». У Чехова в «Тайном советнике» жены путали близнецов Свищевых. Ну и Довлатов все путал. Путал себя с братом, себя же с Фетом, Маяковским и Евтушенко, опять себя с Герасимовым. Бывали и промахи. Например, он путал Пушкина с Есениным, как сообщает нам Рейн, но, главным образом, промахов он избегал и путал только себя. Причем путал до тех пор, пока не запутался. При этом все у него было под рукой — и записная книжка величиной с энциклопедический том, и идеальный архив, и, наконец, память такая, о которой не мечтали ни Пушкин, ни Фет, ни Есенин, ни Маяковский, ни, наконец, Евтушенко. А между тем и Пушкин, и Фет, и Есенин, и Маяковский, и, наконец, Евтушенко знали, что они не Довлатовы, а вот Довлатов путался. И тут возникает вопрос. А что, если Довлатов свою путаницу сам и

придумал, не спросясь ни у Пушкина, ни у Фета, ни у Есенина, ни у Маяковского и, наконец, ни у Евушенки? А если это так, то зачем ему это понадобилось?

Тут бы и кинуть пытливый взгляд в преисподнюю авторского замысла, извлечь из кипящего котла трапецию, клоунов, гладиаторов, хор и парабасу... И такая процедура оказалась бы, несомненно, по вкусу автору-эксцентрику и по плечу тем критикам Довлатова, которые глядели на его путаницу, высоко вздернув соболиные брови.

Предполагаю, что человечество за свою историю знавало больше гениев, чем людей, способных понять, что о них думают и как их оценивают другие. Особенно если принять в расчет, в нашем случае очевидный, что и оцениваемые, и оценивающие могут оказаться людьми, пришедшими в этот мир из мира гуманитарного. Известно, что гуманитарный мир населен людьми, обладающими, как и все, здравым смыслом, но таким, который несоизмерим со здравым смыслом людей, пришедших к нам из другого мира. Тут, как говорится, два мира — два Шапиро. Как-никак, а речь ведь идет о соглашении, о *sensus communis*. А тому, кто взялся примирять одного Шапиро с другим, нужен особый талант — талант убедить всех и каждого Шапиро в том, что он действительно думает так, как он должен думать по определению, то есть так, как думает за него весь его социум. Другими словами, тут нужно привести две модальности, «должен быть» и «есть», в такое соответствие, чтобы здравый смысл убеждающего автоматически улавливался здравым смыслом убеждаемого, — задача, скажут мне, непомерная. Однако именно этим талантом, непомерным, как мне только что подсказали, и бесценным, и в то же самое время недооцененным социумом по самым высоким меркам

здорового смысла, Сережа обладал в избытке. Он не только знал секрет того, как вычислить реакцию члена любого социума, но умел, как никто другой, произвести свои вычисления с хронометрической точностью, после чего использовать результаты в своих и высших целях.

Однажды Сережа был задержан контролером за проезд без билета. Как и необходимого билета, так и удостоверяющих его личность документов у Сережи не оказалось, в связи с чем возникла угроза привода в милицию. И тут случилось чудо. Сережа предложил представителю власти контракт, замешанный на точном знании законов здравого смысла, общих для себя, Сережи Довлатова, и для цеха контролеров, и был прощен. История была гордо занесена Сережей в анналы своего мифотворчества.

«„Я — Альтшуллер Лазарь Самуилович. Работаю в Ленкниготорге, Садовая, шесть. Живу на улице Марата, 14, квартира 9“. Все это было чистойшей ложью. Но контролер сразу же мне поверил. И расчет мой был абсолютно прост. Я заранее вычислил реакцию контролера на мои слова.

Он явно подумал: „Что угодно может выдумать человек. Но добровольно стать Альтшуллером — уж извините!“»

Если Сережа мог заранее вычислить тайную мысль контролера, человека чуждого ему социума, то что можно сказать о его способности рассчитать тайные мысли критиков и читателей, и особенно тех из них, что пришли в этот мир из мира гуманитарного, к которому Сережа сам принадлежал по праву? Не следует также забывать о том, что время на составление юридического договора с контролером было ограни-

чено жесткими рамками места и времени действия, как в античных жанрах, в то время как Сережин договор с читателями и критиками не ограничивался ни временными, ни пространственными тисками. Короче, и критики, и читатели Довлатова, приняв на веру безупречность его расчета в истории с контролером, признали за талантливым искусителем право на путаницу и вымысел. И вот путаница и вымысел легли в основу нового договора с читателем, выведенного под именем псевдодокументального жанра.

«Дело в том, что жанр, в котором я наряду с другими выступаю,— пишет Довлатов в „Невидимой книге“,— это такой псевдодокументализм. Когда все формальные признаки документальной прозы соблюдаются, то художественными средствами ты создаешь документ...»

Такой псевдодокументализм мог оказаться тем «Интернационалом», который при случае смахивал и на «арию Тореадора». Он был пригласительным билетом к путанице между героем и автором, между рассказчиком и автором, между рассказчиком и героем, между одним двойником и другим, между каждым двойником в отдельности и всеми двойниками вместе, между портретом и автопортретом, между бароном и бороной.

«К Довлатову из текстов Довлатова вряд ли применимо тыняновское понятие „лирического героя“ как художественного двойника, поскольку различия между героем и автором не существует... Главный персонаж — он сам...»

У Довлатова — сложный жанр — автопортрет», — помогают Сереже определиться по литературной части им же выращенные Петр Вайль и Александр Генис.

Юрий Арпишкин ищет для обозначения довлатовского жанра другое слово, а находит сразу два. С одной стороны, этот жанр похож на «исповедь сына века», а с другой — на маску «сибаритствующего циника». Чем же он, этот таинственный жанр Довлатова, такой псевдодокументализм, является на самом деле? Лично мне приходит в голову третья аналогия — из архива писателя Василия Аксенова. Приезжает очаровательный Василий Павлович, уже выброшенный на гребне славы на орбиту самых популярных и любимых авторов России нашей юности, в столицу Грузии и видит: у всех мужчин кепки такие, а у него хотя и есть кепка, в Москве, но другая. Ну, потоптался Аксенов вокруг галантерейных лавок, по дороге забрел в комиссионный магазин и вдруг видит кепку такую. При этом именно такую.

«— Вы,— говорит он продавщице,— эту кепочку для меня попридержите, пока я платить буду. Я — тут же вернусь.

Возвращается и видит. Продавщица эту его кепку в газету „Советская Грузия“ заворачивает. Подходит ближе. Не для него, а для здорового амбала в такой же кепке. Аксенов говорит:

— Вы тут не по справедливости рассудили. Я эту кепку уже давно присмотрел и чек в кассе пробил. И я вам это не просто так рассказываю, а говорю как журналист из Москвы.

А так как никто в его сторону не глядит, а час оказывается как раз поздний, побрел журналист из Москвы в тбилисскую гостиницу спать. Наутро просыпается бодрым. Раздвигает шторы. Небо синее. Солнце ласковое, грузинское. Птички щебечут. Благодать. Вдруг слышит окрик снизу. Выглядывает и видит вче-

рашнего грузина в кепке, поигрывающего ключом:

— Журналист, сука такая, попробуй выйди!»

Довлатову, прошу заметить, тоже кавказскому человеку, приглянулся именно такой псевдодокументализм. Спросите, какой такой? «Такой», в котором вымысел либо уже принят на веру, являясь «документом» по определению (и в этом случае его достоверность априорна вне зависимости от того, какими художественными средствами документ был создан), либо обязательно будет принят на веру, обещая прерватиться в документ в будущем (и в этом случае жанр претендует на своего рода пророчество, черпающее свою «доказательную силу» из веры в абсолютный источник — в Бога или какого-нибудь Савонаролу).

«Псевдодокументализм», таким образом, оказывается неким механизмом, который самопроизвольно, то есть без особого вмешательства его творца, совершает отбор фактов и их эволюцию (мутацию) в сторону вымысла. С такой же самопроизвольностью у читателя может возникнуть подозрение, что Довлатов заимствовал свое открытие у непревзойденного автора «*On the Origin of Species*». Обоих авторов связывает умолчание о цели, замысле или дизайне, под знаком которых совершается эволюция-мутация. Оставив критику Дарвина на попечение William Buckley и его сподвижников, которым это более сподручно, зададимся вопросом о том, зачем понадобилось автору Довлатову городить такой большой и такой цветущий огород? Зачем ему потребовался парадоксальный жанр «псевдодокументализма», вопиющий об отсутствии цели, замысла или дизайна?

Ну, начнем с того, что расчет был сделан, как и в истории с проводником, на то, что никто такой

замысел об отсутствии псевдозамысла не распутает, то есть на то, что читатель никогда не заподозрит автора в наличии какой бы то ни было особой, исключая «эстетическую», цели и, следовательно, примет на веру принцип воздействия такого псевдодокументализма, где желаемое становится действительным, а действительное, пройдя через строжайшие отбор и мутацию, через огонь, воду и медные трубы, а также через железнодорожный контроль на станциях и полустанках от истины к полуправде, от обезьяны к Богу, от Цусимы до Порт-Артура, от Сталинграда до Берлина, наконец остановится перед желаемым, приняв его в крепкие объятия действительного. И один потомок скажет другому:

— Сказать по справедливости, смешнее Довлатова я еще, право, никого не встречал. Как он их всех!

А другой потомок поддакнет первому:

— А главное, что себя не пощадил. И над собой посмеялся, не то что какой-нибудь Зощенко. Тот все над другими да над другими.

Авторская работа в контексте такого псевдодокументализма состояла в таком отборе и такой мутации, при которых в читательское подсознание внедрялся определенный, сильно приукрашенный литературный имидж автора в справедливом расчете на то, что в будущем, по формуле всех сбывшихся пророчеств, этот имидж выйдет из читательского подсознания на свет Божий, помножив вложенный капитал на дивиденды недаром прожитых лет.

— О каком таком расчете идет речь? — спросит меня недоверчивый читатель. Ну, обманул человек контролера, особенно если учесть, что с контролера не спросится. Но как можно провести всех читателей, в числе которых встречаются не только критики, но и умные, порядочные люди? И что значит «помножить вложенный капитал»? О каком капитале речь?

«Он как-то позвонил мне утром в половине седьмого,— пишет недоумевающий Вайль.— „Ты подвергаешь меня насмешкам, но я два часа повторяю фразу, которую сочинил: Завтра я куплю фотоувеличитель“. Суть восторга и теперь ускользает от меня, но я точно знаю, что ему, Довлатову, было известно больше, чем мне»,— сокрушается Петр Вайль.

Ему, Довлатову, было известно гораздо больше, чем когда-либо станет известно подхватившему довлатовские легенды читателю. Фотоувеличитель Довлатова, как и аналогичная деталь у Микеланджело Антониони, автора любимого фильма нашей молодости под названием «Blow up», являлся прибором такой важности и такого расчета, без которого нет документа и читательской веры в него. Как и у Антониони, результат работы автора с фотоувеличителем выставляется напоказ, но ненавязчиво. Расчет строится на том, что читатель, не способный увидеть того, что ему показывают ненавязчиво, попадет на удочку авторского вымысла.

«...У меня в связи с этим было много курьезных ситуаций, когда люди меня поправляли. Читая мои сочинения, они говорили, все это было не так, например, ваш отец приехал не из Харбина, а из Владивостока. Или история моего знакомства с женой несколько раз воспроизводилась в моих сочинениях, и каждый раз по-разному. Была масса попыток объяснить мне, как все это на самом деле происходило. Во всяком случае, правды, и документальной правды, и точности в моих рассказах гораздо меньше, чем кажется. Я очень многое выдумал».

Сережа, чьим факсимильным оттиском всегда являлся лишь документ, пусть искаженный, но всегда документ, обладал пренебрежительно малыми ресурсами по части фантазии. Однако по всей справедливости ему нельзя отказать в таком вымысле и в таком расчете, где событие, не выходя за рамки реального факта, оказывалось подчиненным задачам далеко не очевидным. Тут дело пахнет природным талантом, быть может, гениальностью. Но в чем? В чем может состоять гениальность вообще и гениальность такого псевдодокументалиста в частности? Гениальность, как любил сказать сам Довлатов, заключена в простоте. И тут бы ответить на недоумение читателей просто, по-довлатовски: «Скудость мысли порождает легионы единомышленников». Однако такой ответ может показаться некоторым единомышленникам слишком легкомысленным. Гениальность такого псевдодокументализма, равно как и образцы расчета такого псевдодокументализма, следует искать в самих образцах, желательно исповедального характера, скажем, в мемуарном сборнике «Наши».

«Я родился в эвакуации, четвертого октября. Прошло три недели. Мать шла с коляской по бульвару. И тут ее остановил незнакомый человек. Мать говорила, что его лицо было некрасивым и грустным. А главное — совсем простым, как у деревенского мужика. Я думаю, оно было еще и значительным. Недаром мама помнила его всю жизнь. Статский незнакомец казался вполне здоровым.

— Простите,— решительно и смущенно выговорил он,— но я бы хотел ущипнуть этого мальчишку...

Прошло тридцать два года. И вот я читаю статью об Андрее Платонове. Оказывается,

Платонов жил в Уфе. Правда, очень недолго. Весь октябрь сорок первого года. И еще — у него там случилась беда. Пропал чемодан со всеми рукописями».

Казалось бы, что ни слово, то документ, что ни документ, то подлинный документ. А главное, что все факты проверены с аккуратностью и педантизмом. Все оказывается именно так, как изложено у Довлатова. И статья о Платонове совпадает с датой. И визит в Уфу затянулся у Платонова на весь октябрь сорок первого года. И предание верно. Ущипнул Сережу в младенчестве незнакомец. Ну а если не ущипнул, то определенно заметил. И портрет документален. Разве не походил Платонов на «деревенского мужика»? А если и не походил, то родился же он в Ямской слободе, которую сам не отличал от деревни. Так что все совпадает вплоть до мельчайших подробностей. Ну разве не возможно такое, чтобы незнакомцем, ущипнувшим в детстве Сережу, был именно Платонов собственной персоной? Разумеется, возможно. Чего только в жизни не бывает.

Так где же, спрашиваем, лаборатория вымысла, так сказать, механизм создания документа «художественными средствами»? В малейших деталях, в незаметном движении материи, в шорохе, шепоте, шелесте листвы. Родился Сергей Довлатов в Уфе 3 сентября 1941 года, то есть за месяц до того, как там побывал, согласно газетной версии, Платонов. Это значит, что из-за пустячного временного сдвига автором «Наших» был упущен шанс пересечься биографиями с литературной знаменитостью. Родись Довлатов в октябре 1941 года, он мог бы с достоверностью претендовать на то, чтобы быть благословленным на творческий путь самим Платоновым. Ведь было же у них в семье поверье, что в эвакуации

Серезу благословил на что-то незнакомец. Почему бы незнакомцу не оказаться Платоновым и почему бы Серезе не родиться 4 октября? Разве не выступал Платонов на своем веку в роли незнакомца? А Сереза тоже мог, как говорится, приобрести свои черты до опыта.

Так из документа возникла литературная легенда, ключевым моментом создания которой является допустимая таким псевдодокументализмом вымышленная подмена: «Я родился в эвакуации четвертого октября». Казалось бы, что может быть проще и невиннее перестановки дат. А какой эффект! Одним росчерком пера неизвестным автором было положено начало нового литературного имиджа, претендующего на соизмеримость с имиджем величайшего автора России, аналогичным образом получившего свое первое напутствие от литературной знаменитости («Старик Державин нас заметил...»). Вот уже и часовой механизм приведен в исполнение. Когда-то сбудется пророчество? И действительно, не прошло и десятилетия, как Серезе вдогонку несется желанный перепев им же сделанной заявки на бессмертие.

«...Но у своей колыбели писатель Д. хотел бы видеть Андрея Платонова... „Было ли это так на самом деле? Да разве это важно?! Думаю, что обойдемся без нотариуса. Моя душа требует этой встречи“» (Игорь Сухих. «О ремесле писателя Д.»).

Чтобы оценить по достоинству размах предпринимательского задора Довлатова, так сказать, представить себе масштаб его полета, необходима точка отсчета. Вспомним, что у Чехова, как рассказывает нам Бунин, тоже было две даты рождения. В метрическом свидетельстве было указано «17 Генваря 1899 года»,

а в семейном предании значилось 16 января 1899 года. Могу себе представить, какие возможности открывались для Чехова, с его-то фантазией, на почве этой путаницы! Захоти, например, он получить напутствие у Толстого, перед которым он благоговел, то есть найди он в себе достаточно предпринимательского задора для того, чтобы пересечься биографиями с Толстым, он мог бы написать что-нибудь вроде того, что, дескать:

«Я родился 20 января. Прошло три года. Толстой написал ответ шведскому обществу писателей и ученых: „Милостивые государи! Назначение не мне Нобелевской премии было мне вдвойне приятно: во-первых, тем, что избавило меня от тяжелой необходимости так или иначе распорядиться деньгами, которые считаются всеми нужным и полезным предметом, мною же — источником всякого зла; во-вторых, тем, что послужило поводом к выражению мне своего сочувствия уважаемых мною людей, за которое от всей души благодарю“. И этим письмом Толстой предначертал мою дальнейшую судьбу, во всяком случае избавив и меня от двойной ноши — от необходимости распорядиться деньгами и от бремени Нобелевской премии».

При этом, позволь себе Чехов, подражая Довлатову, такой невинный вымысел, он бы все равно не ушел далеко от истины. В каком-то смысле он обладал толстовским презрением к брэнному металлу, если поверить в то, что Толстой был тем лицом, каким любил предстать перед читателем. Как известно, Чехов писал сестре в зрелом возрасте: «Денег у меня

нет. И если бы не способность жить на чужой счет, то я не знал бы, что делать».

При этом, получи Чехов Нобелевскую премию, ему вряд ли пришлось бы в голову хвастаться своим умением жить за чужой счет, а Бунин мог бы оказаться обделенным той Нобелевской премией, которая попала к нему вместо Чехова. Не исключено, что Бунин, лишенный Нобелевской премии, как раз бы предпочел компанию Толстого, в связи с чем написал бы воспоминания о Толстом, а не о Чехове.

«Вы только подумайте,— воскликнул бы Толстой вместо Чехова.— Ведь это я написал, что Анна сама чувствовала, видела, как у нее блестят глаза в темноте».

Представьте себе далее, что Бунин сознавался бы в своих мемуарах о Толстом, что тот «чуть не час решал, в каких штанах поехать к Чехову... Выходил несколько раз из комнаты в новых штанах и сам же себя гнал назад: „Нет, эти неприлично узки. Подумает: щелкопер!.. А эти шириною с Черное море! Подумает: нахал!“»

Разумеется, не мне одной оказалось что добавить к вопросу о Сереевском псевдодокументе. В задумчивости о нем предстал читателю и Владимир Бондаренко, озаглавивший свой опус «Плебейская проза Сергея Довлатова».

«Этакая псевдодокументальность, приближительная вспоминательность, когда в свои шальные рассказы он вставлял абсолютно подлинные имена. Даже скандальный катаевский мовизм „Алмазного венца“ был прикрыт псевдонимами...

Когда вышел „Заповедник“ Довлатова, старожилы обидчиво переживали, встречая себя на страницах повести.

Ленинградский журнал „Костер“ замирал, слушая по „Свободе“ очередной рассказ Довлатова о его работе в „Костре“. Кого-то потом таскали на ковер в обком и КГБ, кто-то, избитый стукачом, потрясал кулаками в интеллигентских компаниях... „Он в своей прозе приписывал мне чужие каламбуры“ (С. Вольф). „Я в самом деле один из персонажей этой... книги. И как персонажу мне «неуютно»...“ (А. Найман).

Он не стеснялся ошибаться, а может быть, даже делал это преднамеренно. Он как бы сознательно спутал все жанры: мемуары, новеллу, эссе, анекдот. По сути, конечно, это был аморальный прием. Откуда эта сниженность критериев?

Василий Шукшин писал: „Самое мелкое, что может быть, это рассказ-анекдот“.

Довлатов в центр таких анекдотов ставил людей из своего круга. Он как бы бил по своим — по всей интеллигентско-диссидентствующей братии. На его булавки нанизывались Приставкин и Битов, Горбовский и Евтушенко, Наум Коржавин и Лимонов. Этакий „новый журнализм“. Может быть, единственное, что изобрела третья эмиграция, „новый журнализм“ — Эдуарда Лимонова, Валентина Пруссакова, Александра Глезера, в чем-то Саши Соколова, Александра Зиновьева, позднего Виктора Некрасова и, конечно же, самого Сергея Довлатова. Принципы поэзии, перенесенные в прозу. Герой Лимонова — Эдуард Лимонов. Герой Довлатова — Сергей Довлатов. „Я и все вокруг меня“. В пьяном бреду, в постели, на симпозиуме, в драке. Все знакомое вываливается на читателя. „Нон фикшен“ — документальная проза, где в центре сам автор...

„Приставкина читать не буду. Я их не читаю уже лет двенадцать. Не думаю, что за это время они превратились в Шекспиров“.

Самый главный парадокс анекдотической прозы Довлатова в том, что изначально, с первых шагов, находясь в окружении либеральной интеллигенции и совершенно не зная почвеннического направления современной русской культуры, весь свой сарказм, весь наработанный цинизм, всю конвойскую беспощадность он вымещает на этом окружении. Этим он на самом деле похож на Чехова, беспощадно высмеивающего беспомощных и вялых дядей Ваней, трех сестер и прочих обитателей вишневых садов. Только у Довлатова эпоха другая и интеллигентность не та...»

Однако статья Владимира Бондаренко оказалась допущенной лишь к задворкам высокой прессы, оставив стрелу, напоенную довлатовской изобретательностью, в предписанном ей эскулапами покое, то есть в самой глубине читательского сердца. Так чем же, спрошу я, мог довлатовский псеводокумент так приглянуться не чуждому враждебности читательскому сердцу? Когда-то Донат, передавая творческий опыт своему еще не причастному к литературе сыну, поделился с ним одним наблюдением.

«Понимаешь, Серенький,— говорил Донат Сереже,— в писательском деле есть свои секреты. Вот, например, у меня. Встаю утром. Завтракаю. Иду к письменному столу. В голове ни единой мысли. Подхожу. Сажусь. Пустота. Вкладываю в машинку чистый лист бумаги. Печатаю два слова, представь, всего лишь два слова, и тут начинается магия. Я переполнен

идеями. Все рифмуется со всем. Я исписываю множество страниц бумаги. Я создаю шедевр дня. Ты хочешь, чтобы я передал тебе мой секрет? Он в этих двух словах: „Донат Мечик“».

Надо сказать, что, вняв уроку Доната, Сережа, по его собственному признанию, тоже начинал словотворчество, нанося на чистую страницу магические два слова: «Сергей Довлатов». И едва они оказывались преданными бумаге, Сережа воспарял сам, попирая свой ущербный круг «дикарей, шизофреников и подонков», с тем чтобы на их фоне одержать нелегкую победу над той или иной знаменитостью. По случайному совпадению, по независимому стечению обстоятельств Сережа вдруг оказывался чуть выше знаменитости, на два порядка ее умнее и острее, не говоря уже о проворстве и, разумеется, благоприобретенных навыках, причем если не в живописном деле, то в литературе, если не в литературе, то на журналистском поприще, и если не в писании вообще, то в чистописании, а если ни в том, ни в другом и ни в третьем, то уж непременно в науке, то бишь в той науке, которую воспел Назон, за что страдальцем кончил он, говоря языком поэта.

О солнечном круговращении

Здесь, засыпая, он думал свои буддийские мысли о солнечном круговращении всего, о торжестве свободы и необходимости, о легкости мира, который так легко сдунуть с себя, как оцепенение золотой послеобеденной сонливости, а внизу на несколько верст под ним нестерпимо торопливо, тяжело, тревожно начиналось короткое, как гроза, счастье Олега, быстро должествующее смениться столь долгим и тяжелым ливнем слез.

Борис Поплавский

«Пути вдохновения неисповедимы», — непринужденно говорил Саша Соколов, воспарив исповедальной нотой из географического места точек в 850 км к югу от Северной Пальмиры, возможно имея в виду сказать, что пути вдохновения исповеди не подлежат, хотя вполне подлежат причастию, деепричастию и, при особом попечительстве природы, онтогенетическому контролю. Не исключено, что вдохновению автора «Палисандрии», равно как и вдохновению автора псевдодокумента, было что скрыть от любознательного читателя по части пренуптциальных потерь и постматримониальных приобретений.

Однако вдохновение Саши Соколова, частично вырвавшееся из цепких читательских пальцев, а частично распятое, хотя в целом не чуждое тревоги, оказалось свободным от гордого парення, ибо какой гордыни прикажете ждать от дивной куколки в пыльнике из креп-жоржета и в пыльце, что липнет к суконной поддевке, будучи равнодушной к габардиновой? К тому же если авторское вдохновение испол-

нено особой требовательности к читателю, призывая его, на манер вдохновения Саши Соколова, стать такой же тревожной куколкой, как и сам автор, или, скажем, навести ружье ввысь, облачась не в сапоги, выражаясь в терминах охотников, а в лапти и свежие онучи, то такому требовательному вдохновению не подыскать нам ни наперсницы, ни, на худой конец, доброй соседки. А посему нам ничего другого не остается, вернее, не осталось, как лишить Сашу Соколова причитающейся ему по счету славы, предварительно поскорбев и посочувствовав лишенцу.

К тому же слава, она, как ордер на жилплощадь, выдается только тому, кто свой иск уже урезал до аршинного клочка, и хоть автор «Палисандрии» и заявлял неоднократно, что жить и пошло, и вредно, настаивая на том, чтобы его услышали тени забытых или вовсе разбросанных по соловьиным садам безымянных предков, все же, в сравнении с Довлатовым, оказался он, по сути, голословен, хотя ему тоже случилось явиться без звонка, а однажды даже с запонками наизнанку.

Мне скажут, что по части сюжетов каждый из них был по-своему стеснен. Конечно, конечно, отвечу я им. Но Соколов мог выйти из беды, аскетически завернувшись в доху из бобра и выхухоли, то есть вольно стеснив себя в повадках и напирая лишь на хмарный закуток собственной фантазии, которой ему было не занимать. Сереже же, которому, насупротив, только и было, что занимать клочки и закоулки той самой фантазии у непризнанных и нерасторопных гениев от литературы, ничего не оставалось, как ждать, раскинув сети по обе стороны Рубикона. Однако в то самое время, когда завернутое в доху из редкого зверя вдохновение Саши Соколова стояло вполоборота, не отбрасывая даже и тени от славы талантливой Сережи, сам талантливый Сережа уже

держал в сетях своего вдохновения золотую рыбку немеркнувшей славы, дав на многие годы и весны трудоустройство для тех, кто в сердце своем уверовал в магию псевдодокумента.

В дискантном хоре апологетов таланта Довлатова, обрушившемся однажды ночью, под бледное сияние полярной санкт-петербургской «Звезды» был подан к поминальному довлатовскому столу не один пирог из дрожжевого теста. Женя Рейн начинил свой сдобный пирог такой сагой, которая могла бы накормить Серезиных мифотворцев не на одно десятилетие вперед.

На смену рейновскому пирогу с сагой пришло посмертное подношение из московской ниши. Прозвучал голос мемуариста Анатолия Наймана, «Толечки», с чьей легкой руки в первых рядах пропели: «талант», «избыточный талант, талант всех талантов...». Не это ли слово грезилось Серезе в дерзких мечтах на меловой бумаге? Но Найман не потому зовется мудрым, чтобы раздаривать то, о чем могут пропеть в первых рядах. «Талант» и «избыточный талант», пропетые Серезе вдогонку, оказались преподнесенными Найманом по-наймановски, то есть с изнанкой. Хотя Толя и провозгласил Серезю талантливой личностью, однако он, вероятно, имел в виду нечто позаковыристее, например не личность, равную себе, а личность «как замысел», как мечта, как потенция таланта, но так похожая на талант, что отличить одну от другого оказалось делом невозможным, особенно для обитателей первого ряда, разгоряченных от хорошего пения.

«Он был наглядно талантлив, бесспорно талантлив, талантливо талантлив,— писал лукавый Толя о талантливом Серезе.— Из всех своих возможностей проявить талант он выбрал лите-

ратуру. Потому что это занятие ему в общем нравилось... Он был много одареннее писателя Довлатова, хотя он мог предъявить свои достижения „по гамбургскому счету“ и к литературе. Подозреваю, что писательство было для него еще и средством отгородиться от порядков и людей, так или иначе терзающих каждого. Он был ранимый человек, и своими книгами защищался, как ширмой».

Что произойдет за пределами этой потенции? Кем станет та личность, которая не равна себе, Сережа Довлатов, еще одно десятилетие спустя? О ком и о чем эта личность напомнит своим потомкам, а главное, кому напомнит? В чем или в ком отразится ее талантливость и ранимость? Сможет ли она, талантливо талантливая, но и ранимая, предъявить свои достижения в литературе по «гамбургскому счету»? А если не по-гамбургскому, то по какому еще? Чего следует опасаться талантливой личности после смерти? Что припасла она, талантливо талантливая сегодня, на завтрашний день? Что есть талант — способ самовыражения или тема творчества? А если творчество приобретет размах, который одним талантом выразить невозможно, что тогда? Одолжаться у других талантов, переходя с ними на «ты»?

«Да, есть похвальба,— пишет Довлатов Игорю Ефимову.— Мне позвонил Бродский, сам. Хвалил рассказ в 19-м „Континенте“. Сказал, что будет говорить с переводчиком. И заниматься моей очередной книжкой по-английски... В заключение сказал: „Кажется, мы 20 (лет) были на Вы?“ Что хуйня. Мы лет двадцать на ты. Что с гения возьмешь? Даже такой звонок сумел отравить».

Короче, чего только не таила в себе и от себя наймановская лукавая ниша, тоже, как и Бродский, никогда не сказавшая «ты» талантливому Сереже.

«С талантом, как и с деньгами, дело обстоит так: талант либо есть, либо его нет», — шутливо заметил один талантливый прозаик, по-видимому имея кого-то в виду. Более полувека спустя ему возразил, хотя и вовсе не шутливо, не менее талантливый композитор, тоже нацелившись на определенное лицо. «Деньги, — сказал Дмитрий Шостакович, — дело такое. Сегодня их нет, а завтра они есть, в то время как с талантом все куда сложнее: если его нет, то нет надолго и всерьез».

Конечно, трудно, оказавшись в положении модного писателя, смотреть на начало своей славы глазами человека, не поддающегося на провокации моды, как это делал, скажем, Лермонтов, который, находясь в величайшем фаворе и наблюдая, как перед ним заискивала толпа, не мог не заметить, что недалек тот час, когда его начнут преследовать клеветой. Сережа, обделенный лермонтовской пронизательностью, напротив, терпеливо, а порой даже с большим волнением ждал своего звездного часа, веря в благодарность толпы. Конечно, размеры своей славы он вряд ли осознавал, однако за непредсказуемостью будущего маячил один предсказуемый момент настоящего. Сережа нес свою жизнь на заклание одному Богу — нестандартному образу себя. «Неповторимость любой ценой», как сказал ему вдогонку товарищ юности Игорь Ефимов.

Но в чем же могла заключаться неповторимость писателя, всю жизнь гонящегося за чужими талантами, не доверяя своему? Если задать этот вопрос американскому слависту, причем задать его, следуя западной традиции поминовения покойника, в терминах «Dovlatov's legacy», то ответом будет то, к чему

так усердно вел своих читателей сам Сережа: Довлатов подарил потомству новую эстетику. Он лаконичен, прост, доступен массам, афористичен. Ведь не случайно о его таланте запели фальцетом, дискантом и наперебой — «эстет, эстетствующий, эстетство».

«Я бы назвал этот принцип — эстетством. Да-да. Довлатов исповедовал известную концепцию — искусство ради искусства...» — рассуждает о даре Довлатова Александр Генис, не иначе как позаимствовав понятия «концепции» и «принципа» из оккультного дискурса.

Ну, коли речь идет о таком высоком и прекрасном, то зачем же, спросят меня, вам так приспичило Сережу Довлатова обездолить, лишив его того необходимого и того неотъемлемого, без чего ему так трудно дышать горным воздухом чистой литературы, открывшимся ему на диком Западе? Зачем понадобилось вам подвергнуть Серезину всеподкупающую простоту и скромность, ту тихую гавань всех его талантов, проверке на патентную чистоту? Почему бы не принять на веру тот громкий голос из хора, что воздал ему, скромному и простому, за ту ясность, без которой нет приюта ни скромности, ни простоте?

«Сергей Довлатов выработал свой почерк, который никогда не спутаешь ни с чьим. Он пишет просто и целомудренно», — откликается Фазиль Искандер.

«Рассказчик, писатель Д. — простодушен. Но стиль Сергея Довлатова не так прост, как может показаться», — соглашается Игорь Сухих.

«О себе он всегда отзывался с исключительной и необычной для так называемой писательской

братии скромностью, но читатели и слушатели ставили его гораздо выше, чем он ставил себя...» — перекликается со товарищи Владимир Войнович.

«...Мне кажется, тут и лежит разгадка довлатовского творчества... литература его проста, но эта простота обманчива. Хотя проза его прозрачна, эффект, который она производит на читателя, загадочен», — пишет неутомимый Александр Генис.

А в чем, отбиваюсь я от солистов хора, заключается эта довлатовская простота? Ведь в коротком жанре: в репризе, мистификации, афоризме, каламбуре, эпиграмме — простоты не сыщешь, разве что под микроскопом, да и то не иначе как после дождичка. Мне возражат, что краткость и в России, и за ее пределами всегда выдавалась за сестру таланта. Но ведь краткость есть всего лишь родственница таланта, возражу я, чуть ли не кузина, то есть особь, не удостоенная наследственных привилегий в правовых державах, седьмая вода на киселе. Не говорите, отвечают мне, ведь оценить довлатовскую эстетику и простоту оказалось уделом многих, хотя, конечно, вдохнуть в нее жизнь после жизни привелось лишь одному, так сказать, Богом посланному наследнику и, по мысли наблюдательного Владимира Бондаренко, «законодателю эмигрантской прессы».

То-то же, думаю. Речь, видать, идет о вдохновении наследника доходного довлатовского бизнеса. Хотелось бы, думаю, получить кой-какое представление о том, как выглядят «окрестности» доходного бизнеса. К тому же неплохо бы, распаяю я себя еще больше, хоть одним глазком взглянуть и на самого наследника, расстелившего собственное богатство

в «окрестностях» чьей-то славы. Не утомился ли? Не мутны ли у него глазки? В общем, открываю рукопись под коллективным заглавием «Довлатов и окрестности». Заглавие, что греха таить, пока еще российской грамматикой не узаконено, хотя, как говорится, есть надежда. К тому же в заглавии ли дело? Листаю. Жду. Чего же ты ждешь? — спрашиваю себя с пристрастием. Не афоризма ли? А коли его, то афоризмов тут такое море, успокаиваю я себя и начинаю разбирать по складам.

«У довлатовской прозы легкое дыханис, потому что его регулирует впущенная в текст пустота».

«Сергей дерзко разбавлял тривиальностью свою тайную оригинальность».

«Синтаксис Сергей и правда упразднил».

«Поколение, к которому примкнул Довлатов, женщин ценило больше семьи и работы. Отчасти потому, что в России волокитство носило диссидентский оттенок».

«Довлатов шел другим, им же проторенным путем. Он упразднял противоречия. На этот раз — целомудрия и чувственности».

«Другое дело, что секс у Довлатова всегда описан по касательной».

«Подменяя тело вещью, художник превращает половой вопрос в теологический».

«Животная природа художественного дарования всем нам казалась бесспорной. Вопрос в том, исчерпывает ли его частое употребление».

«Больше тайны пола Сергея волновало таинство брака».

Когда случилось петь С. Д. и мне

«Раньше у меня не было записной книжки, но из-за Довлатова и я полюбил почту».

«Почта напоминает мне довлатовских героев. Своему обаянию она обязана неэффективности, в ее случае — медлительности».

«Гносеологическую проблему, которую водка ставит перед человеком, сильно упрощало то, что раньше у меня не было непьющих знакомых».

«Способность выйти за пределы себя и повседневности — слишком редкий дар природы, чтобы вернуть его неиспользованным».

«В России быстро нашли оправдание ранней смерти Довлатова».

Имеется ряд крылатых наблюдений на тему о литературных «окрестностях» самого Довлатова.

«Сэлинджер стремился к невербальной словесности. Из языка он плел сети...»

«Впрочем, в фолкнеровской апологии порока Довлатову, как всегда, ближе была не теологическая, а эстетическая софистика».

«Хемингуэй, как танк, проехал по прозе всего поколения, но на довлатовской литературе он оставил не так уж много следов».

«...Сергей взял у Хемингуэя не только скупую слезу, которая иногда орошает довлатовскую страницу, но и знаменитые дырки в повествовании».

«Дороже искусства Довлатову была личность Бродского... Сергей завидовал не Бродскому, а его свободе».

«С Бродским Довлатова объединяла органичность, с которой они вписывались в этот горизонтальный пейзаж».

«Довлатов любил Пушкина за то, что в этом большом человеке нашлось место и для маленького человека».

В размышлениях о Довлатове возникла и самостоятельная тема, нечто вроде «Философии в афоризмах».

«В отличие от природы, литература состоит из неповторяющихся явлений. Если они повторяются, это не литература».

«Со словесностью можно разобраться только на ее условиях».

«Беда в том, что эмигрантская ситуация норовит перерасти в метафизическую, с которой уже вынужден считаться каждый пишущий».

«Любовь к родине, действуя в обход сознания, возвращает нас даже не к животным, а к растениям».

«Избирательность своих капризов память маскирует».

В год поступления Сережи в университет все университетские коридоры были заполнены солдатскими шинелями, которым было объявлено предпочтение перед не служившими в армии абитуриентами. Однажды после лекции по советской литературе, когда было упомянуто постановление Жданова о журналах «Звезда» и «Ленинград», с нами из зала вышел один из будущих филологов, похожий на ханыгу.

— Что Зоценко пишет пасквили на действительность,— сказал он,— никто не спорит. Но у него есть и наблюдения, например, что в «Бане» номерок некуда девать. А разве это не так в действительности? Может, за наблюдения его и взять на поруки? — И он самым отвратительным образом подмигнул нам.

Не дожидаясь его исчезновения, Сережа сказал:

— Вот ведь повезло Михаилу Михайловичу. Дождался наконец похвалы.— А потом после паузы добавил: — Самое унижительное в жизни, это когда тебя защищает полное ничтожество.

Спуститься до самого дна

Первый шаг по крутизне было легко сделать, вернее, легко, шутливо храбрясь, было на него решиться, хотя сердце отчаянно ныло и вся природа возмущалась против этого, но когда, уцепившись между небом и землей, они понимали, что, если не смогут спуститься до самого дна, им придется опять ползти вверх по эдакой круче, в области живота и паха у них делалась такая щемящая мука, что они дорого дали бы, чтобы все это было бы только сном, и проклинали молодецкую фальшь, толкнувшую их на все это.

Борис Поплавский

— А что,— обрываю я себя на полуслове,— если мои рассуждения в этом самом месте вызовут чью-то зевоту?

— Почему именно в этом месте?

— Честно сказать, не знаю, почему в этом. Мне просто так показалось... Вернее, не то чтобы просто показалось, а так, особо повторять не хочется.

— При чем здесь повторять? Тебе что, жаловались на скуку?

— Да нет, особо никто не жаловался. Однако если уж читатель сильно настаивает...

— Да с чего ты взяла, что он настаивает?

— Разве я не вижу? Весь красный сделался и ножкой ножку бьет, быстро так, что в глазах рябит.

— Ну, раз бьет, надо признаться.

— Да уж я и сама вижу, что надо. Так вот. Прочитал мою рукопись намедни сам А. А. Одобрил и даже ни разу не зевнул, пока до этого самого места

не дошел. По мне, так хорошо, что хоть до этого места дошел, и если поверить, а как человеку не поверить, да еще А. А., ни разу не зевнул.

— А там,— говорю ему,— уже совсем немного осталось. Авось доскочите. Можно ведь и бочком...

Но А. А. наотрез не хочет бочком.

— Здесь,— говорит,— в этом самом месте, надо в новую дуду подудеть. И тогда... Бог не выдаст, свинья не съест.

«Подудеть-то подужу,— думаю,— мне-то что, а вот угожу ли я А. А.?»

А для кого, собственно, весь этот выпендрей? — спросит меня вдруг строгий голос уполномоченного по досугу и внеочередным отпускам и искам, от которого даже люди, склонные к трудовой повинности, обычно вздрагивают. Кто, собственно, вас на нее подрядил? Надеюсь, вы отдаете себе отчет в том, что ваша деконструкция дорогого, бархатного, саржевого Сережи ставит вас в положение человека, подвергающего себя напасти со стороны сердечных артерий, не говоря уже о прочих судах, сосудах, ссудах и пересудах, а возможно, даже со всех двадцати четырех сторон, откуда уже несут ему, сердечному, кипящий консоме парижского образца и бьющихся в поклонах шаловливых парижанок?

Готовы ли вы к такому переплету или ждете иного, какие ни в природе, ни даже в сфере искусственного интеллекта не встречаются, типа того, что из розового креп-жоржета с бархатной портупеей цвета солдатской юности Грушницкого? Небось утешаете себя мыслью, что удастся сбросить Довлатова с корабля современности и, по образцу и подобию «убит поэт, невольник чести», примоститься на задворках его немеркнувшей неволи?

Мне не то чтобы с этими вопросами не справиться. Но просто хочется сначала разогнаться откуда-нибудь издалека, набрать скорость и, может быть,

даже высоту, а потом уже как-нибудь бочком-бочком да и в самое что ни на есть слобное тесто со всего то есть духу. Набокова тоже спрашивали. А чего, собственно, вы разразились своей Лолитой? Могли бы написать, скажем, Вассу Железнову или Леди Макбет Мценского уезда. А вы все свое заладили: Лолита-Лолита — Долорес Гейз. Вопрос, видимо, пришелся Набокову весьма и весьма против шерсти. Вот он взял и отбрехался. «А что,— написал он беспомарочно тому журналисту, которому приспичило, наклеив на конверте марку с портретом Майн Рида или Пласидо Доминго.— Пишу, себя потрафляю, другим не мешаю, тружусь на нелегком поприще бытописания нимфеток, а если кто в моих писаниях узреет гражданский пафос или какую ни на есть мораль, так на-кось выкуси». Короче, взял Набоков и отвертелся, журналиста отлукоморил, себя слегка припудрил. Хотел, конечно, иначе.

Все мы вышли из гоголевской шинели. Позвольте, а была ли у Гоголя шинель? Он ведь умер-то вовсе от голода. Если бы была шинель, то продал бы ее к такой-то матери да выкушал что надо и цел остался. Да и умер сей сирый человек при плачевных обстоятельствах, так и не дождавшись публичных чтений, хвалы, хулы, интервью и прочего хождения в народ, когда у человека, можно сказать, и выхода другого нет, как врать на чем свет лежит, лишь бы выжить. Так что Гоголь во вранье не был уличен. Только, Боже упаси, не подумайте, что он вообще ни в чем уличен не был. Не один гражданский пафос был разменен без остатка на то, чтобы Гоголя уличить. Причем во всех смертных грехах. Однако не во вранье. В этом, можно сказать, нашему великому соотечественнику сильно повезло. Злые языки, конечно, скажут, что увильнул. Кабы дожил до наших дней да начал давать одно интервью в полдник, а второе

перед вторым завтраком, то сразу бы раскололся. Наврал бы с три короба. Тем более с желудком у него того. Ел много, а не переваривал. Конечно, и со злыми языками можно не согласиться. Понимаю, что чревато, но отчего не рискнуть. Просто мне как раз в голову втемяшилось, что если покопаться, то оказывается, что Гоголь сам себе однажды интервью учинил, ровно как в свое время Леонардо, возможно, даже натошак.

— А откель ты, батюшка,— строго экзаменовал он свое подсознание,— своих чичиковых-сквозник-дмухановских, мать их ети за ногу, извлек? Из какой такой Палестины на свет Божий выволок?

— Так вон оно ж я самый такой. Из себя все и черпаю, пока черпальник не избыл,— печально отвечивал себе Николай Васильевич и подмигнул сквозь слезы.— Я и есть тот самый чичиков-сквозник-дмухановский. Вот.

Конечно, Гоголю до Набокова было что ежу до егермейстера, условно говоря. Тщедушный был мужчина, не то что Довлатов. А вместе с тем с того дня, что Гоголь сам себя строго допрашивал, пытал и ногти драл почем зря, утекло много воды. Да и Россия существенно отодвинулась. В дымку ушла. Так что однажды, пребывая в Зермонте, когда уже звонили к обедне, а возможно, когда уже и отзвонили, на ярко-синем небосклоне (определенно на ярко-синем) появилась фигура Владимира Владимировича, носившаяся в своем лепидоптерическом бреду с сачком в руках. Конечно, он вовсе не носился почем зря, как вы, вероятно, его представили, а с расчетом. Выбирал бабочек-монархов, да и тех из них, что уже прожили свой век верой и правдой и просились на покой. На фоне этой идиллической картины представьте себе тормоза «роверов» и запах жженой резины. Короче, журналисты из Би-би-си, в костюмчи-

ках, ботиночках и галстучках ярко-синего цвета (определенно ярко-синего), отловили лепидоптеролога и подвергли его истязанию в духе самоновейшей журналистской риторики.

— Поведай,— забеспокоились они,— о своем писательском таланте. Что это за зверь и как он соотносится со страстью вообще и страстью к лепидоптере в частности.

— Писательский талант,— степенно ответствовал терзаемый страстью в обоих амбициозных направлениях сын своего отца и внук своего деда Набоков,— это прежде всего искусство, на манер «Мадам Баттерфляй», в котором «поэтическая точность» высоко сочетается с «возбуждением чистой науки».

Мне скажут, а хули, собственно, писателю избегать своих дорогих сердцу и недешевых в прочих отношениях амбиций? Писатель, можно сказать, призван к тому, чтобы нет-нет да и поамбициозничать, а потом взять и выстроить себе один нерукотворный памятник по образу и подобию леонардовского «Коня», не больше и не меньше. А потом сразу же другой. То бишь другой памятник. Поэтому начать действовать следует загодя, скажем, четырнадцать лет загодя, как Леонардо начал со своим конем. Охотно соглашусь.

Однако при сравнении, к которому несусь, как Камю от чумы, возникает такая центростремительная сила, при которой оказывается, что нерукотворный памятник, который сколупал себе Гоголь или, скажем, Леонардо и Камю, был высласчен другой помадкой или другой карамелькой, нежели тот, с которым попивали свой чай вприкуску с нами за нашим пиршеским столом аристократ плоти Набоков или демократ духа Довлатов. И тут дело даже не во временных или пространственных реалиях, даже не

в том, что Набоков, как отчасти и Довлатов, видел в своем зеркальном отражении сплошную бочку меда, которой не могли, как ни старались, разглядеть в нем другие, а в других тот же аристократ плоти видел ту ложку дегтя, которая упрямо исчезала с его горизонта при безучастном взгляде на себя. Дело, повторяю, не в реалиях, а в мечтах и фантазиях и в некотором смысле даже в моделях и модах. Набоков, например, носил свои амбиции под апплике, то есть по стандарту римских патрициев, живущих этажом выше исполнителей комедийного жанра, а рисовал себя, на манер египетских фараонов, только в фас, хотя профиля вовсе не был лишен.

Не сомневаюсь, что Зигмунд Фрейд, чей портрет в нашей гостиной ни аристократ Набоков, ни демократ Довлатов в упор не замечали, мог бы отыскать у обоих океан прочих особенностей за пределами римских и египетских канонов. Однако даже в отсутствие Зигмунда Фрейда набоковский памятник, как, впрочем, и довлатовский, страдал притязательностью сахарной болезни, которая, будучи неизлечимой, капризно требует постоянного лечения. При этом сам Набоков отрицал все, что имело свойство быть отрицаемо. Если у Набокова, например, простодушно спрашивали:

— Как вам нравится, когда вас интервьюируют? — он отрицал наличие в вопросе слова «нравится» и отвечал надменно:

— Ну, такая роскошь, как разговор о себе, безусловно, принадлежит к разряду сенсаций, которые я не должен презирать.

А если находились смельчаки, бросавшие Набокову вызов типа того, что «интервьюеры не находят вас особо стимулирующей личностью», Набоков отрицал понятие «интервьюеров» вместе с понятием

«стимулирующей личности» и долго говорил сам с собой:

— Я горжусь тем, что не снискал публичного признания, и тем, что ни разу в жизни не напивался, а также тем, что никого не удостоил школьным ругательством из трех букв. А еще я никогда не изнурял себя трудом конторским или в шахтах рудников... И (последнее) ничто не вызывало у меня такой скуки, как политическая литература и романы социального толка.

— И все же,— не унимался отважный интервьюер,— есть ли в вашей жизни то, что затрагивало бы ваши эмоции, что подпадало бы, так сказать, под определение нравится / не нравится?

— Я презираю глупость,— отвечал, отрицая вопрос отважного интервьюера, Набоков,— репрессию, криминальную деятельность, жестокосердие и звуки приглушенной музыки. В число моих удовольствий входят наиболее яркие из известных человечеству — писательский труд и охота на бабочек.

И тут возникает такой вопрос. Зачем понадобилось Набокову, состоявшемуся писателю и человеку, у которого хватало досуга на то, чтобы не только писать, но и носиться за бабочками с сачком в руках, представлять себя глухим и чванливым честолюбцем? Ведь, окажись Набоков в реальности тем шутком, каким он представлялся другим, сам того не ведая, или тем фанфароном, в чье одеяние он пытается облечь свою брентную плоть, позируя перед интервьюерами, человечество, и прежде всего Россия, лишилось бы одного из своих любимых авторов.

— Зачем же,— допытываюсь я,— писателю Набокову понадобилось так безжалостно и так жестоко обирать себя, при этом не без риска полностью умертвить интерес к себе со стороны им обобранного человечества?

— Тщеславие,— скажут мне,— наша общая болезнь. Эпидемия сердца. Без него нет акта творения и нет творца.

Допустим, тщеславие. Но как же объяснить тот факт, что Набоков не добился популярности в своем отечестве, а Довлатов добился? В тщеславии не было отказано ни тому ни другому.

Первым приходит в голову логическое объяснение. Каждый автор, получивший в вечное пользование препараты вымысла, не может не проверить работу этих препаратов на шлифовке собственного образа, и, скорее всего, не одного. Двойники писателя, вероятно, множатся по числу вымышленных им персонажей. И если в реальной жизни все происходит в согласии с таким принципом умножения, то Набокову по праву должно принадлежать самое большое эго, во всяком случае в ускользнувшем от нас столетии. И вот под тяжестью своего законного и уже беспредельного эго Набоков однажды оказался в центре внимания, приобрел то, на что были нацелены его амбиции, а именно «паблисити». И тут, казалось бы, хватай момент, блещи, сверкай, переливайся своими бесчисленными гранями. Ан нет. Набоков не научился блистать, сверкать, переливаться гранями в том поле диалогических баталий, в котором отточили свои копыя легкоконные западные журналисты. Уж слишком засиделся в прохладном сыром углу. Конечности затекли. Да и жиром заплыл. Тут и сомнения посетили. Не то что неуверенность, а так.

«А что, если вдруг найдется один такой маленький, плюгавенький журналистик,— возможно, думал вельможный Набоков, вдыхая ароматы своего водного ложа,— сам мужлан мужланом, а возьмет да и подвергнет меня, если не графа, то графа по замыслу, мечте и полету, так сказать, графа в виртуальной ре-

алии, какой-нибудь низкой каверзе? Ведь разве можно ждать деликатности и понимания от каждого маленького и плюгавенького журналистика?» И тут Набоков пустил в ход свой бездонный вымысел. В правоверной стране он оговорил себе такое право, которое только на поверхности выглядело как право, а во всех прочих смыслах и значениях было жизненно важной привилегией.

— Я человек, обделенный спонтанностью,— промямлил он как-то в вестибюле гостиницы «Regis», куда прибыл с супругою на премьеру «Лолиты»,— и ежели кому захочется вступить со мной в интимный контакт по части словесами обменяться или вовсе лицезреть автора особого предназначения, то милости просим, но не иначе как в согласии с формуляром. Когда вас замучают ваши проблемы, домыслы или просто фантазия, так не обессудьте, мне это не в помеху, но не сочтите за труд аукнуться на меловой бумажонке, то бишь в чисто письменном изложении. Я же со своей колокольни берусь откликнуться и ждать не заставлю, ни Боже мой.

И вот с этим правом в руках, и, возможно, даже в ногах, Набоков приходил, взбираясь все выше и выше на ту гору, которая когда-то шла к Магомету, а теперь уже повернула вспять и помчалась к пророку Набокову. А Набоков все отписывался да отписывался, пока не умер от усталости, не снискав ни популярности, ни, главное, любви. Уж больно грандиозным он вырядился, вероятно запямятовав, что любят-то маленьких, плюгавеньких. Любовь ведь, в сущности, жалость. Грустно.

Что говорить, а на набоковском фоне Сережа блещет другими оттенками, чешуей другой свежести, палитрой другой консистенции, возможно пастельной, сыпучей, а впрочем, кто ведает. Ведь родился великаном, выступал в малом жанре, прошагал почти

вдвое меньше верст, нежели Набоков, это важно, а любовью и популярностью в своем отечестве самого Набокова перещеголял. Шутка ли? При этом у Набокова с тем отечеством так и остались счеты, давние счеты, с дней румяного детства, а в Сережинных четках вмиг сошли со счетов все кости. Одним движением миллионов рук.

— В чем же фокус? — вопрошаю я. — Возможно, в системе счетов и расчетов?

— У нас чванливых не любят, — подсказывают мне. — Тщеславие принято скрывать. Перед потомством мы за тщеславие в ответе. Надо юродствовать, ибо к юродству мы сызмальства испытываем терпкую любовь напополам с горечью.

— Любим, всех любим, — говорят другие, — и чванливых любим, и вельможных любим, и в простоту верим, и от юродства не отбреживаемся.

— То-то и оно, что мы всеядны. Поэтому, чтобы нам понравиться, нужен талант. Причем талант во всем. И еще нужно движение, своего рода шествие, парад талантов.

Талант скоморошества идет чуть ли не в первых рядах, то есть талант выдать себя за другого, всех рассмешить, а себя потешить. За ним идет другой талант, талант вдруг застыдиться, покраснеть, стусеваться, да так, чтобы тебя во всей своей красноте и парше до каждой детали разглядели. Смотри, мол, великан-то великан, а краснеет, стыдится, сердечный, ровно дитя. Потом, разумеется, краску согнав, вовремя вынырнуть, причем как раз к раздаче жаркого. Ну, и среди прочих разных талантов вышагивает спонтанность, безыскусность, простота. Это мы сердечно любим, по-христиански, как любим все человеческие пороки. «Простота хуже воровства», — говорят в народе. И простоту любят не хуже воровства. В этом ряду не нужно забывать о нашем таланте

приврать. «Врет, как очевидец»,— говорит народ и крестится. И сам верит каждому очевидцу, каждому проходимцу, каждому пугачеву, стенке разину, гришке отрепьеву, распутину, а от веры отречься, тут, батюшки-светы, попахивает концом всех концов. Ну, и в последних, среди прочих, душевно любим мы талант человека вовремя преставиться, так сказать, закрыть лавку — и на покой. Дать нам вволю повыть, попричитать, волосы на себе подергать, после чего на стенке припечатлеть как дополнение к иконостасу. Речь, разумеется, идет о тех, кто умер талантливо, не то что Набоков. Впрочем... Не нам судить.

По ту сторону рассветов

Но он не был жесток. Малейшие травы могли расти в его присутствии и птицы сидеть на его руках, настолько он отсутствовал. А он был где-то далеко-далеко, по ту сторону рассветов и закатов, где время и вечность, и день и ночь, Озирис и Сет, и все живые, и все умершие, и все грядущие, и все надежды, и все голоса присутствуют вместе, и никогда не расстаются, и никогда не смолкают, и откуда слезами на глазах нисходит жизнь.

Борис Поплавский

Годы службы отечеству, возможно, оказав неплохую службу отечеству, необратимо наделили Сережу чувством собственной обреченности. Он как-то разом и по-светски погрубел, стал неопрятен в отношениях и сильно пристрастился к алкоголю. («Чем сильнее была угнетена моя плоть, тем нахальнее резвился дух».) В нем появилась смекалка, свойственная людям, умеющим бойко протиснуться сквозь толпу. Он возродил прежнюю любовь к театру и массовым зрелищам, распахнул двери своего балаганчика «для веселых и славных детей», возродил клоунаду и, казалось, делал все для того, чтобы добиться утраченной популярности жреца и распорядителя жертвенной плоти. И что же? Посмертно он оказался занесенным в послужной список избранных имен — Виктора Гюго, Александра Вертинского и кого-то из Рокфеллеров, получивших, как и он, последнее в жизни причастие из рук очередной любовницы.

Но был ли Сережа донжуаном? А был ли Дон Жуан, персонаж той пьесы Тирсо де Молина,

тем лицом, за которого его принимают, скажем, в англоязычной культуре? В одиннадцатом издании энциклопедии «Британика», например, о нем как о персонаже вообще ни полслова, лишь одно упоминание о «матерщиннике и сексуальном извращенце». «Что за вздор!» — воскликнет на это российский читатель, возможно вкупе с немецким, и начнет в четыре руки листать двадцать первый том Брокгауза и Эфрона, того самого, что издавался и в Лейпциге, и в Санкт-Петербурге. Да мы за Дон Жуана грудью постоим. Он есть наш национальный герой, так сказать, альфа и омега нашего мужского достоинства. Он же «аристократ». Кто не любит аристократов? Он смельчак и весь в похождениях, причем, прошу заметить, «безнаказанных».

Вы понимаете, что это значит? Ведь безнаказанность есть свойство человеческое, даже общечеловеческое, свойство победителей жизни. А победителей не судят, говорят в народе. Конечно, и у победителей бывают моменты, у каждого свои стансы к Августе. Дон Жуан, к примеру, продал душу дьяволу. Не подумал. И поступил нехорошо. За душу ему надо попенять. Тем более что продал. Мог бы и подарить. Велика поклажа, а пожадничал. Под суд его за жадность или просто на эшафот без суда и следствия! Да не горячитесь, ведь он раскаялся, в монастырь поступил. Он сложная личность, меняющаяся, особенно «с течением времени», как выразился автор донжуанской эпитафии Эфрон и тут же добавил, уже примирительно, что пусть он и герой севильской легенды, а донжуанскую репутацию свою заслужил обаянием. Как и Довлатов, возражу я тем, кто считает иначе. Конечно, и Довлатов не обошелся без своих стансов к Августе, хотя его обаяние лежало, что называется, в другой плоскости, а может, даже и не лежало, а, наоборот, на скаку подметки рвало, хотя занимать

у него нужно было именно скромности. Надеюсь, вам все понятно?

— Да какой же Сережа Довлатов донжуан, если об успехах своих потомков не уведомил? — огорчается тонкий ценитель донжуанизма. — Ведь легендарная личность сама себе легенду ткет и ваяет, не от-малчиваясь в сыром углу. Легендарная личность неутомима.

— Да с чего вы взяли, что Довлатов потомков ни о чем не уведомил? А откуда легенда пошла? Думаете, из эмбриона Платонова или из записных книжек Чехова? Да вы прислушайтесь, приложите ухо. Земля гудит.

— Ну и что ж, что гудит? А о ком, спрашивается?

«Я, например, узнал от него, — пишет товарищ нашей юности, поэт Дима Бобышев, о котором еще речь впереди, в „Независимой газете“ за 1996 год, — что одна замужняя дама, известная мне, хороша с ним. И другая тоже. Назывались имена, причем при свидетелях; упоминались детали. А ведь и сам он был женат уже вторым браком, имел ребенка... Все-таки понять его было сложно: зачем он так позорил своих подружек, раскрывая секреты их похощений? Для утверждения своего мужества? Или — чтоб раззадорить слушателей?»

«Довлатова обидеть легко, а вот понять... — вспоминаем мы давно забытый афоризм, — сложно», — предсказывал нерадивым потомкам Довлатов. «Сложно», — отозвался эхом Дима Бобышев, друг юности. Да и жизнь сложна. Помню, едва появившись на пороге, Сережа, под тяжестью сложной жизни, вынимал записную книжку (не ту ли, что его вдова напечатала вкупе с чеховской?) и занимал позицию

около телефона. Звонок. Ожидание. Любезный разговор на тему. Имя. Демонстрация атрибутов, то, се. Напрашивание в гости. Подхихикивание, мол, со всем согласен. Ну, разумеется, к замужним. А вы что подумали? Да-да, с рекламной заявкой, не иначе как по формуле: «ужин-завтрак». Вот, а чуть трубку на рычаг, не упустит случая повеселить публику подробностями. Ведь публике, как известно, давай подробности. Вот он им и давал. Коли есть подробности, чего их беречь, когда можно дать. Да и почему бы не дать? Хотя бы даже безвозмездно. Любил Сережа безвозмездность. Не сродни ли она безнаказанности? Если задуматься, ты мздишь и мздишь, она как воды в рот набрала. Не дает ответа. Значит, согласна. Кто она? Да публика же. Страсть как любил Сережа публику.

«Любовь,— писал Довлатов в записной книжке,— это или остаток чего-то вырождающегося, бывшего когда-то громадным, или же это часть того, что в будущем разовьется во что-то громадно, в настоящем же оно не удовлетворяет, даже гораздо меньше, чем ждешь».

— Позвольте,— поперечит мне дотошный читатель.— А не перепутали ли вы записные книжки? Не Чехову ли принадлежат эти бессмертные изречения?

— Да какая разница! Довлатов у нас и есть второй Чехов. Все, что Чехов не востребовал, переходит к Довлатову.

— А как же безнаказанность?

— Положа руку на сердце, признаюсь, что Чехов тоже был не без своих стансов к Августе.

— Хорошо, а безнаказанность?

— Да при чем здесь безнаказанность? То, что числится за Довлатовым, то довлатовское. Тут, как

говорится, улица с односторонним движением. Senzo unisco. Читатель, может быть, решит; что безнаказанность есть всего лишь везение да расчет? Но я не соглашусь, причем до полного, так сказать, разрыва отношений. Ведь безнаказанность и есть наказание, так сказать, преступление и наказание в одном действии. Потому-то от безнаказанности всего муторнее на душе. Сами посудите.

Звонит мне Сережа однажды и приглашает себя в гости.

— У меня уже есть гости,— отвечаю ему,— приходи в другой раз.

У меня в гостях была подруга, Лариса Хорошайлова. Через некоторое время звонок в дверь. Сережа.

— Я же тебя просила прийти в другой раз,— говорю я через дверь, придерживаемую цепочкой.

— Я пришел по важному делу, насчет кольца.

— Какого кольца?

— Восточного образца, золото с малахитом...

— А при чем тут я?

— Я принес его тебе в подарок.

Захлопываю дверь. Через несколько минут опять звонок. Сережа. Опять уговоры. Лариса делает мне знаки: да пригласи его, какая разница. Сережа появляется, демонстрирует кольцо, звонит известной нам знакомой женщине и вскорости уходит, оставив кольцо Ларисе для передачи мне. Утром, чуть свет, звонит опять. Робко просит кольцо назад. Я вешаю трубку. Проходит время. Мне в окно подбрасывается записка, дескать, вчерашнее предназначение кольца для сдачи в ломбард не утратило актуальности, хотя вчера можно было им поступиться, так как сгорал от любопытства узнать, кто был у тебя в гостях. В той же записке и тем же путем, то есть через окно, возвращаю кольцо владельцу.

Ну так что же? При чем здесь безнаказанность? То-то и оно, что, с одной стороны, произошло все так, как того желал сам Сережа. Однако, с другой стороны, хотелось бы узнать, удалось ли ему сохранить в неприкосновенности свое «миросозерцание», которое так сильно котировалось в его системе ценностей? С каким, продолжаем допытываться мы, «миросозерцанием» ломился Сережа в закрытую дверь, пытаясь просунуть плату за вход, которой он не располагал и которая подлежала немедленному востребованию? И не в том ли заключается безнаказанность, что понятие «платы за вход» оказалось незаконно обесцененным? Но чем же был вознагражден Сережа? Признанием своей безнаказанности?

Возможно, и им. Однако более, чем признания, Сережа ждал, желал освобождения от комплексов ранней юности, которое сам заключил в кольцо нибелунговой мести. Как известно, признание как раз пришло, подоспело, хоть и к самому что ни на есть разбору шапок, но вот освобождение оказалось мнимым, как мнимым оказался тот маяк надежды, мстительно построенный в башне своего убежища бароном фон Штернбергом, которого когда-то обидел император Павел. И если барона-жертву ждала в конце жизни гильотина, то Сережа вкусил все привилегии жертвы, начиная с всепрощения, которое пришло посмертно, и в первую очередь от тех, кому были известны пределы Серезиной безнаказанности, культивируемой при жизни.

«С детства Довлатовым был усвоен неписанный код благородного человеческого поведения, — писал Игорь Ефимов („Неповторимость любой ценой“). — И каждый раз, когда близкие нарушали его, он страдал. Не меньше страдал он и тогда, когда сам нарушал его. Никакие уговоры

друзей, никакие уверения в том, что близкие относятся друг к другу и к нему гораздо снисходительнее, что они любят и восхищаются им таким, какой он есть, не помогали. „Я не хочу вступать в ваш клуб, если он готов принять меня — таким, как я есть,— в свои члены“».

Возможно, что индульгенции всепрощения циркулировали, наряду с прочими грамотами и деноминациями золотого фонда, уже при жизни Сережи и, разумеется, не без его непосредственного участия. Более того, его вера в собственную безнаказанность могла как раз оказаться функцией от числа накопленных индульгенций.

«Гессе был наивным человеком прошлого столетия. Ему и в голову не приходило, что зло может быть абсолютно сознательным», — лукаво признавался Сережа, намекая на наивность тех, кто чистосердечно просил ему интриги.

Однако «сознательное зло» причиненных Сережей «бед и расстройств» по необъяснимой случайности всегда оказывалось уравновешенным чем-то другим. Ведь Довлатов был грешником раскаявшимся. Он ведь страдал, как, впрочем, и Дон Жуан. Он «в самом деле страдал».

«Он погружался в хитросплетения взаимоотношений своих знакомых с вожделением почти патологическим, — пишет Петр Вайль, — метастазы тут бывали жутковатые: погубленные репутации, опороченные имена, разрушенные союзы. Не было человека — без преувеличения ни одного, даже среди самых родных и близких, — обойденного хищным вниманием Довла-

тсва. Тут он был литературно бескорыстен. Впрочем, как почти все доморощенные интриганы, Сергей был интриганом простодушным: ему больше нравилось мирить, чем ссорить... Он на самом деле переживал, по-кавказски непомерно, неурядицы близких и даже дальних, иногда искренне забывая о том, что сам был причиной бед и расстройств».

Страдал ли Довлатов по поводу того зла, которого являлся автором и хореографом, уже несущественно. Тут важен сам принцип, так сказать, «неповторимость», как было уже сказано, и не мной, «любой ценой», ибо с тем же акробатическим проворством, с каким Сережа творил добро на почве того зла, которое сам же создавал, Сережа мог на ваших глазах вдруг возродиться детской веселостью, оставив до лучших времен клубук цинизма. Помню его импровизацию на тему «Володи Уфлянда», сейчас, может быть, и забытого литературного гения, но гения, которого ждет жизнь если не до, то непременно после смерти. При подлинном и уникальном даре Володя был всегда равнодушен к аудитории, и если все же соглашался прочесть свои стишки, то всегда с неохотой и только в пределах узкого круга друзей, в который ни я, ни, кажется, Сережа допущены в то время не были.

— Мне совершенно понятны Фолкнер и Джойс, — как бы рассуждал сам с собой Сережа, — Пруст не был для меня загадкой со времен моего позднего отрочества. С таким багажом, казалось бы, человеку уже нечему удивляться. А мне все-таки удивительны два человека: Гоголь и Уфлянд. Именно Гоголь и именно Уфлянд. Говорят, Гоголь, приехав в Петербург, первым делом сшил себе шинель с брусничной подкладкой и долго стоял перед зеркалом, изучая

себя в новой шинели, перед тем как представить издателю свою повесть «Шинель». И этот факт, тебе наверняка небезызвестный, интересен тем, что наш соотечественник Володя Уфлянд, сам того не подозревая, повторил Гоголя, сшив себе сам, своими руками, выдающийся наряд только для того, чтобы включить себя в число героев собственных стихов:

В целом люди прекрасны,
Одеты по моде.
Основная их масса
Живет на свободе...

Я сказала:

— А мог бы украсть, чтобы с полным правом написать о себе: «Основная их масса живет на свободе».

Сереза выслушал меня с показной снисходительностью и сказал:

— Я для того тебе все это рассказываю, чтобы продемонстрировать, какой Уфлянд умный, а ты думаешь, что я это все тебе рассказываю, чтобы дать тебе возможность мне показать, какая ты умная.

Но в чем же заключалось Серезино страдание, которое непременно сопутствовало ему тогда, когда зло уже было совершено? Оно заключалось в том, что, вооружившись пером, то есть заявив о себе на чистом поле литературной охоты, «страдалец» Сереза превращался в ловца человек, подстрекателя, побудителя, наконец, насадителя человеческого лукавства. Когда Найман говорил, что Сереза был раним и защищался литературой, как ширмой, он, возможно, не учел того, что всякое орудие, включая ширмы всех цветов и фасонов, став однажды орудием защиты, становится орудием по определению, что позволяет ему, этому орудию, в дальнейшем быть

использованным и для нападения. Кроме того, в самом акте защиты (и нападения) имеется нереализованный намек на то, что, защищаясь ширмой, человек может защищаться (и нападать) не своей ширмой. А между тем как раз с такого рода «защиты» и нападения Сережа и начал свое литературное страдание и защиту «литературой». В годы нежной юности в качестве защитной ширмы послужила ширма покойного, но уже снискавшего славу поэта Шеншина—Фета.

«Зато как он ликовал,— вспоминает Андрей Арьев,— получив ответ из журнала „Аврора“, куда послал, подписав вымышленным (своим? — А. П.) именем стихи Фета. Литературный консультант, признавая некоторые зачаточные способности „явно молодого“ автора, увещевал его учиться у классиков».

Мне напомнят, что способ защиты чужими ширмами Сережей изобретен не был. Не одному начинающему литератору, в числе которых случались и маститые, этот секрет казался самым подходящим началом творческого пути. Гоголь, например, как оповестил нас Любич-Романович, будучи гимназистом, выдал пушкинского «Пророка» за собственное сочинение. Разумеется, профессор по литературе начал сочинение это кромсать, приговаривая: «Так плохо стыдно писать». В отличие от Довлатова, Гоголь не оставил своего профессора в неведении, просветив его по части подлинного авторства. Наивен был.

Чужими ширмами, что греха таить, прикрывался и страдающий в эмиграции Набоков, который, в отличие от Гоголя, тоже умудрился извлечь из этого выгоду. Когда он, в ту пору именовавшийся Сириным, прикрылся первой подвернувшейся ему ширмой,

которой оказалась ширма поэта Василия Шишкова, ему улыбнулось счастье и он был напечатан в журнале «Звено».

Конкурируя с набоковской изобретательностью, Сережа тоже сделал попытку заполучить ширму, по праву принадлежащую другому лицу. Однако, оставив Набокова позади, он опередил предшественника не на щелчок по носу, как опережали своих предшественников скромные генералы от литературы, а на целый порядок, о котором американцы бы сказали, если бы их кто спросил, «larger than life». Короче, Сережа усовершенствовал тактику присвоения ширм за счет умерщвления их владельцев. Его тактика, распознанная далеко не сразу и вовсе не всеми, легла в основу разработанного им уникального жанра.

В «Заповеднике», например, есть герой, взятый «с натуры» нашего тотема шестидесятых, Володя Герасимов, который являл собой культурный феномен гигантского масштаба, соизмеримый с изобретением дирижабля Циолковским, электрической лампочки Эдисоном и компактными дисками фирмой Mac Play, не говоря уже об откровениях голосовой колоратуры Марии Каллас. Скромный и даже не слишком приметный, Володя выделялся среди других всего одним свойством: в его активной памяти удерживались все тома «Большой Советской энциклопедии» плюс восемьдесят два тома энциклопедического словаря Брокгауза и Эфрона и еще сохранялось страниц пятьсот из энциклопедии «Larousse», на тот случай, если на нее возобновится столетиями утраченный в России спрос.

Короче, Герасимов, обладающий теми качествами, которыми Сережа не обладал, не мог в какой-то момент не перебежать дорогу тому, кто был лишен. Конечно, речь идет лишь о том периоде, когда Сережа почтил своим присутствием Пушкинский запо-

ведник и когда герасимовская эрудиция стояла на пути, как кость в горле. Ну что тут делать? Может быть, вы поступили бы иначе, но решительный Сережа, возмечтав стать Герасимовым, прибегнул к тотемному обряду умерщвления и дележа крови, то есть аккуратно поместил эрудита Герасимова в специально для этого созданный «Заповедник». И тут важно не перепутать. Герасимов, являясь звездой Пушкинского заповедника, оказался экспонатом виртуального «Заповедника» того автора, который до того являлся экспонатом в реальном Пушкинском заповеднике.

— А что же Герасимов? — спросят меня. — Ему-то зачем было меняться?

— Представьте себе, Герасимов не только не сопротивлялся, но даже умолял Довлатова. «Не хочу быть эрудитом! — кричал. — Хочу быть фонвизинским Митрофаном. И прошу мне не перечить». Ну, тут Довлатов даже рассердился. Так ему все оказалось маслом по сердцу. Ведь его самого эта мысль дважды пронзила неожиданностью, а после того пронзила еще восемь раз. Он и чернильницу по этому случаю приготовил. И так к этой мысли пристрастился, что не успел еще Герасимов свой рот разомкнуть, как пошла писать губерния.

«...Другими качествами Митрофанов не обладал. Он родился гением чистого познания. Первая же курсовая работа оказалась незавершенной. Более того, он написал лишь первую фразу. Вернее — начало первой фразы. А именно: „Как нам известно...“ На этом гениально задуманная работа была прервана. Митрофанов вырос фантастическим лентяем, если можно назвать лентяем человека, прочитавшего десять тысяч книг.

Митрофанов не умывался, не брился, не посещал ленинских субботников. Не возвращал долгов и не зашнуровывал ботинок. Надевать кепку он ленился. Он просто клал ее на голову... Несколько месяцев бездельничал. Прочитал еще триста книг. Выучил два языка... Обедал у друзей. Расплачивался яркими и странными лекциями. Ему дарили поношенную одежду...

Впоследствии мы с горечью узнали, что Митрофанов не просто лентяй. У него обнаружилось редкое клиническое заболевание — абулия. То есть полная атрофия воли».

Подвергнув умерщвлению своего соперника, Герасимова, Сережа «с горечью» узнает, что покойник был «не просто лентяй». Он был, не про покойника будь сказано, не совсем здоровым человеком. Конечно, довлатовская «горечь» неподдельна. Тут сразу понятно, что Довлатову не сладко, а именно горько. И понятно отчего. Ведь он убил больного человека. Так сказать, поспешил. Ну и соответственно. Но чем именно насмешил Довлатов своего читателя? Только ли тем, что поторопился? Не совсем. Ведь на чем строится балаганная культура? Не поспешишь, так и не станешь всем тем, чем являются другие, хотя спешить следует тоже с расстановкой, чтобы прокатиться за счет того, кто лишен, как раз в момент, когда его лишили, то есть пока другие не вскочили в пустые сани. В известном смысле Довлатов сражался со всем, что в строгом смысле Довлатовым не было, но могло при желании им оказаться. По определению, поединок Довлатова не был борьбой равного с равным, и по произволу его выбора мог не быть борьбой живого с живым. Причем довлатовская безнаказанность распространялась не только на живых.

«Читали ли вы книгу какого-то шведа,— пишет Сережа Игорю Ефимову,— „Переписка Маяковского и Лили Брик“? Это нечто уникальное по пошлости... Это кошмарная переписка двух безграмотных и ничтожных существ...»

«Только что позвонил Моргулис. Просил уточнить инициалы Лермонтова».

«Как-то иду я по Нижнему Манхэттену. Останавливаюсь я возле бара. Называется у „Johnnie“. Захожу, беру свой Irish кофе и располагаюсь у окна. Чувствую, под столом кто-то есть. Наклоняюсь — пьяный босяк. Совершенно пьяный негр в красной рубашке. (Кстати, я такую же рубаху видел на Евтушенко.)

И вдруг я чуть не заплакал от счастья. Неужели это я?! Пью Irish кофе в баре у „Johnnie“. А под столом валяется чернокожий босяк... (читай: Евтушенко.— А. П.). Конечно, счастья нет. Покоя тоже нет. К тому же я слабовольный».

Конечно, знай Сережа, что не только Евтушенко любил носить красные рубашки, но и Чехов, а иногда даже и Достоевский, он наверняка бы разрешил себе пройтись по Нижнему Манхэттену трижды и трижды заплакать от счастья, один раз умертвив Евтушенко, второй раз — Чехова, а в третий раз — Достоевского. Что поделать? Искусство требует жертв. И жертвами еще предстоит пасть, в аккурат рядом с Герасимовым, Шемякину или, к примеру, Коржавину. Однако скоро дело делается, но не скоро сказка сказывается. Принося знаменитостей в жертву всему тотему, Сережа присваивает себе почести и привилегии, возложенные тотемом на умерщвленные им жертвы, хотя и делает это с позиции той же жертвы тотема,

ответственного за возведение уничтоженных в ранг знаменитостей. Пожертвовав Маяковским и Евтушенко, Сережа становится и тем, и другим, и, разумеется, еще и третьим, ибо, едва закрепив за собой почести и привилегии всех жертв, он извлекал из старого сундука запыленный камзол жертвы тотема. В этом и заключался довлатовский талант: будучи ловцом чужих ширм, щеголем новых королевских нарядов, он навсегда оставался в памяти тех, кого обошел, всего лишь жертвой.

«Сергей в жизни был, пожалуй, именно такой „голубой цаплей“, спрятаться ему было невозможно и негде, впрочем, я думаю, он и не стремился к этому, а посему и доставалось ему больше, чем другим. Изгнание из университета, служба в охране лагерей для уголовников могли бы сломить любого. У него же это обернулось прекрасной прозой. Но ощущение выброшенности из жизни, своего „отставания“, „аутсайдерства“, было, насколько я знаю, в те времена ему присуще... а на ненависть он не был способен», — воздает Сереже благосклонный Рохлин.

«Как? Вылететь из университета?! И сразу — в армию?! (А куда же еще? Не в английский же парламент? — А. П.) И сразу — в лагерные войска?! Ну, это может только он!.. Да, это мог только он, — вторит Рохлину, увы, Валера Попов. — Довлатов сразу и до конца понял, что единственные чернила писателя — его собственная кровь. И тот, кто пишет чем-то другим, просто обманывает... Довлатов не осуждал никого. Наоборот — чем более лукавую, ничтожную жизнь вел человек, тем больше Довлатов уделял ему таланта и любви...

В любви к Сереже сошлись самые разные люди — и советские, и антисоветские, и русско-монархические, и космополитические... все было в нем!

...Особенно было видно, как он нужен там, в Нью-Йорке,— только его широкая натура, всех прощающая — но не всепрощающая,— могла соединить, примирить».

Понятно, почему Сережина способность всех простить, умерщвляя, и, умертвив, соединить и примирить трансформируется в потребность. Жреческие функции есть осуществленная мечта присвоить себе все, чего нет в наличии, стать всем, при этом убедив всех, что ты и есть все то, за которое себя выдаешь. К Довлатову-жрецу идут на поклоние прежде всего те, которых он уже принес в жертву. Договор-поединок жреца и жертвы становится договором двусторонним: жрец есть соучастник жертвы, а жертва — помощница жреца.

«Однажды я его обидел,— кается Игорь Смирнов-Охтин.— Справедливо. Хотя обижать не стоило. Пригласил на вечеринку... Публика — технари, мышление — клишированное. Довлатов — прима застолья, и все ему в рот смотрят... Сергей расслабился, упустил поводок, и разговор без его присмотра сбился в обыденность... Сергей... в благородном порыве... назвал собравшихся „бухгалтерами“, что из всего затем сказанного оказалось не самым обидным...

Через несколько дней... эта громада встала передо мной и сказала: „Игорь, я хочу принести вам и вашим друзьям свои извинения!“... И тут я сказал: „Бросьте переживать, Сережа!

Вы были такой незаметный...“ Лицо Сергея Донатовича исказилось такой болезненной судорогой, и хотя он мужественно попытался сохранить спокойствие, но с оторопью не справился и ретировался в полной растерянности».

Каменным пейзажем

Огромным, раскаленным, каменным пейзажем казался мир, одним из тех пейзажей Атласских гор, напоминающих ад, над которыми по воздуху проносился Симон-волхв.

Борис Поплавский

Году примерно в 1969-м Сережа небрежно сообщил мне, что начал писать роман о нашей молодости, так сказать, роман о двух персонажах — о нем и обо мне. Время от времени в ответ на мой вопрос о том, как продвигается работа, ко мне поступал таинственный и односложный ответ: «Пишу». Однажды Сережа все же решился на откровенный и подробный отчет о ходе своей работы над «Филиалом»:

— Ты бы меня лучше спросила, зачем я тебе звоню,— начал он с наскоку.— Чтобы приятно с тобой пообщаться? Заблуждаешься. Я звоню, чтобы понять степень своей ненависти к тебе. Ты думаешь, легко человеку ненавидеть? Да еще такой реальной, злободневной ненавистью? Вот об этом я пишу роман, для которого, как ты знаешь, нужны подлинные персонажи и подлинные эмоции.

Тот факт, что повесть «Филиал», будучи написанной в России, попала в печать уже в эмиграции, открыл для псевдодокументалиста Сережи новые горизонты. Новый штампель: made in U.S.A.— обязывал ко многому. Однако Сережу, учитывая его габариты и уже сформировавшиеся амбиции, вероятно, это не смущало. Более того, на малое он уже сам не был согласен. Конечно, пришлось пустить в ход какую-никакую поварскую сноровку: замесить

прошлое на опаре настоящего. Короче, Сережа пишет Предисловие, ставшее со времен создания «Зоны» удобным хранилищем реальных фактов с вымышленными адресатами.

Но зачем, спрошу я, могло понадобиться Сереже это перемещение «Филиала» с Востока на Запад? Чем мог обогатить псевдодокументалиста Сережу новый штемпель: made in U.S.A.? Ну, география тут, конечно, значения не имеет. Тут на первом, так сказать, месте выступает подмена прошлого на настоящее. Ну что вы заладили — зачем, зачем? Да затем, говорю я, уповая на некоторое знание предмета, чтобы не нашлось такого читателя, который мог бы на миг представить, что в момент написания «Филиала» автор был всего лишь неудачником, возмнившим себя победителем. Короче, автору никак не хотелось быть тем, кем он был в момент, когда писал. Ему хотелось, так сказать, обогатить свое прошлое результатами, достигнутыми в настоящем.

— Не убедительно, — пожмет плечами читатель, что помоложе.

— Понимаю, что неубедительно, — сокрушаюсь я. — Так на том и строился довлатовский расчет, чтобы любой аргумент «против» прозвучал неубедительно. Однако вспомните, как обстояло дело с «Зоной», где тем же автором использовался тот же самый прием, назовем его приемом временной и пространственной инверсии (ВИПИ), причем с той же самой целью, то есть для создания ложного эффекта. Так почему же в «Зоне» он оказался вдруг убедительным, а в «Филиале» — нет?

— Одно дело — сочинять истории, добиваясь эффекта достоверности, как в «Зоне», — возразит мне дотошный читатель, что помоложе, — а другое дело — искать чего-то совершенно противоположного, типа эффекта вымысла в документе, как вы это делаете

в «Филиале». Ведь согласитесь, что история «Филиала», едва став «романом», перестает быть документом по определению.

— Заблуждаетесь, — отвечу я читателю. — И в той и в другой ВИПИ резон заключался вовсе не в том, в чем вы его ищете, хотя то, что вы ищете, было предложено вам в качестве резона самим автором. В «Зоне», например, спрос на подлинные персонажи из армейской жизни диктовался не условностями жанра, как это было понято читателями, а требованиями конъюнктуры. В «Филиале» требования конъюнктуры отступали на задний план, будучи замененными другим механизмом расчета, рычагами и винтиками которого управляли не только амбиции, но и страхи.

Представьте себе творца собственной биографии, положившего жизнь на то, чтобы разродиться напомаженным, наперченным, насифоненным и облитым глянцево-розовой глазурью образом самого себя. Причем разродиться в то время, когда еще сохранилось в огромном царстве его читателей с десятков очевидцев, вполне способных лишить благоухающего стряпчего той помады, перца, сифонов и глянцево-розовой глазури, без которых пропадает весь эффект стряпни? Справедливо ли ожидать у творца такой легенды опасений и страхов за судьбу самой легенды? А если это так, то справедливо ли ожидать, что из опасений и страхов за судьбу одной легенды могла вырасти необходимость в другой легенде? Легенда тем и отличается от документа, что сохраняется она за счет создания других легенд. Поэтому-то и ввел Сережа Довлатов тему конъюнктуры в «Филиал». Не из любви к фантазированию, а по сущей необходимости. «Коль писал не для себя и не о себе, а по заказу, то с меня и взятки гладки», — как бы рассуждал он.

— Так вы же сами сказали, что в «Филиале» он о своей первой жене пишет,— не успокаивается до-тошный читатель. А женитьба — дело деликатное. Кому же хочется так, за здорово живешь, распахнуть тайники души и все наизнанку выплеснуть? Вы тут на чеховский счет не раз и не два прохаживались. А вы не обратили ли внимание, как он со своей женитьбой осторожен был? Даже от Бунина держал все в секрете. Вспомните, как Бунин читал Чехову отрывки из «Гусева», и вдруг, посреди чтения, «...неожиданно прозвучал глухой тихий голос:

— Знаете, я женюсь.

И сразу стал шутить, что лучше жениться на немке, чем на русской. Она аккуратнее, и ребенок не будет по дому ползать и бить в медный таз ложкой...»

Так, обиняком, объявил Чехов о своих надеждах другу, а потом замолк надолго, то есть пока сам не уверился. А как уверился, то позволил себе еще раз пошутить: «Приезжайте, сделайте милость! Жениться я раздумал, не желаю, но все же если вам покажется скучно, то я, так и быть уж, пожалуй, женюсь».

Еще через три месяца пишет уже более вразумительно, так сказать, шутки в сторону:

«Дорогой Иван Алексеевич, завтра я уезжаю в Ялту, куда и прошу написать мне поздравление с законным браком...» Уж если Чехов не мог не прикрываться вымыслом, умыслом и коромыслом, прежде чем объявить о своей женитьбе, то что можно требовать от автора, имеющего дело, по крайней мере в мечтах, с прямым чеховским наследием? Как можно винить Довлатова за то, что он подрядился свести на нет свои брачные счета вне места, времени и даже вне брака? Конечно, в России у него и лицевых счетов-то не осталось, скажут мне. Все позакрывал. Не то чтобы они у него когда-либо были, но даже и те, каких не было, тем более позакрывал. Чтоб не повадно.

Да я ведь не спорю. Сережа сам признавал, что у Чехова учился. Узнав, что Чехов с тремя женщинами имел дело, Сережа, поди, на четырех удочку закинул, хотя, возможно, не от большого счастья. И тут дело вовсе не в цифрах, как принято считать, а в страхах и комплексах. И конечно, не о Чехове речь, а как раз о Довлатове, и даже не о женитьбе вовсе, а о вещах куда более прозаических. Какой корысти ждал для себя Довлатов, перенеся события своей молодости на четверть века вперед?

— Позвольте, а с чего вы взяли, что он переносил события вперед? Разве не о событиях юности идет речь в «Филиале»? А что в Предисловии время иное, так то вполне дозволено литературными условностями.

— Ах да, — спохватываюсь я.

Читатель совершенно прав. Не в том тут дело, что Предисловие с литературными условностями не согласуется. Тут все хитрее и интереснее. Ведь Предисловие есть всего лишь фасад, так сказать, сценическая декорация. А на сцене, как известно, есть еще и кулисы, за которые лишенному особых привилегий зрителю ступить не дозволено. В кулисах-то все и дело. Кулисы есть китайская роспись, за которой другая жизнь протекает. Вот я и забыла читателю ту контрамарку схлопотать, чтобы он за кулисами хоть одним глазком побывал. Потому как смысл довлатовского театра как раз и надо искать в том, что разыгрывается за китайской росписью, что гладью по шелку. Ну, все протерли линзы в своих окулярах? Ведь, если чего прозеваете, на себя пеняйте. Тут у нас одноразовый просмотр, совсем как «Хрусталева, машину!» в моей американской провинции.

Заполучив номер «Звезды», где был впервые напечатан «Филиал», Сережа посылает экземпляр жене старого товарища, Юле Губаревой. Казалось бы, что

тут предосудительного? Не один автор засылал свои публикации друзьям и знакомым. Что ни говори, а история не знает таких авторов, которым читательское мнение менее дорого, чем, к примеру, рюмка к обеду. Короче, послал Сережа публикацию, приложив короткую записку, скорее всего, в ожидании восторгов, на худой конец — похвалы. Таковы мои предположения, состряпанные на базе здравого смысла, которым если не я, то автор «Филиала» обладал в избытке.

Но вот записка попадает в печать, и тут оказывается, что экземпляр «Филиала» был послан Юле Губаревой вовсе не в ожидании похвалы.

«Милая Юля, здравствуй,— пишет Сережа,— спасибо тебе за добрые слова в отношении „Филиала“, хотя повесть эта сочинялась для одной здешней газеты и на лавры рассчитана не была. Тем более спасибо».

Похвал, как видно из записки, Сережа уже дождался. Тогда чего же, если не читательского признания, добивался автор «Филиала», за что воздавал благодарность? Наперед скажу, что, скорее всего, он добивался не того, чего хотел друг чьего-то детства Костя Остенбакен от подруги его же юности красавицы Инги Заенц. Юля была нужна, необходима Довлатову не иначе как для участия в святом деле сотворения новой легенды. Возможно, упоминание «здесьней газеты» тут вовсе не случайно. Как известно, лучшие легенды рождаются в провинциальной прессе. Но при чем здесь Юля, спросят меня? Юля как-никак в Ленинграде, а «здесьняя газета», надо полагать, в одном из захолустных уголков Нью-Йорка.

Тут, конечно, самое время было бы и спросить автора Довлатова, по какому такому заклинанию ему

удалось напечатать «Филиал» в «Звезде», при этом получив заказ, а вместе с ним и аванс от «здешней», то есть нью-йоркской, газеты? Ведь, поди, с одним авансом, разумеется, если его им оделили, хлопот не оберешься. В Нью-Йорке деньгам строгий счет ведут, не то что в России. В общем, по части авансов, реальных или мнимых, Сережа поступил легкомысленно, хотя нас, как временных держателей довлатовских стоков, интересует как раз то, что он делал профессионально и со смыслом. Например, сообщив Юле через Атлантический океан, что, дескать, создал коммерческую повесть по заказу местной газеты, он мог, не ровен час, занизить собственные шансы на успех. И даже вполне возможно, что занизил.

— Так ведь сознательно, а потому и герой,— напоминает мне читатель по другую сторону Атлантики.— Не скромностью ли покори́л нас всех Довлатов?

— Да при чем тут скромность? — вмешиваюсь я с обидой.— Забудьте про Довлатова. Просто представьте себе автора, который создал повесть, поведав историю своей травматической молодости, а выдал ее за коммерческую. Ну разве здесь дело в скромности? Автор явно хотел что-то скрыть, что-то его касающееся и весьма интимное.

— Ну, хорошо, допустим. Но почему для такого дела, надо полагать, явно мужского, была выбрана кандидатура Юли Губаревой? Почему Сережа не послал свою объяснительную записку Андрею Арьеву, Валерию Грубину, Славе Веселову или, наконец, Валере Попову? Почему именно Юле? И действительно.

Ну, в первую очередь там был расчет на полную лояльность по «обе стороны Самбатрона», если можно так выразиться. Как-никак, Юля была не просто женой товарища, а женой покойного товарища.

Кроме лояльности, Сережу должен был привлечь в Юле ее тройственный образ совершенства. Во-первых, женщина, существо совершенно слабое. Во-вторых, человек, не причастный к литературным кулуарам и коридорам. И это тоже совершенно прекрасно. А в-третьих, личные контакты, которых у Юли было совершенно достаточно. Если внушение о том, что «Филиал» был написан не по личному почину, а по заказу, окажется «работающим», как бы рассуждает сочинитель Довлатов, то «работающей» окажется и авторская мечта повернуть вспять русло читательского интереса — от комплексов самого автора к достоинствам авантюрной истории.

— А что, если,— спросит меня читатель, что помоложе,— автор решил приврать о коммерческом назначении рукописи с целью хвастовства, то есть в надежде, что адресат, Юля, воздаст ему за талант: мол, дескать, поди какой даровитый у нас Довлатов. Чуть получил заказ — тут же разразился повестью. А мог бы и «войной-и-миром», то есть сегодня повестью, а завтра, чуть свет,— всенепременно «войной-и-миром».

— Нет,— настаиваю тут я,— хвастовство хвастовством. Но в данном случае как раз не в хвастовстве дело. Обратите внимание. Ведь на одну короткую записочку столько синтаксиса отпущено, причем синтаксиса с уклоном в сторону яркого пламени, возвещающего о том, что пахнет жареным. Согласитесь. Ведь рядом с уступительным союзом («хотя») оказалась, в качестве катализатора горения, усилительная частица («тем более»), так что то, что однажды запахло жареным, жареным и оказалось. «Хотя повесть эта сочинялась для одной здешней газеты, она на лавры рассчитана не была», — срезает подгоревшую корку кулинар Сережа, намекая, что если его стряпня сочиняется для местной газеты, то ей нечего рас-

считывать «на лавры», то есть что понятие «лавров» распространяется только на кулинарное искусство международного масштаба и назначения. Однако, если читателю не понравилось то жаркое, которое пересекло океан на пути к Юле Губаревой, это вовсе не значит, что сам Довлатов тоже остался голодным. Разумеется, обряд обрезания подгорелой корки, сохранившийся в тайне от корреспондентки, а впоследствии и от всего читательского круга «Филиала», вел как раз за те кулисы, куда доступ был завешен китайской росписью с кисейной окантовкой. Разумеется, закрыт только на время, то есть до той поры, когда...

Как бы мучительно и как бы долго ни создавалась авторская исповедь под названием «Филиал», каким бы пудовым мешком она ни надувала на оба желудочка создававшего ее Довлатова, назвать ее исповедальной, как назвал свою повесть Эдик Лимонов, Сережа не мог. Не тот был автор и не тот человек. Поэтому миф о том, что «Филиал» был создан с коммерческим прицелом, бил в самую что ни на есть живую мишень. А Юлия Губарева оказалась самым что ни на есть идеальным выбором. Не прошло и десяти лет, как легенда о том, что «Филиал» писался по заказу в Америке, вернулась в Америку. Разумеется, тут потрудились уже не Довлатов, а представитель его свиты, автор натюрмортов «Довлатов и окрестности».

Проникнув за кулисы, то есть сделав необходимую подстановку вымышленных «фактов» на возможные, допустимые и вполне вероятные, можно легко избавиться от того, что читатель уже принял было за логические ляпсусы. Если «Филиал» создавался не для какой-то «местной» американской газеты, а с терапевтическими целями, то есть с мыслью о том, чтобы излечиться от комплексов юности,

то становится понятным заявление автора, что повесть «на лавры рассчитана не была». Далее, если авторские амбиции заключались не в конъюнктурном и связанном с ним коммерческом успехе, а в самовыражении через творчество, то уместна и благодарность тому читателю, который готов признать за «Филиалом» художественные достоинства («Тем более спасибо»). При таком раскладе и усилительная частица «тем более» встает на свое место, не конфликтуя с противительным союзом «хотя». Так-то. И тут нам пришла пора взглянуть поближе на Предисловие, так сказать, на объяснительную записку глобального масштаба, направленную уже не лояльной жене погибшего товарища, а многоголовой гидре, известной под названием читатель, от которой ждать сочувствия приходится лишь не иначе как для ради денег. Тут бы и поинтересоваться тем, каково оказалось Довлатову на этой площадке для выживания.

С каким-то мрачным воодушевлением

Случалось, что долгими дождливыми днями Аполлон Безобразов вообще не вставал с постели, и я отправлялся гулять один в тотчас же промокавших башмаках, дыры на подметках которых я, по совету Безобразова, тотчас же закладывал отрезанными хлястиками. Долго я так ходил с каким-то мрачным воодушевлением, подставляя лицо под холодные брызги, все дальше и дальше во тьму незнакомых улиц правого берега, чтобы наконец сдаться, сломаться, и, как будто относимый возвратным течением, как лодка, лишенная управления, медленно возвращался домой, все ниже нагибаясь и уходя в воротник, тогда, когда сквозь желтые волны тумана уже загорались газовые фонари, распространяя вокруг себя неяркое сияние...

Борис Поплавский

Можно охотиться с целью выживания, как охотился первобытный человек. Можно страстно охотиться с целью выживания. Но такие случаи в природе встречаются куда более редко, не говоря уже о лишенной экологической заботы богоугодной России. Как правило, страстная охота сопряжена с досугом и желанием, а не с выживанием. Поэтому страстных охотников по собственному досугу и желанию известно немало, особенно в истории. А есть еще один тип охоты. Охота с мрачным воодушевлением, то есть охота на ниве собственного таланта. Возьмем для примера Леонардо да Винчи. Жил себе у миланского герцога, охотился. Как охотился? А так. Строил

воображаемые мосты, изобретал несуществующий порох, сочинял канализационные системы и лабиринты для публичных домов из бумаги, то есть, фигурально выражаясь, охотился, не покидая постели.

А вот другой пример, Сережа Довлатов, тоже был изрядным охотником, и охота была для него воодушевлением жизни. Про него можно было сказать, что он хронически пребывал на охоте, а точнее, пребывал на охоте даже в солнечную погоду, потому что погода не являлась таким решающим фактором на чистом поле литературной охоты, где охотился Сережа.

— А где еще прикажете охотиться начинающему писателю, как не на чистом поле литературной охоты? — спросят меня.

— При чем здесь «где»? — отвечу я с раздражением. — Важно «как», а не «где».

Так вот, на чистом поле литературной охоты, — продолжу я на прерванном месте, — Сережа проявил сноровку борзой, вонзающей клыки и всю пасть в волчью плоть комического и эксцентрического, и, перещеголав всех Ромулов и Ремов, отъел молока той волчицы, в чьих железах тек терпкий, пьянящий напиток, настоящий на талантливых рассказах шестидесятих годов. А волчица та, сама вскормленная историями, переваренными во всех отсеках его литературного круга, квадрата и параллелепипеда, приобщила сноровистого Сережу к писательскому ремеслу.

Так родились трофеи в виде «Невидимой книги» и «Соло на ундервуде», Сереже, строго говоря, не принадлежащих творений, хотя никакой волчицей до сих пор не востребованных. Говоря о ходе этого литературного промысла, нельзя не отметить, что Сережа оказался самым быстрым борзым, воспитанным доезжачим Донатом для королевской охоты, в кото-

рой сам Донат, увы, не преуспел. И какой же русский, согласитесь со мной вы, не вскочит на воображаемое седло при словах «королевская охота», особенно в предвкушении такого зрелища, как волчья плоть комического и эксцентрического? И какой же русский не продаст с себя последнюю шубейку за борзые три собаки в погоне за такой зубодробительной жертвой? И какой же русский не заявит открыто всему миру, что берет взятки? «Но чем взятки? Борзыми щенками», особенно в предвкушении такого соблазна. Ведь даже волчица может оскалиться острой шуткой, каламбуром да историйкой. Кот мяукнет, говорят в нашем анклав, ан кто-нибудь да и откликнется. Глядь, а нас уже несет на крыле тот славный и спасительный круг. Досужий человек, куда он нас несет? Дай ответ! Не дает ответа. Чем богаты, тем и виноваты, кричит нам вслед раскрасневшийся Сережа. Дивным звоном заливаются колокольчик. Все отстают и остаются позади.

За что ж вы Ваньку-то Морозова? Ведь он ни в чем не виноват. И охотился он для выживания. И страстно охотился для того же умысла. Но ведь как же, оправдываюсь я. Ну, сколько овец войдут в волчью пасть натошак? Не говоря уже о том, что волков тоже ищи-свищи. Ну, скажем, кто-то по наивности влез не в свои сани, так сказать, аукнулся. Так на аукнулся нашлось и откликнулся. Ну, жена бросила. Так ведь другая отыскалась. И не одна. А дальше-то что? Без охоты — зябко. А чтобы прикрываться литературой, как ширмой, в нашем климате нужна ширма поворсистее, пустившая в расход не одного верблюда. А что есть, в сущности, ширма? Она как бельмо на глазу. Штука приметная и ослепительная, как палка о двух концах.

Конечно, Сережа за всеми наблюдал, со всеми несся наперегонки. Ведь ширма нужна была ему

только для защиты. Ну, иногда и для нападения. Разумеется, и в момент досуга пригождалась. А при чем здесь запой? При запое, возможно, была совершенно лишней. Как нес, спрашиваете? Ну, брат, на охоту Сережа выходил с ширмой на манер косы и с зарядом на прицеле. И ничего неграциозного в этом не было. Ведь заряд по замыслу должен был выстрелить в конце — в конце охоты, в конце жизни.

— А с кем,— спросят меня,— несся Сережа наперегонки, за чем охотился?

— Да за всем, что плохо лежит.

— А поточнее? — спросят меня сонные потомки.

— Поточнее,— спохватываюсь я,— охоч Сережа был до документа.

— И зачем же он так несся? Документ, как известно, зверь лежачий.

— Ну тут,— говорю я в легкой испарине,— все сопряжено с иллюзионом. Вы все забываете, что охотиться Сережа начинал, фигурально выражаясь, еще в постели, причем уже там несся наперегонки, хотя и производил впечатление некоего парения, несся, так сказать, вальяжно, как человек досуга и безграничной лени, будучи при этом, как и подобает, во всеоружии охоты, то есть, когда наступала нужда, пригибался и скрывался за ширмой.

Да что и говорить, за многими ширмами скрывался, притом скрывался добросовестно и без подвоха, так сказать, уходил с головой.

— А как насчет документа? — интересуются потомки.

— И документ уносил,— сознаюсь я, краснея.— Одна ширма вдруг превращалась в другую, так сказать, претерпевала метаморфозы на манер овидиевских. Так что конечности вдруг превращались в ветки, а сам он — в дерево. С такой же сноровкой чужая ширма выдавалась за свою, причем каждая ширма

становилась тем чувствительным органом, обращение с которым требовало величайшей осторожности и особой гигиены.

В ходе этой охоты живая мишень разрасталась, а товарная сторона ярлыков, с помощью которых каждый новый документ, поступая в заготовленный для него ягдташ, подвергался каталогизации, расцветивалась разными картинками из истории нравов. Причем туда попадали не только лица, без которых, можно сказать, наша литература прекратила бы свое тысячелетнее существование, типа Пушкина, Есенина, Маяковского или Евтушенки, но и те, кто, как говорится, ни сном ни духом. Причем случалось так, что те, другие, кто ни сном ни духом, усмотрев себя на ярлыке или наклейке того документа, что похудо-сочнее, или, точнее, псевдодокумента того же свойства, поддевали автора кончиком штыка, мол, дескать, почто ты, княже, разумеи благочестие имети, едиnorodную душу свою отвергл еси и, славы ради быстротекущая, нелепотную славу приобрел еси? И на кого свою авторскую фантазию навел? Так отфыркивались они, подергивая ноздрями и сильно льстя авторской фантазии, а главное, впопыхах позабыв, что сами-то ведь сало русское едят, фигурально выражаясь насчет сала.

Короче, им-то, любителям порассуждать о ярлыках или наклейках автора, от наших отечественных критиков досталось куда больше, чем самому автору.

«Люди простодушные, — пишет критик Сухих, — узнав себя в персонажах, просто обижаются на автора... Интеллигентные натуры произносят умное слово „диффамация“ — „опубликование в печати сведений (действительных или мнимых), позорящих кого-либо“... Примечательно, что этот аспект довлатовской прозы отметили

и акцентировали старшие, писатели предшествующего поколения, эстетически (и этически?!) более консервативные».

Числом ярлыков или наклеек, обескураживших их потенциальных носителей, Сережа перещеголял не только свой анклав литературных гениев, но и корифеев отечественной словесности прошлого века, готовых в моменты вдохновения нет-нет да и лягнуть ближнего копытцем своего Пегаса, в связи с чем он осуществил свою самую дерзкую и самую необузданную мечту — сравняться с Чеховым. Конечно, у Чехова были амбиции, может быть, почище довлатовских. Он, к примеру, даже в частной переписке мог взять и шуточно подписаться: «Твой Шиллер Шекспирович Гёте», вовсе запомнив, что в каждой шутке, как говорят у нас, не подумав, есть доля шутки. И все же в одном Сережа даже своего кумира оставил далеко позади.

«Тургеневу, — пишет Сухих, — конечно, не доставило никакого удовольствия узнать себя в злой пародии „Бесов“ (Кармазинов). Достоевский тщетно доказывал, что и в „Крокодиле“ он не имел в виду Чернышевского. Перед Лесковым после публикации романа „Некуда“, в котором узнали реальных людей, Писарев призывал закрыть все журналы и не подавать писателю руки (примерно так долгое время было). „Попрыгунья“ на несколько лет рассорила Чехова с Левитаном, которому объяснили, что фатоватый Рябовский — это же он...»

Спрашивается, почему Довлатову, борзому от литературы, перещеголявшему в своем усердии и Чехова, и Достоевского, и даже Лескова, все сходило с рук?

Более того, к нему доверчиво тянулись лица, осмеянные на ярлыках или наклейках его «мистификаций»? Я, конечно, могу попробовать, в попытке отыскать прецедент, поскакать дальше в историю, а если кобыла повезет, и в географию. Был, скажем, в Греции такой охотник до шутки за чужой счет, Аристофан, который, умело пользуясь альфой и омегой своего времени, любил свести счеты со своими политическими оппонентами. Мне, конечно, возразят, что, дескать, взялась сравнивать Божий дар с яичницей, или, как говорят хорошо знакомые с рыночной экономикой американцы, *apples and oranges*. Ведь Аристофан не имел дела с частными лицами. А коли вылез в сенаторы, как бы говорил он, так изволь узнать, за кого я тебя держу в моем послужном списке. К тому же Аристофан вел свои баталии открыто, подвергая себя не меньшему риску. Не то что Довлатов, со всех сторон обложенный подушками и грелками.

Выходит, что не только знаменитые соотечественники, Достоевский, Чехов, Лесков, до Сережних высот не допрыгнули, но и Аристофан остался в тени, в связи с чем, не иначе как по прихоти истории, насладился весьма умеренной славой у себя в отечестве, в то время как Довлатов добрался до ее вершин, успев два-три раза ногами взболтнуть. Конечно, привередливые греки выкручивали Аристофану руки условностями выбранного им жанра, вынеся автора за скобки комедийной фабулы. На этом фоне автору жанра псевдодокументализма было куда как более привольно резвиться. Иконостас поверженных им лиц не уставал трещать под тяжестью все новых и новых образцов, и в этом треске их хрупкие тела ненавязчиво и произвольно вытеснялись объемом уже хохочущего над ними, но и здесь знающего свой

расчет борзого на чистом поле литературной охоты Сережи Довлатова.

«Шемякина я знал еще по Ленинграду,— пишет еще не ведавший ни славы, ни денег охотник до того и другого Серсжа.— Через десять лет мы повстречались в Америке. Шемякин заметил:

— Какой же вы огромный!

Я ответил:

— Охотно меняю свой рост на ваши заработки...

Прошло несколько дней. Шемякин оказался в дружеской компании. Рассказал о нашей встрече:

„...Я говорю — какой же вы огромный! А Довлатов говорит — охотно меняю свой рост на ваш... (Шемякин помедлил)... талант!“

В общем, мало того, что Шемякин замечательный художник. Он еще и талантливый редактор...» (Сергей Довлатов, Марианна Волкова. «Не только Бродский».)

История о Шемякине вошла как минимум в два независимых сборника рассказов Довлатова, тем самым возведя число шансов быть запомненной поклонниками Шемякина как минимум вдвое, не говоря уже о кассовом сборе, который не мог непосредственно не отразить двойного объема авторского текста. Все это, разумеется, прекрасно. Сережа, как уже упоминалось, был самым быстрым борзым на чистом поле литературной охоты. Однако неужели все обошлось без личной выгоды? Неужели личность Шемякина оказалась у Сережи на языке без особого к тому умысла?

К сожалению, помимо лежащего передо мной текста, никакие биографические отсылки не могли

прийти на ум, кроме одной, причем достаточно тривиальной. Шемякин был знаменит, как, впрочем, и Сережа. Но Шемякин был знаменит и был признанным кумиром тех, кто расплачивался за его полотна. Сережина знаменитость была, так сказать, в сфере творческой мечты, существовала, так сказать, как будущая потенция. Не исключено, что Сережа решил потягаться с Шемякиным в рамках тяжбы Потемкина с Орловым, то есть в надежде стать Потемкиным, оставив для Шемякина удел Орлова. Говорят, Потемкин, взбегаая вверх по лестнице, встретил спускающегося вниз Орлова.

— Как дела? — спросил он. — Какие новости?

— Да особо никаких, — поступил ответ, — кроме того, что вы поднимаетесь, а я в аккурат спускаюсь.

История о Шемякине начинается с набора аксиоматических допущений: «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». «Шемякина я знал еще по Ленинграду», — пишет безымянный и нищий Сережа Довлатов, имеющий, однако, все шансы занять шемякинское место, о знаменитом и посягнувшем на баснословные заработки художнике, которого с такой же вероятностью можно заподозрить в конъюнктуре. Таков общий закон и второе допущение... А дальше речь идет о случае, о, так сказать, событии, взятом из живой жизни, о непредсказуемой встрече, о фортуне.

Встречается малоизвестный Довлатов (читай: непризнанный гений) со знаменитым Шемякиным (читай: с бездарным конъюнктурщиком). Шемякину приглянулся довлатовский рост. Довлатов готов на невыгодный для себя обмен — он готов расстаться со своей счастливой внешностью, взяв взамен у Шемякина то, что у того есть в избытке, — его заработки. Шемякин совершает по ходу дела подстановку, которой в их договоре не было предусмотрено.

Он подсовывает Сереже вместо заработков аксиоматически уцененный товар, именуемый талантом (в подтексте — талант конъюнктурщика).

И тут в силу вступает неакцентированный расчет Довлатова. Ни один читатель не заподозрит непризнанного гения в зависти к лаврам конъюнктурщика. Знаменитости, которая пытается разжиться талантом у гения, добровольно позавидовать не может никто, равно как никто на свете не захочет добровольно стать Альтшуллером Лазарем Самуиловичем. Расчет Довлатова мог, возможно, подвести Шемякина, но для Довлатова он послужил сезонным пропуском в театр новых авантюр, где была создана целая серия рассказов о Шемякине. При этом подлинные истоки мифотворчества оказались оставленными за пределами читательской догадки.

«Молодого Шемякина выпустили из психиатрической клиники. Миша шел домой и повстречал вдруг собственного отца...

Полковник в отставке спрашивает:

— Откуда ты, сын, и куда?

— Домой, — отвечает Миша, — из психиатрической клиники.

Полковник сказал:

— Молодец. — И добавил: — И где только мы, Шемякины, не побывали! И в бою, и в пиру, и в сумасшедшем доме!»

А о каких, собственно, подлинных истоках идет речь? Что могло остаться за пределами читательской догадки? Конечно, расчета на то, что среди его читателей окажусь я, у Сережи быть не могло. Поэтому опасаться было, в сущности, нечего. А между тем из глубин памяти при чтении этой истории всплыла еще одна. Встречает Боря, Сережин брат, только что

выпущенный из тюрьмы, своего отца, Ашку. Происходит диалог «куда? — откуда?». В ответ на признания сына Ашка говорит: «И где только вы, Довлатовы, не побывали (Боря носил фамилию матери)! И в Тифлисе, и в Уфе, и даже в тюрьме!»

Конечно, читатель, что ныне в почете, уже позабывший Шемякину, мол, дескать, повезло горемыке. Сам Довлатов о нем вспомнил. Напрягся и вспомнил. И я такого читателя сердечно поддерживаю и выдаю особый документ. Не то чтобы с оправдательной целью, а так, на предъявителя. Ведь Шемякину и в самом деле повезло.

— А в чем? — спросит меня тот же читатель, на сей раз уже насторожившись. Ведь не любит наш читатель, что нынче в почете, с автором соглашаться.

— А вот в чем, — отвечаю я в надежде, что вылезу из передраги.

Довелось однажды Сереже перечить Игорю Ефимову, издателю «Эрмитажа», предъявляя ему претензии в отсутствии вкуса. Надо тут сказать, что Игорь не был у Сережи первым, не был он и последним. И тут ему, то есть Сереже, как раз подвернулся Шемякин. Причем подвернулся тогда, когда позарез понадобился.

«Я с горечью убедился, — писал торжествующий Сережа Ефимову, — что в этом вопросе (вопросе выбора обложки. — *А. П.*) Вы находитесь в глубоком, упорном и необратимом заблуждении, причем не хотите даже выслушать человека, который пять лет учился в художественной школе, той самой, которую окончил Шемякин...»

Но и Шемякин, которому повезло, тоже не оказался первым и еще в меньшей мере последним. Если и такому человеку, как Владимир Горовиц, повезло, который Довлатова, быть может, и одной приподнятой шляпы не удостоил, то что Шемякину

горевать? А ведь Горовиц под довлатовское перо угодила, что называется, со всего размаху.

Сережа любил повторять афоризм Бродского: «Я не читатель. Я писатель». И всем становилось ясно, с кем имеют дело. Однажды он встретился с Соломоном Волковым, который написал книгу, которую подарил Владимиру Горовицу. На базе истории о том, как Волков написал книгу, которую подарил Горовицу, Сережа, книги Волкова не читавший, стал автором новой книги — о том, как Волков написал книгу, которую подарил Горовицу.

«Соломон Волков написал книгу „Чайковский по Баланчину“. Книга вышла по-английски, имела успех. В ней приводились любопытные сведения о Чайковском,— писал Сережа.— Исключительная тяга к музыке обнаружилась у Пети Чайковского в раннем детстве. Он готов был просиживать за роялем круглые сутки. Родители не хотели, чтобы он переутомлялся. Запрещали ему играть слишком много. Тогда он начинал барабанить по стеклу.

Однажды он так увлекся, что стекло разбилось. Мальчик поранил руку...

Волков преподнес экземпляр своей книги знаменитому Горовицу. Был совершенно уверен, что маэстро ее не прочтет. Поскольку Горовиц, как многие великие художники, был занят исключительно собой.

И вот однажды с Горовицем беседовали журналисты. И Горовиц сказал: „В детстве я готов был просиживать у рояля круглые сутки. Родители не хотели, чтобы я переутомлялся. Запрещали играть слишком много. Тогда я начинал барабанить по стеклу. Однажды так увлекся, что стекло разбилось. И я поранил руку...“

Волков, рассказывая эту историю, почти ликовал:

— Значит, он все-таки прочитал мою книгу!»

С появлением текста Довлатова было убито много зайцев. В согласии с заветом Бродского, Довлатов, не читавший Волкова, издал о нем книгу и даже стал его литературным агентом. Во всяком случае, многие узнали, что есть такая книга о Чайковском—Баланчине под авторством Волкова. Горовиц, вопреки мифу о том, что великие люди книг не читают, стал читателем, а также запоздалым имитатором Чайковского, повторив детский опыт знаменитости. Довлатов, дописав книгу за Волкова, ее не прочитав, попал в список знаменитостей, при этом снискав славу продолжателя мифа Бродского и разоблачителя двух мифов — мифа Волкова о знаменитом Горовице и мифа Горовица о знаменитом Чайковском. Разрушив и построив несколько мифов, Довлатов сослужил и себе скромную службу. Как известно из его же «Записных книжек»: «Сложное в литературе доступнее простого». Он зарекомендовал себя поборником простоты, бунтарем «против литературы идей, против любого метафизического подтекста, против глубины вообще».

Благодарный читатель, которого я уже начала анонимно цитировать, впоследствии воздал Довлатову за простоту вымысла и цели.

«Проза Сергея Довлатова столь доступна, сюжеты столь просты, характеры столь вняты, читать его столь увлекательно, что загадке — такой желанной и такой необходимой в искусстве — вроде бы не остается места...

Автор, как правило, не даст себе труда даже изменить подлинные имена персонажей. Его

тексты отличает ощущение полной достоверности, фотографичности, документальности», — пишут Петр Вайль и Александр Генис.

А между тем за такой «простотой» и за такой «доступностью» даже апологеты довлатовской простоты и доступности признавали условность:

«Его проза придумана и сконструирована от начала до конца — от самого начала до самого конца».

Однако о какой придуманности, о какой условности должна пойти речь? Не сродни ли такая условность механизму «вымысла» пролеткультовской литературы, где ставка делалась на присущий «документу» по определению эффект достоверности? Если средствами такого вымысла и такой условности автор готовил основание для авторизованного мифа о себе и контракта с читателем, то речь должна пойти, как и в случае пролеткультовских авторов, о политических задачах и политическом кругозоре.

Нет сомнения, что политический кругозор Довлатова сильно уступал кругозору советских писателей периода пролеткульта и, в отличие от них, страдал дилетантизмом. Но политический кругозор ему и не был нужен. Его вымысел был направлен не на идейных врагов, которых у него быть не могло, а на свое непосредственное окружение — друзей, родственников и знакомых. Поэтому речь должна пойти не о политическом кругозоре, а всего лишь о задачах и целях политически ориентированной личности.

Улыбаться белыми зубами

...То деланно, скорбно мрачней, но в меру, конечно, то широко, жестко улыбаться белыми зубами, бесплатно починенными у русской докторши, покровительствующей эмигрантской поэзии... Как будто за ним стояла невеста какая удача, уверенность, положение в жизни, и она была у него, ибо это была удача презрения к удаче, атлетическое безумие наглого высокомерия, смеющегося над жизнью, положением в жизни, уверенностью...

Борис Поплавский

В преддверии публикации «Филиала» болезненные воспоминания юности оказались заслоненными еще одним, хотя и более поздним, травматическим событием, в связи с которым Сереже было о чем подумать, а подумав, обратиться к излюбленной им литературной форме, известной под именем Предисловий, Преамбул, Интродукций, Введений и Прологомен. Летом 1981 года, то есть за пять лет до публикации «Филиала», в Лос-Анджелесе состоялась общеславянская конференция, на которую Сережа приехал с миссией представлять газету «Новый американец». Справедливо предвкушая моменты словесных поединков, а с ними и торжество словесных триумфов, Сережа заготовил, следуя своему обыкновению, несколько импровизаций. Однако на поединках, которые последовали, триумфов ему не было припасено, ибо, вопреки ожиданиям, Сережа был обойден по этой части Наумом Коржавиным, со своей стороны заготовившим всего одну импровизацию, которой было суждено возыметь магическое действие на

ценителя импровизаций Сережу Довлатова. Тут следует оговорить, что до того трагического момента, о котором должна пойти речь, у Сережи не накопилось против Коржавина никаких обид. Более того, именем Коржавина Сережа измерял единицу роста обожаемого им дитяти.

«Газета наша выходит, окончательно и бесповоротно,— писал Сережа о „Новом американце“ как раз в преддверии конференции в Лос-Анджелесе.— Деньги есть. Седых дает нашу рекламу четыре раза по полполосы. Некрасов, Максимов, Турчин, Коржавин и прочие именитые люди надавали материалов».

В полном неведении о том, какой ценой приходится иногда платить за дерзкие выходки, Коржавин, избравший для своей импровизации замедленный стиль сказочно-лубочного повествования, поведал залу притчу, на дне которой была помещена игла пронзительного намека на реальную репутацию редактируемой Сережей газеты.

«В старое доброе время,— задушевно сказывал сказитель Коржавин, остановив на Сереже всепрощающий, как бы отцовский взгляд,— была в Петербурге малоизвестная газетенка под названием „Копейка“. Однажды призвал ее главного редактора, Пастухова, сам Государь Император и спрашивает: „А какое же у вас направление?“ Редактор поклонился Государю и отвечает: „Кормимся, Государь-батюшка, кормимся“».

Казалось бы, ничего особенного не произошло. Коржавин в приемлемой для литературной аудитории

эзоповой манере и в подобающей случаю форме выразил приватное мнение. Разумеется, если перевести смысл коржавинской притчи на язык неумолимых абстракций, то можно сказать, что главному редактору «Нового американца», Довлатову, ставились в укор провинциализм, политический оппортунизм и корыстолюбие. Однако вряд ли у кого-либо из присутствующих в зале зафиксировался смысл коржавинского выступления в таких терминах, исключая, пожалуй, чувствительного к слову и на слове возвращенного Сережи. Даже Дима Бобышев, сохранивший в памяти это выступление и включивший его в свои воспоминания о Сереже, кажется, запомнил скорее Сережин бойкий ответ Коржавину, нежели коржавинский укор Довлатову.

«На это (коржавинскую притчу.— *А. П.*) Довлатов почти без заминки ответил, что — да, пускай будет сходство (с газетой „Копейка“.— *А. П.*) или даже, так сказать, скотство, но он вполне гордится тем, что задает корму в иноязычной стране двадцати трем русским журналистам», — вспоминает Дима Бобышев в «Независимой газете».

Однако удачный ответ Коржавину, как я полагаю, не был избавлением от той занозы, которая залегла в Сережиной нежной плоти. А что, если коржавинские намеки так же беспощадно засели в читательском сознании (и под-)? Были и другие досадные моменты.

«Что же касается конференции, то Вас ожидает длинный рассказ,— писал Сережа в частном письме к Игорю Ефимову.— Скажу только, что... все были озабочены частично — судьбами

России, частично — оплатят ли дорогу. На самом главном банкете в редакции „Партизан-ревью“ Некрасов взял слово и сказал:

— Главная ценность подобных конференций в том, что мы, эмигранты, живущие на разных континентах, можем встретиться и выпить свои сто грамм. Что я могу обнять Эмку Коржавина и Сережу Довлатова, которого я люблю, несмотря на то что он большой мудака...»

Полагаю, что некрасовский невинный выпад не мог не оказаться той самой каплей в океане обид, которая может всколыхнуть угрюмый океан. Пять лет Сережа томился, рисуя в своем воображении момент расплаты с Коржавиным и доподлинно зная, что такой момент не может не наступить. На то и дана человеку продолжительная жизнь, чтобы хоть однажды дожидаться своего звездного часа. И что же? Когда начали готовить к публикации «коммерческую» повесть «Филиал», в году эдак 1985-м или около того, пришел час вспомнить и о Коржавине. По досадному совпадению персонаж «Филиала» Тася, счета с которой тоже ждали своего часа, причем уже более четверти века, оказалась в числе тех, кто в 1981 году внимал коржавинской притче на конференции в Лос-Анджелесе. Короче, по числу обидчиков в Предисловии к «Филиалу» было уготовлено два экспромта, причем на Коржавина, едва отметившего пятилетнюю годовщину своего невинного выпада против Довлатова, обрушился экспромт о четырех притчах.

Притча 1

«Редактор Тарасевич приподнялся над столом, заваленным бумагами.

— Входи,— говорит,— присаживайся.

Я сел.

— Тебе в Калифорнии бывать приходилось?

— Трижды.

— Ну и как, понравилось?

— Еще бы! Сказочное место. Райский уголок.

— Хочешь еще раз туда поехать?

— Нет.

— Это почему же?

— Семья, домашние заботы и так далее».

Притча 2

«Мистер Хиггинс пояснил:

— Все мы уважаем поэта Ковригина...

И все-таки мы его не пригласили...

Сначала нам показывали каньон, что-то вроде ущелья. Увязавшийся с нами Ковригин поглядел и говорит:

— Под Мелитополем таких каньонов до хрена...

Мы поехали дальше. Осмотрели... конюшню.

Ковригин недовольно сказал:

— Наши лошади в три раза больше.

— Это пони,— сказал мистер Хиггинс...»

В первых двух притчах перед читателем предстают два персонажа, между которыми прослеживается поляризованная связь по модели «принц и нищий». «Я» (рассказчик Довлатов), обласканный начальством, облеченный доверием, принятый всюду за своего (розовая мечта Сережиной юности), шествует в числе участников конференции, в то время как «он» (персонаж «Ковригин»), никем не приглашенный провинциал из Мелитополя, в своем невежестве принявший пони за взрослую лошадь и, судя по тону повествования, этим не исчерпавший своего невежества, одиноко плетется позади.

В непредвзятом сознании читателя; в котором нет и намек на ту печку, от которой танцует свой танец-поединок с самозванцем «Ковригиным» (читай: обидчиком Коржавиным) Сережа, уже родилось восхищение спонтанностью довлатовского юмора. Однако утверждение о том, что Волга впадает в Каспийское море, тоже может быть принятым за юмор, если произвести такую подстановку: на место Волги поставить «поэта Коржавина» в одеянии самозванца Отрепьева, а на место Каспийского моря — ну, скажем, лохань с отрубями. Теперь представьте себе, что за секунду до этого той же «Волгой» именовался гарцующий «Сережа Довлатов», а под «Каспийским морем» имелись в виду все атрибуты «фавора» в виде чинов, крестов и славы. Не оказалось ли бы утверждение «Волга впадает в Каспийское море» образцом тончайшего юмора? Конечно, тут может возникнуть такой маленький вопросик. А откуда черпал жизнелюбивый Сережа Довлатов свои атрибуты фавора? Скажем, кем был тот «редактор Тарасевич», который, заманивая Сережу в Калифорнию, «приподнялся над столом, заваленным бумагами»? Обратимся к документу, уже вознесенному Сережей в ранг литературного жанра.

«Вы огорчились, что Вам не сообщили о конференции (конференция „Русские писатели на Западе“, проводившаяся университетом Лос-Анджелеса весной 1981 года), — пишет автор „Филиала“ Игорю Ефимову. — ...Знаете, как я попал в приглашенные? Здесь был ничтожный юморист — Дб...с. Попросил дать ему бесплатно рекламу. И сказал: „Я могу устроить, чтобы Вас (то есть меня, Довлатова) пригласили в Калифорнию“. Я сказал: „У меня нет времени“. Но рекламу ему дал. Не ради Калифорнии, а из жалости. Печатать его мы все рав-

но не будем, он — пошлый. И вдруг приходят документы. Так что это делается как в Союзе. Кто-то кому-то позвонил, и все».

В последующих двух притчах «Ковригина» уже нет, и дело как бы вовсе не в нем. Когда плоть соперника умерщвлена, кому охота сражаться с мертвецами? На поле брани остается один рассказчик Довлатов, вступающий в поединок с читательским сознанием (и под-). Не будучи доподлинно уверенным в том, что смысл коржавинской притчи отложился в читательской памяти, Сережа развивает поднятую Коржавиным тему «политического оппортунизма» и «корыстолюбия» сам. Таким образом, хотя Коржавина в Сережиной истории больше нет, но коржавинские аллюзии оживают, продолжая висеть в воздухе и прочих проводниках звука, тепла и электричества, а также у проводников спальных и плацкартных вагонов вот уже рекордный срок чуть ли не пять лет после того, как Коржавин выдал свой экспромт замедленного действия.

Притча 3

«Тарасевич давно интересовался:

— Есть у тебя какие-нибудь политические идеалы?

— Не думаю.

— А какое-нибудь самое захудалое мировоззрение?

— Мировоззрения нет.

— Что же у тебя есть?

— Мирозерцание.

— Разве это не одно и то же?

— Нет. Разница примерно такая же, как между штатным сотрудником и внештатным.

— По-моему, ты чересчур умничаешь».

Притча 4

«Год назад Тарасевич заговорил со мной о штатной работе:

— Ты знаешь, что Клейнер в больнице? Состояние критическое...

Я спросил:

— Думаешь, надежда есть?

— Сто шансов против одного. А значит, освобождается вакансия.

— Я спрашиваю, надежда есть, что он будет жить?

— А-а... это вряд ли....

Пришлось мне объяснить редактору:

— ...Главное мое занятие — литература».

Казалось бы, что может быть эффективнее такого экспромта? Автор, на которого когда-то было обрушено безответственное обвинение в провинциализме, политическом оппортунизме и корыстолюбии, позволяет себе публично, напрямки и без обиняков ответить обвинителю, а скорее всего, воображаемому обвинителю, ибо обвинитель оказывается неназванным, что, мол, дескать, от провинциала, политического оппортуниста и корыстолюбца слышу, преподнеся урок риторики и демократии. Коржавин урок усвоил и больше не выступал с намеками. И тут бы поставить на всем этом точку, но точка у Сережи как-то не вытанцовывалась.

Прошло более десятилетия, в ходе которого пылкое сердце кавказского человека, видать, все еще клокотало при мысли о коржавинской «обиде». Пришло время новых публикаций. Сережа стал готовить новую книгу, «Не только Бродский», запоздалым образом увидевшую свет после его смерти, в 1992 году. И что же находит бессмертный поклонник довлатов-

ского юмора в посмертном издании? Снова Коржавин. Еще раз события конференции в Лос-Анджелесе.

«Накануне одной литературной конференции меня предупредили:

— Главное, не обижайте Коржавина.

— Почему я должен его обижать?

— Потому что Коржавин сам вас обидит.

А вы, не дай Бог, разгорячитесь и обидите его. Не делайте этого.

— Почему же Коржавин меня обидит?

Потому что Коржавин всех обижает. Вы не исключение. Поэтому не реагируйте. Коржавин страшно ранимый.

— Я тоже страшно ранимый.

— Коржавин — особенно. Не обижайте его...

Началась конференция. Выступление Коржавина продолжалось четыре минуты. Первой же фразой Коржавин обидел всех американских славистов.

Он сказал:

— Я пишу не для славистов. Я пишу для нормальных людей.

Затем Коржавин обидел целый город Ленинград, сказав:

— Бродский — талантливый поэт, хоть и ленинградец...

Затем он произнес несколько колкостей в адрес Цветкова, Лимонова и Синявского. Ну, и меня, конечно, задел. Не хочется вспоминать, как именно. В общем, получилось, что я рвач и деляга. Хорошо, Войнович заступился. Войнович сказал:

— Пусть Эмка извинится. Только пусть извинится как следует. А то я знаю Эму. Эма

извиняется так: „Извините, конечно, но вы — дерьмо“».

Итак, одиннадцать лет спустя после конференции в Лос-Анджелесе и через шесть лет после поединка с Коржавиным на страницах «Филиала» делается вторая попытка умерщвления соперника, причем в том же ключе подготовленного экспромта. Однако на этот раз не обходится без литературной традиции. Если припомнить, у Гоголя шинели срывались не со всех, а исключительно со статских советников, а у Пушкина в «Пиковой даме» нападения совершались тоже не на всех, а исключительно на известных богачей. Аналогично пафос мщения обрушивается исключительно на тех, кто «всех обижает», причем именно всех и именно других, а не лично Довлатова, хотя и Довлатова тоже. «Ну, и меня, конечно, задел», — замечает Сережа, огорчаясь, разумеется, не за себя, а за Ассоциацию американских славистов и город Ленинград, которым досталось от Коржавина.

Однако, как это часто случалось именно с этим автором, Сережа совершенно запомнил, что в недалеком прошлом именно ему довелось нанести обиды и городу Ленинграду, и Ассоциации американских славистов.

«Единственное, что примиряет меня с американской славистикой, это то, что они покупают наши книги... — писал Сережа в неведении о том, что через десять лет ему понадобится другой тон и пафос. — Каким-то странным образом в славистике развились все пороки этнического меньшинства: обидчивость, бедность, нервозность, мнительность в сочетании с заносчивостью и даже хамством...»

Короче, скромная коржавинская притча открыла для Сережи перспективу создания двух художественных творений, дважды претендовавших на будущие royalties и дважды послуживших удачными сюжетами для будущей легенды автора о себе. Но хотя поток ненавязчивого и «беспечного» словотворчества был сочинен, набран, сверстан, сброшюрован и оформлен с одной-единственной, тщательно прикрытой целью — отомстить коллеге Коржавину за личную обиду, опасность быть когда-нибудь и кем-нибудь выведенным на чистую воду не теряла своей актуальности.

Так писала я, еще не ознакомившись с томом под названием «Малоизвестный Довлатов», подаренным моей Маше его составителем, Андреем Арьевым, в ноябре 1997 года. В цикле «На литературные темы», оставшемся неопубликованным при жизни автора, снова возникает известный нам сюжет коржавинской притчи. Будучи записанным Сережей по свежим впечатлениям от выступления Коржавина, неопубликованный цикл, без сомнения, должен был служить «черновиком чувств» к обоим импровизациям — «Филиала» и «Не только Бродский».

Цикл начинается с эпиграфа из М. М. Зощенко, («...А значит, никто никого не обидел, и литература продолжается»), недвусмысленно отсылающего автора к жизненным перипетиям коллеги Зощенко. Ни конфликта с Коржавиным, ни самого коржавинского имени в тексте пока нет, что говорит о том, что даже неопубликованные работы Сережи лишены спонтанности. Есть короткая запись о сборах на конференцию («На конференции я оказался случайно»), вступающая в конфликт с версией, опубликованной в Предисловии к «Филиалу». Далее следует запись под названием «Старик Коржавин нас заметил», в которой ружье наконец ставится на прицел. Зачин

все тот же, более или менее известный читателю: «До начала конференции меня предупреждали: главное — не обижайте Коржавина...»). Однако дело не обходится без неожиданностей.

«Нам тоже досталось. Коржавин произнес следующее:

— Была в старину такая газета — „Копейка“. Однажды ее редактора, Пастухова, спросили: „Какого направления придерживается ваша газета?“ Пастухов ответил: „Кормимся, батюшка, кормимся...“

Действительно, была такая история. И рассказал ее Коржавин с подвохом. То есть наша газета, обуреваемая корыстью, преследует исключительно материальные цели... Вот что он хотел сказать...»

Если коржавинская притча была записана Сережей по следам живых событий, то как объяснить тот факт, что, выставив на публичное осмеяние «оппортуниста» и «корыстолюбца» Коржавина в «Филиале», Сережа предпочел забыть о первоисточнике, то есть о своем поединке с Коржавиным пятилетней давности? И тут становится актуальной сама хронология. Почему, спрашиваем мы, сам текст коржавинской притчи, уже существовавший в черновиках, оказался вымаранным из литературного Предисловия? Почему было не использовать его как документ, на материале которого мог бы строиться псевдодокументальный вымысел?

Начнем с того, что Довлатову меньше всего хотелось представить свой поединок с Коржавиным в уже существующем контексте, тем более в том, каким он был в реальной жизни. Не следует забывать, что довлатовские черновики, опубликованные после

смерти автора и вопреки его напутственному слову не печатать ничего без авторского согласия, не предназначались для читательского уха и глаза. Не исключено, что обе публикации делались автором в расчете на то, что реальный контекст уже выветрился из читательской памяти. Производя свою редакторскую правку, если угодно, цензуру «жизни», в результате которой эффект эзоповой притчи Коржавина должен был вернуться к Эзопу-Коржавину, причем без атрибутов притчи и с дивидендами в пользу Довлатова, Сережа твердо знал, что выдает желаемое за действительное.

Логика довлатовской цензуры, как, впрочем, и всякой политической цензуры, заключалась в том, чтобы направить орудие компрометирующего тебя оппонента против самого оппонента. Кроме того, сам факт вымарки текста коржавинской притчи нес в себе выгоду чисто прагматического свойства. Зачем напоминать читателю о том, что так неприятно, так пронзительно и так надолго сразило тебя самого? Ведь если на конференции читатель мог проглядеть скрытый смысл коржавинского намека, нет такой гарантии, что в контексте новых публикаций читателю по блажи вдруг не захочется взять да и поверить Коржавину? Ведь существует же у американцев такая поговорка: «Если тебя однажды обозвали задницей, пропусти мимо ушей. Если это сделали дважды, проверь в словаре значение слова. Но если в третий раз обозвали — покупай седло». Каким бы боком ни вышел Коржавину его экспромт, он, без сомнения, сослужил службу Довлатову, подкинув ему дефицитный сюжет для мифотворчества.

Но и самому Коржавину не пришлось скучать на страницах «Филиала». Будучи однажды зачисленным в список довлатовских персонажей-«обидчиков», он получил свое законное место рядом с «первой женой

Тасей» и писателем «Самсоновым», взятыми на прицел более четверти века назад. Поединок с «Самсоновым», наметившийся поначалу в виде воздушной, паутинной линии, был скроен, в согласии с опытом юношеских лет, по формуле борьбы снисходительного Голиафа, даровавшего победу изящному Давиду. При этом со всей осторожностью и осмотрительностью человека романтической расчетливости Сережа поначалу коснулся «Самсонова» всего лишь кончиком рапиры. Стрела умерщвления пронеслась стремительно в сторону «жены Таси».

Конечно, тут следует оговорить, что под именем Ваньки Самсонова выступил реальный писатель Аксенов. А за первой оговоркой должны последовать другие. Скажем, зачем кумиру Сережиной юности необходимо было стать персонажем «Филиала»? А статью Аксенову романическим героем «Филиала» было просто необходимо, причем куда более необходимо, чем, скажем, Шемякину стать персонажем короткого рассказа того же автора. Если подойти к истории, бредя от настоящего в глубь времен, то Аксенов был у Сережи на особом счету как литератор, когда-то занимавший позицию, на которую втайне претендовал он сам. Аксенов был упомянут Довлатовым в преддверии «Филиала» не единожды, но неизменно с таким подтекстом, что, дескать, была удала далеко позади.

«Теперешнюю прозу Аксенова я вообще не читал, потому что не могу ее прочесть — изнемогаю от скуки».

«То, что роман Аксенова набирается в „Панораме“, — естественно. Во-первых, Аксенов — почетный друг „Панорамы“ — вроде Максима Горького в колонии Макаренко. Кроме того,

в „Панораме“ работает дочка Майи — Алена... Алена могла устроить такой заказ».

Однако только ли литературные амбиции толкали Серезу на сведение счетов с бывшим литературным кумиром? Ведь Аксенов мог провиниться перед Серезей даже за пределами своей литературной карьеры. Скажем, Аксенов мог досадить Серезе неосторожным шажком, предпринятым на тропе сугубо частной и, возможно, даже интимной жизни.

«Рыскину Лена год носила бутерброды в редакцию,— писал Довлатов Ефимову, наверняка сочинив историю от начала и до конца,— и в результате он недавно божился в компании, что Катя не моя дочка, а, представьте себе, Аксенова».

Конечно, тут уж дело историков уточнить, в каком сочинительском пылу возникла у Серези эта мысль, в ходе ли работы над Предисловием к «Филиалу», где Аксенову надлежало оказаться предметом мечтаний его первой жены, или по мере выяснения условий брачного контракта с последней из жен. Как бы то ни было, но первоисточником мог оказаться инцидент двадцатипятилетней давности, конечно, если взять за точку отсчета не дату моего погружения в данные «Воспоминания» и не дату реальных событий, а выход в свет Серезино «Филиала». Короче, героиня романа «Тася», под именем которой изображена я, влюбилась в писателя Василия Аксенова в то самое время, как в «Тасю» был по-прежнему влюблен все еще не потерявший надежды на успех и уже счастливо женатый во второй раз, причем вовсе не на «Тасе», гарцующий Сереза Довлатов. Справедливость требует отметить, что на открытое произнесение

имени Аксенова Сережа долго не мог решиться из страха быть уличенным в том, в чем быть уличенным ему хотелось меньше всего. Короче, были времена, которые отсчитывались моментом публикации «Соло на ундервуде», когда, имея в виду Аксенова, Сережа писал с таинственной неопределенностью:

«К этому времени моя жена полюбила столичного литератора. Тогда я окончательно надулся и со всеми перессорился».

Заручившись уверенностью, достаточно к тому времени обоснованной, в том, что подлинные события ушли в историю, в связи с чем ссылка на жизненный материал прозвучит как вымысел, Сережа вводит тему Аксенова—«Самсонова» в текст Предисловия к «Филиалу». Успех, как и ожидает успешный автор, превзошел все расчеты. Однако, если воссоздать историю того, как попал к Довлатову его жизненный материал и каким образом он счел нужным им распорядиться, то есть если прочитать «Филиал» глазами его живых участников, смешная сторона широкого «вымысла» грозит оказаться, как и в случае с Коржавиным, попыткой сведения счетов с обидчиками.

Году в 1968—69-м Сережа заглянул на огонек, застав меня в разгар уборки в доме. В очередной раз вернувшись из кухни, я застала Сережу с любопытством рассматривающим фотографию Аксенова, подаренную мне, с шутливым посвящением на обороте:

Перед вами снимок с Васи.
Борода висит до чресел.
Он влюблен ужасно в Асю.
Этим он и интересен.

Держа фотографию в обеих руках, Сережа театрально приблизил ее к лицу:

— Аксенов всегда представлялся мне в первую очередь женатым человеком, а тебе, должно быть, не давали покоя его лавры знаменитого прозаика.

Несколько лет спустя после публикации «Филиала», то есть в январе 1989 года, Сереже предстоит сделать признание, объясняющее мотив жанра псевдодокумента через свое отношение к Василию Аксенову.

«Правы Вы и в том, что я не люблю людей, которые „в ладах с собой, с жизнью, друг с другом“, — писал Сережа Игорю Ефимову, — вернее, не „не люблю“, а просто я завидую им, потому что сам я никогда ни с чем в ладах не был, но при этом хотел бы быть и веселым, и успешным, и вообще быть похожим на Аксенова...

...Никогда мне не дано было ощутить довольства собой или жизнью, никогда я не мог произвести впечатление человека, у которого все хорошо, к которому стоит тянуться, который располагает к себе именно своей успешностью, для простоты — тот же Аксенов».

По схеме, уже известной из его воспоминаний о знакомстве с Бродским, о поединках с Коржавиным, Шемякиным и так далее, Сережа как бы берется описать встречу со своей первой женой, последовавшую после двадцатипятилетней разлуки. И что же? Во всеилии представителя своего жанра, Сережа совершает подмену жизненного документа на псевдодокумент, при этом расставив все акценты, необходимые для поддержания искусственного дыхания

в человеке, который не любит людей, находящихся «в ладах с собой, с жизнью, друг с другом».

«...Сколько лет мы не виделись? Пятнадцать?..

Я слышу:

— Как ты постарел! Ты страшно постарел! Ты отвратительно выглядишь!

И дальше без особенной логики:

— Ты — моя единственная надежда. Жизнь кончена. Иван женился. У меня нет денег. И к тому же я беременна. Могу я наконец зайти!

Через минуту из уборной доносилось:

— Я приехала к Ваньке Самсонову, но Ванька, понимаешь ли, женился. На этой, как ее...

Я спросил:

— Откуда?

— Что — откуда?

— Откуда ты приехала?

— Из Кливленда. Вернее, из Милуоки. Я там читала курс по Достоевскому. Услышала про ваш дурацкий форум. И вот приехала к Самсонову. И выясняется, что он женился. А я, представьте себе, беременна.

— От Ваньки?

— Почему от Ваньки? Я беременна от Левы. Ты знаешь Леву?

— Леву? Знаю... Как минимум троих.

— Неважно. Все — один другого стоят... Короче, я обожаю Ваньку. Ванька сказал, что устроит меня на работу. Он женился. Кстати, ты знаком с этой бабой? Ей, говорят, лет двести.

— Рашель, извини, на два года моложе тебя.

— Ну, значит, сто. Какая разница?.. Мне Лева говорит — рожай. Его жене недавно вырезали почку. Деньги кончились. Контракт со

мной не продлевают. Ванька обещал работу. Ты моя последняя надежда.

— В смысле?

— Я должна переодеться. Дай мне свой халат и пижаму.

— У меня нет халата и пижамы. Я, как ты, вероятно, помнишь, сплю голый.

— Какая мерзость,— слышу.— Ладно, завернись в простыню. А ты пока купил бы мне зубную щетку.

— У тебя есть деньги?

— На зубную щетку хватит...

В холле я увидел знаменитого прозаика Самсонова. Они с женой, Рашелью, направлялись в бар. Могу добавить — с беззаботным видом. А теперь вообразите ситуацию. Я — Аккерман, ведущий. Прилетел в командировку. Остановился в приличной гостинице. Скучаю по жене и детям. И вдруг, буквально за одну минуту,— такое нагромождение абсурда. На моем диване, завернувшись в простыню, сидит беременная женщина. Причем беременная черт знает от кого. Сидит и обожает Ваньку. А он направляется в бар с красивой женой. А я несу в кулаке зубную щетку для этой фантастической женщины. И конца беспокойству не видно», — пишет Сережа в Предисловии к «Филиалу».

Под прикрытием документальной прозы автор «Филиала» ретроспективно осуществляет сведение счетов с двумя обидчиками: с обошедшим его знаменитостью «Самсоновым» и оставившей его «женой Тасей», обида к которым настоялась, оставив коржавинскую далеко позади, на двадцатипятилетнем брожении сула. Не исключено, что Коржавин занял свою позицию рядом с «Тасей» по ассоциации.

Возможно, ощущение укуса коржавинского жала пятилетней давности отдавало вкусом другого жала двадцатипятилетней давности. Но, как бы то ни было, так же как персонажу Коржавину автор Довлатов предначертал пройти путь от провинциала до оппортуниста, персонажу «Тасе» была отведена роль многократно отвергнутой женщины. При этом «Тася», будучи отвергнутой счастливо женатым «Самсоновым», соперником Довлатова в прошлом, ищет защиты у преуспевающего и не менее счастливо женатого Довлатова, который как бы добровольно вручает ее «Самсонову», одновременно сравнив счета с ними двумя.

Если когда-нибудь потомкам откроется такой «факт», что в довлатовском архиве было отведено особое место, скажем полка или две, «ретроспекции» и «ретрообидчикам», мне лично это не покажется удивительным, ибо корневым словом во многих его Предисловиях, Преамбулах, Интродукциях и Прологоменах, включая Предисловие к «Филиалу» или, скажем, «Зоне», является латинское *retro* и *specio*, то есть размышление «после событий». Однако было бы ошибочным полагать, что ворота настоящего времени были наглухо забиты для Сережиных счетов с обидчиками.

Оправившись от недугов юности и, можно сказать, с той самой юностью распрощавшись, моя подруга Нина Перлина едет в Москву («в Москву»), где ее гостеприимно встречает уже обжившая столицу подруга Женя. Продолжая традицию «в Москву, в Москву» сначала в ресторане Московского вокзала, а затем в вагоне-ресторане «Красной стрелы», Сережа ступает на московскую землю и, не имея других и особых дел, разыскивает и навещает Нину у Жени, застав ее там в одиночестве. Поговорив о том о сем, Сережа оживает:

— А что, Нина, не начать ли мне за вами ухаживать?

— Боюсь, что из этого ничего не выйдет, Сереженька,— отвечает Нина.

— Как так не выйдет? Вы посмотрите на меня. Такого молодца просто на улице не встретишь.

— Пожалуй, вы правы,— соглашается Нина.

— Так в чем же дело? Может, нам кто в данную минуту дорогу перебегает? Скажите мне, кто же этот другой?

Нина хохочет.

— Так, значит, и вправду другой?

Нина хохочет пуще.

Вернувшись в Ленинград, Сережа рассказывает общим знакомым:

— Навещаю Нину Перлину в Москве. Вижу, она там совсем одна. Ну посидели, поговорили. Накормила она меня, напоила. Тут я ей в благодарность предлагаю свою скупую мужскую ласку. И что бы вы думали, слышу в ответ? «Не могу,— говорит,— вам ответить тем же. У меня уже кто-то есть». Представьте себе, так прямо и говорит: «Кто-то есть, другой, дескать, спутник жизни. Соперник».

Чем отличается в данной истории реальное событие от документа, созданного художественными средствами? Казалось бы, попытка реального Сережи поволочиться за реальной барышней заканчивается неудачей, проигрышем, несостоятельностью, отказом, провалом, повторяя, кстати, результат реальной встречи рассказчика «Филиала» с «Тасей». Однако в обоих случаях история рассказывается художественно, причем рассказывается так, что при всех расставленных акцентах перед читателем предстает уже не неудачник, не проигравший, а победитель, триумфатор, Дон Жуан, разжигатель и тушитель пожаров женского сердца.

А кто же оказался в остатке? Кому достались облигации неудач, проигрышей, несостоятельности, отказов и провалов, оставленные Сережей за пределами вымысла? Разумеется, тем барышням, «Тасе» и «Нине». И если задаться вопросом о том, какими художественными средствами добился рассказчик, Сережа, желаемого эффекта, то ответ получится довольно банальный. Отказ обеих барышень представлен в виде исполнения фиктивного и тягостного долга, в жертву которому приносится мечта о подлинной любви, которой не может быть не что иное, как любовь к Довлатову.

В выбранном Сережей жанре существенно помогает прием нарушения анонимности персонажей, идет ли речь о частных лицах или о знаменитостях. А о знаменитостях у амбициозного Довлатова имеется целая серия, где, при должной защите литературой, как ширмой, щитом, мечом и забралом, прослеживается возврат к пиратскому опыту нежного возраста. Закрываясь литературой, как ширмой, Сережа мечтал поставить ширму так, чтобы виден оказался только он. Тот путь, где мечта явилась Сереже еще и в виде пророчества, читателю предстоит еще проходить и проскакать.

Подкрадываются к истине

Если городские часы стоят, они все же два раза в день правильно показывают время: стоя на двенадцати — в полдень и в полночь. Вскоре они начинают немного отставать, врут, завираются, бредят, наконец, ближе к ночи, неловко, неподеижно опять подкрадываются к истине.

Борис Поплавский

Еще три года назад мысль о том, что я стану извлекать из собственной памяти куски и лоскутки из нашего с Сережей зыбкого шатра, не возникала даже в моем подсознании, так далека я, казалось, была от моей юности и географически, и хронологически, и по жизненному мироощущению. Припоминаю, что в первые годы эмиграции, когда я стала обрастать новыми друзьями, моя подруга Аня Крот, которая совершала бесчисленные перелеты в Россию и обратно, пользуясь льготами советского гражданства, потребовала Сережиных координатов, с тем чтобы познакомиться с моим прошлым из одного из первоисточников. Кажется, тогда Сережа ее ошарашил категорическим заявлением. «Об Асе,— сказал он, с широким гостеприимством распахнув двери,— мне сказать нечего, кроме того, что она причинила мне много зла».

Памятуя о Сережином театре, я пропустила это заявление мимо ушей, как впоследствии игнорировала саркастические нити, вплетенные в мое имя создателем автобиографического волокна Довлатовым.

Если в каких-либо скрижалях еще сохранилось разделение мемуаров на увеселительные, типа

историй Штелина о Петре Первом, и, наоборот, серьезные, типа сказаний протопопа Аввакума, то мои, пожалуй, не принадлежат ни к одной из этих категорий. Аналогично мои воспоминания не основаны на дневниковых и иного рода регулярных записях, типа мемуаров Лидии Корнеевны Чуковской об Анне Ахматовой. Мемуаристом я стала случайно и вопреки. В апреле 1996 года мне позвонил незнакомый человек, Григорий Поллак, и на языке, на котором мне не приводилось вести беседы с незнакомыми людьми более двадцати лет, предложил, чтобы я написала воспоминания о Сереже. Он готовил альманах и назвал имена участников, в числе которых были Аксенов, Битов, Бобышев, Попов и другие. Моим первым побуждением было отказаться, что я тут же и сделала. В моем распорядке дня не было места для мыслей о нашей молодости. Однако, чтобы как-то смягчить свой отказ, я предложила Григорию Поллаку послать мне вопросы, если таковые окажутся, на которые пообещала дать, по мере возможности, вразумительные ответы.

Через два дня у меня было написано больше двадцати страниц, а через две недели больше шестидесяти. В июле 1997 года я уже твердо знала, что пишу книгу. Примерно к тому времени, когда Поллак похерил идею альманаха, я закончила первую версию, копию которой подарила Пете Немировскому и Инне Грушко, дружбой с которыми разжилась на более поздних ступенях эмигрантского существования. Прочтя и похвалив мое творение, они через своего техасского друга познакомили меня с Наташей Белинковой-Яблоковой, которая щедро распорядилась судьбой моей рукописи, собственноручно отправив ее к Виктору Перельману, редактору «Время и мы». На правах замечательного редактора и самозванного автора Перельман опубликовал части моей

рукописи с собственными вкраплениями в своем журнале.

Что же изменилось в моем сознании? Что понесло меня на ниву мемуарной публицистики? Ну, разумеется, вдруг возникшее сознание долга перед Машей, у которой никогда уже не будет возможности узнать что-либо о собственном отце от него самого, равно как и страх упустить шанс поведать ей нечто, что бы исходило не от других людей, а от меня лично. Однако уже при первом сделанном шаге не обошлось и без собственного интереса. Прочитав километры довлатовских текстов, до которых ранее у меня не доходили руки, да и ноги, я сделала свое первое открытие о существовании конфликта. Я вдруг увидела, что Сережа, будучи способным на качественный отбор материала, к литературе принадлежащего, был начисто лишен фантазии, в связи с чем находился в трогательной и беспомощной зависимости от тех, на чей счет блистал неотразимым юмором.

С одной стороны, тексты типа «Соло на ундервуде» или «Невидимой книги» явились продуктом коллективного творчества и Сереже как таковому не принадлежали, в то время как тексты типа «Зоны», оплата по дивидендам которых принадлежала лично Сереже, заслуживали признания в контексте творчества его неизменного круга, квадрата и параллелепипеда. В числе прочих открытий мною было сделано и наблюдение о собственной роли в том, что поступило на прилавки и в лавки в качестве предмета Сережиной фантазии.

«Некоторые формалисты,— писала я в своих черновых записях,— например Виктор Борисович Шкловский, чтобы как-то начать разговор о литературе с нуля, сводили историю мировой литературы к наличию нескольких устойчивых

и повторяющихся сюжетов. Моя роль в Серезиной литературной охоте ближе всего повторяла сюжет пушкинского „Поединка“. Хотя в реальной жизни поединки сопутствовали Серезе, как Добчинский и Бобчинский Хлестакову, в литературном контексте мотивы поединков чаще всего были доступны лишь тем, кто досконально знал события, из которых они вышли».

Будучи привилегированным зрителем на многих Серезиных поединках жизни и сама являясь живой мишенью некоторых из них, я занялась восстановлением тех контекстов, которые им предшествовали. Вслед за контекстами отыскивались скрытые мотивы. Поединок со мной вырос в некий прототип. Здесь речь могла пойти о дуэли как пожизненном состоянии, достаточно неудобном и неприемлемом для жизни, но повергшем одновременно двух друг с другом не связанных людей, слив их воедино вопреки их воле. Один человек имел неосторожность, говоря абстрактно и опустив детали и условности того времени, пожалеть другого человека, чего другой человек не смог, не научился ему простить до конца своих дней. Расставшись с Серезей в начале шестидесятых и прожив несколько жизней при ином атмосферном давлении и с иным «выделением слюны в результате речи», я с горечью поняла, что все мои попытки «искупить» свою воображаемую вину не растопили Серезино хронического недуга. Однако Сереза, со свойственным ему непостоянством, отдался своему ожесточению только наполовину. В одной руке он продолжал нести свое сердце, щедро расплачивающееся сердечностью за сердечность, в то время как другую руку, с маузером на прицеле, он держал в кармане своего единственного твидового

пиджака, верша возмездие за жалость, которая была проявлена к нему в молодости и за которой Сережа тогда же разглядел скрытое равнодушие.

У Александра Жолковского вышла статья со скромным названием: «Анна Ахматова — пятьдесят лет спустя», где с присущим автору блеском демонстрируется закулисная драма жизни одного мифотворца. Не будучи в центре эмигрантской жизни, я узнала о существовании этой статьи по силе взрывной волны, которая докатилась даже до нашего провинциального городка. Соборная эмигрантская толпа, равно как и соборная толпа отечественных интеллектуалов, злопыхательствовала в адрес автора, осмелившегося посягнуть на святая святых — авторитет мифотворца, кавалера прогрессивной премии Этна Тармина и получательницы оксфордской мантии доктора философии.

У Жолковского речь идет об авторитете Анны Андреевны Ахматовой. Однако я полагаю, тут речь может пойти об авторитете всех наших героев-мучеников. О Пушкине, декабристах, Достоевском, Солженицыне, Пастернаке, Бродском и, представьте себе, даже Довлатове, вслед за которым вышагивает многострадальная русская интеллигенция как в эмиграции, так и в собственном отечестве. Шествие продолжает многострадальный русский народ и замыкает пострадавший от красного террора монархический престол. Всех их объединяет ореол элитарности и ореол тайны. Все создавали свои «институты» в согласии с устоявшимися клише христианской соборности, где бедность есть, в сущности, богатство, где «я» есть одновременно и «мы», где за «стоическим самоотрешением» проглядывает «нарциссистское самолюбование», где проповедь индивидуальности всегда и неожиданно оборачивается подавлением той же индивидуальности.

Казалось бы, становится понятным, почему на Жолковского набросились решительно все. Он посягнул на элитарность и избранность не только объекта своего исследования, но и всех и каждого из своих читателей, занятых созданием собственных мифов по образцу мифотворчества их кумиров. Но и тут возникают некоторые тонкости. Во-первых, Жолковский отказался от пафоса поляризованных абстракций, влитого не одним поколением наших религиозных философов прямо в кровь каждому российскому интеллектуалу, заменив его эффектом «стокгольмского синдрома», согласно которому «жертвам свойственно принимать точку зрения своих властителей...».

Таким образом, «жизнетворческий перформанс», неотделимый от ритуала оценки такого «перформанса» господами номенклатурной свиты, неизменно присутствующей при создании мифа, будь то ахматовской, будь то свиты господ советской партократии, и есть начало истории культа, культа ахматовского, культа монархического, культа генералиссимуса и даже культа анонимного, на который вот-вот и вскочит вчера малоизвестный, а сегодня довлеющий над всеми умами охотник до человеков Сережа Довлатов.

Вторая тонкость заключается в том, что «сила господствующих мнений не в их аргументированности, а в их принятости», как говорит пророк Жолковский, сам оказавшийся жертвой своего пророчества. «Ритуально-мифологическое» мышление, являясь общепринятым, не допускает никакого другого мышления. Сегодняшний читатель убежден, что Ахматова была вдовой Гумилева, и тот факт, что Гумилев, разведясь с Ахматовой, женился на Энгельгардт, для большинства читателей означает пренебрежительно малую поправку, которая лишний раз доказывает

преимущество мифа перед фактом. Продолжая аналогию, отмечу, что до сегодняшнего дня лица, ломающие перья над глубинами довлатовского вымысла, включая гостившего у меня в ноябре 1997 года Андрея Арьева, не поинтересовались тем, что творится в моей голове, из, надо полагать, единственного опасения, что моя информация может разрушить созданный Сережей и подхваченный его свитой миф.

Без человеческого лукавства

А внизу, четыреста метров под ними, рос столетний лес и, протянувшись ниточкой, по дороге весь превращаясь в пену и хрустальную пыль, однообразно грохотал поток, непрерывный водяной фейерверк, не подчинившийся еще человеческому лукавству.

Борис Поплавский

Меня опять упрекнул в дислокации и передислокации, то бишь в подмене Божьего дара яичницей, а яичницы огуречным рассолом. Конечно, заманчиво жить так, чтобы никого ни с кем не сравнивать и ни о чем не судить сгоряча. Но что получается? Ахматова, к примеру, прожила долгую жизнь, принимая сильное участие в том, чтобы с размаху шагнуть в историю русской поэзии. Все это так, но что делала Ахматова в свободное от творческих усилий время? Возьмем тот же ахматовский миф о себе. Он что, взял и пришел к нам нерукотворно? Или подлежал своего рода ваянию? А на ваятельном фоне и о Довлатове сказать уместно. Правда, у Довлатова, помимо проблемы ваяния, была проблема того, что скосить с плеча, с чем повременить и о чем подумать в сугубом одиночестве.

И дело тут не только в подробностях его женитьбы. Делов-то с этими женами. Ну, наворотил разных версий, поманил читателя указательным пальцем правой руки: «Доколупай-ка, братишка, до мысли, то есть сотвори легенду за автора». А братишка и рад стараться. Его только помани. Он сразу все доколупает, домыслит и такую тебе легенду сотворит, что тебе и во сне не приснится. Так что с женитьбами

чуть свет расхлебался. Но на том проблема того, что сказать, с чем повременить и о чем подумать в сутубом одиночестве, вовсе не иссякла. Как, рассуждал он в ночные часы вселенского бдения, следует относиться чувствительному ваятелю собственного мифа к теме отцовства?

Сказать, что Сережа избегал самой темы отцовства, было бы несправедливым. Некоторым образом он бессознательно стремился к ней. А те темы, к которым Сережа бессознательно стремился, как уже было однажды замечено, попадали у него под самую что ни на есть стремительную рубрику, а именно в раздел Предисловий, Преамбул, Прологомен, Введений и Интродукций. Вот Сережа и вызвался заполнить свою стремительную рубрику в виде Предисловия к одной восхитительной книжке под названием «Илюшины разговоры». Вызвался Сережа написать Предисловие, возможно, ввиду того, что книга была написана давнишней подругой юности, Диной Виньковецкой, а возможно, и ввиду того, что ее персонажи, Дина и Илюша, оказались достойными объектами для размышления на тему отцовства. Предисловие было озаглавлено двусмысленно, «Устами младенца», позволив автору, самому причастному к теме отцовства, как бы причаститься и к тем устами, которые, согласно народной мудрости, глаголют истину, и к той истине, которую эти уста глаголют.

С журналистской сноровкой автор Предисловия хватает быка за рога, ища разгадку Илюшиной исключительности в генетических корнях, предварительно заквашенных в марксистском рассоле.

«Илюша формируется в необычных для рядовой советской массы условиях, которые создали ему родители, Диана и Яков Виньковецкие, люди, близкие к диссидентским кругам».

Засолив и поперчив вундеркинда Илюшу по генетическому рецепту, единственно известному Гаргантюа от журналистики, повар Сережа поместил банку с рассолом на хранение в «интеллектуальную теплицу» и «духовную оранжерею». Однако в ходе стряпни он об этой банке позабыл, проглядев и своего единственного протеже, живого мальчика Илюшу, гениального в своей необучаемости и сопутствующей ей любознательности. А одного ли живого «мальчика» Сережа проглядел?

Факт Сережиного отцовства противоречил самому безыскусному евангельскому слову, не говоря уже о тщательно выписанном автором литературном имидже. Катя, дочь Сережи с Леной, как было упомянуто выше, родилась до того, как Сережа получил развод со мной, Маша, наша дочь с Сережей, родилась после моего с Сережей развода, Коля, сын Сережи и Лены, родился после их развода, который состоялся еще в России. Существует, по дошедшим до меня слухам, еще один ребенок, родившийся от таллинской жены Сережи, Тамары Зибуновой. Девочку зовут Саша. Я не случайно делаю такую паузу. Хотелось бы выпросить у себя-мемуариста для Сережи Довлатова небольшое послабление. Едва познакомившись с Тамарой, я захотела сделать эту оговорку. Видимо, в силу редкого сочетания снисходительности, веры в Сережин талант и личного мужества именно Тамаре удалось извлечь из Сережи абсолютный максимум душевной теплоты и альтруизма, на который он оказался способен. И тому читателю, которому не терпится узнать, что оказалось пределом душевной способности Сережи в период полной безнаказанности, рекомендую заглянуть в интернетовский site под названием www.zibunova.narod.ru.

Свою философию отцовства Сережа не преминул почерпнуть из отечественной литературы. Например,

на манер героя «Подростка» он предпочитал перепоручить заботу о детях их матерям и так поступал со всеми детьми, что было, вероятно, не просто, даже учитывая тот факт, что от двух счастливых брачных контрактов, выведенных из формулы «Я был женат дважды, и оба раза счастливо», не осталось ни одного ребенка, подпадающего под рубрику «законно-рожденных». Сузив свою задачу историей одного отцовства, связанного с одним ребенком, не могу не обойтись без аналогий.

«Остракизм был один из немногих — и потому излюбленных — реальных орудий власти, доступных Ахматовой», — пишет Александр Жолковский, предпосылая это замечание рассказу о реакции Ахматовой на то, как «В. Г. Гаршин прямо на перроне Московского вокзала в Ленинграде (май 1944 года) объявил, что передумал на ней жениться».

За «разрывом с Гаршиным» последовало... уничтожение ею их переписки, запрещение знакомым упоминать о нем, снятие посвящений ему в «Поэме без героя» и т. д.

Не исключено, что ахматовский остракизм был взят на вооружение Сережиным подсознанием, ибо вслед за Анной Андреевной и, возможно, в назидание опрометчивому Орфею, который, как известно, не удержался от рокового соблазна оглянуться назад, Сережа прожил почти половину своей жизни, оставшись верным одному воздержанию. Еще до рождения Маши Сережа сказал, узнав о моей беременности: «Если вернешься ко мне, будет отец у ребенка. Если не вернешься — ребенок будет твоим, и винить ему будет некого, кроме тебя».

Известно, что Анна Андреевна до конца своих дней не простила Гаршину его поступка, вычеркнув его из своей жизни. Аналогично, но еще более изощренно поступил Сережа, отказавшись от того, чтобы однажды лицезреть своего собственного ребенка, Машу. Как всегда, Сережин расчет был безупречен. Он победил мое равнодушие той же логикой и тем же простым расчетом, каким завоевал и веру кондуктора, уличившего его в проезде без билета, и веру каждого читателя, который поверил в Сережину исключительность и Сережины фантазии. «Что угодно может выдумать человек, но добровольно стать Альтшуллером — уж извините», — звучит оригинальная формула. «Можно мстить женщине чем угодно, но заставить ее равнодушно взирать на то, как наказывают ее ребенка, — вряд ли возможно», — звучит Сережина формула в усовершенствованной версии.

Если учесть, что Маша родилась 5 ноября 1970 года, а Сережа умер 24 августа 1990 года, то оказывается, что за двадцать лет довольно-таки разухабистой жизни в Сережином сознании не наступило момента, когда бы он, усомнившись в однажды принятой мести, вдруг спонтанно или в каком-либо порыве нарушил свой обет отторжения собственной дочери. При этом Сереже удалось удержать за собой репутацию человека вспыльчивого, но отходчивого. Полагая, что репутации относятся больше к сфере мифа, нежели реальности, делаю допущение, что «отходчивость» Сережи была заключена в тиски такого временного режима, при котором исключалась какая бы то ни было волевая деятельность, в то время как для проявления «вспыльчивости» были раздвинуты границы вечности. Как бы то ни было, но миф вспыльчивого, но отходчивого, а стало быть, беззлобного человека был прочно закреплен за Сере-

жей благодарными потомками. Виктор Ерофеев даже назвал свое интервью с Сережей «Даром органического беззлобия», хотя неясно, из каких таких источников черпал интервьюер Ерофеев свое наименование.

Что происходило в сознании Сережи по части отцовства за эти двадцать лет, узнать невозможно, и оснований думать, что у него никогда не возникало моментов «отходчивости», у меня нет. Однажды, во время моего нью-йоркского визита к ним, Нора Сергеевна нарушила негласный обет обходить опасную тему молчанием. Зазвав меня к себе в комнату, она спросила о Маше и, выслушав мой ответ, сказала растерянно: «А я боюсь ее увидеть... Боюсь полюбить».

Что касается меня, памятуя о Сережином отцовском вкладе в воспитание своей старшей дочери, Кати, ограничивавшееся тем, что отец иногда приносил Катю в сумке в пивную, поручая и сумку, и Катю произволу гардероба без гардеробщиков, я была далека от того, чтобы пожалеть о несостоявшейся заботе Сережи о Маше. Когда Маша подросла, я заняла другую позицию, и в июле 1988 года, в мой очередной визит в Нью-Йорк за два года до Сережиной смерти, я предложила Сереже начать с Машей переписку, на что он согласился с присущим ему рыцарским бряцанием доспехов.

Помню, как, сидя в многолюдном кафе на 42-й улице, куда мы забрели после прогулки, и жуя какой-то бутерброд с вытекающими из него последствиями американского образца, я спросила Сережу:

— А не настал ли момент познакомиться с дочерью?

— Давно настал,— сказал Сережа, почему-то вскочив.— Всенепременно.

Однако по какому-то наитию я решила пощадить Машу, освободив ее от томительного ожидания обещанного контакта, что оказалось разумным решением. В письме, помеченном 22 сентября 1988 года, Сережа поспешно и бесповоротно отменил свой рыцарский порыв, заменив его многословным Последствием:

«Милая Ася! Я дважды пытался написать Маше письмо, но ничего из этого не вышло. Все это предприятие мне кажется довольно-таки искусственным. Нет таких слов, чтобы объяснить, почему человек 18 лет не интересовался девочкой, а затем вдруг решил представиться: „Говорят, я ваш папа“ и так далее. Все это выглядело бы фальшиво. Как это ни дико звучит, но Маша явилась в результате случайной встречи, когда не только с твоей, но и с моей-то стороны не могло быть и речи о каких-либо чувствах, если не считать твоего равнодушия и моих обид. Много лет, до и после этого события, я считал себя жертвой, а тебя — соответственно — преступницей, пока не узнал, что ни жертв, ни преступников в таких делах не бывает, но к тому времени мои недобрые чувства к тебе переросли в безразличие, которое распространилось на ни в чем не повинную и по всем имеющимся сведениям — прелестную девочку Машу. Так или иначе, я не в силах написать ей ничего такого, что не казалось бы мне заведомо фальшивым, глупым и даже пошлым. Кроме того, не желая обижать тебя, я все-таки скажу, что как-то органически не верю в свое отцовство, — уж слишком плохо ты ко мне относилась. Что-то во мне бессознательно твердит, что для рождения ребенка необходим хоть

какой-то, самый минимальный энтузиазм. Возможно, тебя огорчит это письмо, но мне хотелось бы быть абсолютно правдивым. Разумеется, ты предоставишь Маше такую информацию, какую сочтешь нужным. Надеюсь также, что мы когда-нибудь все-таки увидимся с ней в другой более или менее естественной обстановке.

Всего доброго, С. Довлатов».

От наблюдательного читателя, каким позволю себе наречь собственную персону, не ускользнул такой факт, что фраза «...для рождения ребенка необходим хоть какой-то, самый минимальный энтузиазм» составляет цитату из документа, сочиненного в контексте авантюрного приключения с объектом, «Светлана» (смотри Сережино письмо к отцу армейского периода), в то время как оборот «увидимся... в другой обстановке» заимствован из, так сказать, «художественного» текста «Компромисса»:

«— Надо же русскому диссиденту опохмелиться, как по-твоему?! Академик Сахаров тебя за это не похвалит...

И через минуту:

— Вера, дай одеколону! Дай хотя бы одеколону со знаком качества...

Я спросил:

— А где пакет с деньгами?

— Тсс... На чердаке,— ответил Марков и громко добавил,— пошли! Не стоит ждать милостей от природы. Взять их — наша задача!..

Я сказал:

— Вера, извините, что так получилось. Надеюсь, мы еще увидимся... В другой обстановке...»

Несмотря на отсутствие оригинальности письмо Сережи оказалось пророческим. Маша увиделась с ним в другой, более или менее естественной обстановке, разумеется, естественной не для Маши, а для пророка Сережи — на его собственных похоронах. В ночь накануне похорон Маша, впервые сподобившись услышать откровение об отце, как бы повторила опыт первых слушателей евангельской притчи. И ей, как и им, предстояло решить, хочет ли она запечатлеть в своей памяти нерукотворный образ, которого увидеть при жизни ей не довелось. Была ли тому виной божественная прихоть или разреженный высокогорный воздух Кавказа, но двадцать лет фиксации на одной идее мести сами собой переросли в документ сродни истории болезни. Согласно этому документу, месть, изобретенная Сережей, выходя за рамки тривиальных, воплотила в себе наиболее ценные для Сережи литературные качества, если верить, что простота, изящество и остроумие занимали самую высокую позицию на его шкале ценностей.

В мести Сережи не было ничего от реальной мести и даже отсутствовал неотъемлемый элемент мести: намерение причинить зло. То есть изначально такое намерение, возможно, и существовало, но сценарий мести был построен на простом расчете, что никакие представления о намерении не способны выдержать испытания временем, которым измерялся срок действия, больший, чем жизнь.

В реальном мире все шло своим чередом, происходили события, в которых даже отдаленная мысль о мести выходила за границы правдоподобия. Мы дружили. Сережа бряцал рыцарскими доспехами, пил, пописывал. Месьть жила своей жизнью, совершала перелеты через океан, гуляла то в мундире статского советника, то в облатке коммивояжера. Одним словом, месть производила свое действие, как прививка

с неограниченным сроком действия, освобождая мстителя от дальнейшей ответственности и участия.

Однажды введя вакцину и умыв руки, Сережа мог отнюхать от цветка желтофиоли, заняв ложе благосклонного франкмасона, или, вняв зову предков и судьбы, предаться бытописанию земли и дней минувших анекдотов. И если воздавать цезарево Цезарю, то нельзя не признать, что Серезины контакты с Машей или их отсутствие не сильно отличались от контактов с другими детьми, к которым понятие «отсутствие контактов» было неприменимо. Убедиться в этой мысли мне довелось, читая посмертное интервью о Сереже под убийственным названием: «Он мечтал о домике, шортах и своем огороде», датированное 22 августа 1995 года и взятое у Кати Довлатовой.

На самый первый заданный ей вопрос (Как складывались в детстве ваши отношения?) поступил ответ, поразивший меня своей предопределенностью, как бы исключаяющей спонтанность живого воспоминания.

Лишенная памяти об отцовском участии, скорее всего за отсутствием прецедента участия, Катя проявляет дочернюю готовность оправдать отца, оградить от всяческих нападок, взять под свою детскую защиту. Однако в ее словах нет ни страсти, ни адвокатской риторики, ни, наконец, личной ответственности. Лишь хрестоматийная убежденность мышления, однажды и навсегда поверившего авторитету, сподобившемуся общественного признания. За каждым словом, произнесенным Катей в защиту отцовской «любви», по Фрейдю, вопиет обделенность любовью и отрицание всего, что может посягнуть на пустующие пазухи памяти о живом контакте с отцом.

— Когда я родилась, папа был еще очень молодой — тогда писательство было для него важнее

всего. И хотя у меня нет никаких сомнений в том, что он меня очень любил, ему все же было только 25 лет (мне сейчас — 29, у меня нет семьи, и я еще не готова к тому, чтобы ее создавать); а для человека, который хочет чего-то добиться в жизни, тем более в творчестве, это еще слишком мало.

Гораздо позже, в 1990-м, давая интервью Виктору Ерофееву, папа говорил, что с течением времени «на передний план выдвинулись какие-то странные вещи: выяснилось, что у меня есть семья... что дети — это не капиталовложение, не объект для твоих сентенций и не приниженные существа, которых ты почему-то должен воспитывать, будучи сам черт знает кем, а что это какие-то Божьи создания, от которых ты зависишь, которые тебя критикуют и с которыми ты любой ценой должен сохранить нормальные человеческие отношения...».

На следующий вопрос (А вы помните, чтобы он читал вам какие-то книжки, и хотел ли, чтобы вы полюбили те из них, которые любил в детстве он сам?) в адвокатском досье дочери не находится лучшего аргумента, нежели тот, что ее подзащитный-отец не прочел ни единой книги своему тогда единственному ребенку. Интуитивно почувствовав слабое место защиты, Катя обрушивает вину на самого «ребенка», наделив этого ребенка, себя, неспособностью, якобы присущей ему от рождения. Не иначе как задавшись целью представить отца в наилучшем свете правдами и неправдами, Катя даже умудряется приписать отцу такие намерения, которые ни по каким критериям несовместимы с довлатовским стандартом. Он, видите ли, «наверное, просто хотел, чтобы я была хорошим, порядочным человеком и была счастлива».

— Кажется, что произведения Довлатова автобиографичны... Насколько, по-вашему, этот образ

совпадает с Довлатовым — реальным человеком? — поступает вопрос.

— Сейчас, когда я перечитываю папины вещи, — стойко держится своих позиций Катя, — очень чувствую, что в его героях проявляются черты его личности — порядочность, справедливость, щедрость, доброта. Но они бывают и мрачными, и пьют — все это тоже его черты. Ведь он никогда себя не приукрашивал. Еще теперь я часто убеждаюсь, что у нас похожие взгляды на жизнь, сходные душевные ценности; я «прочитываю» это в его «лирическом герое».

Убежденность Кати, разделяемая многими критиками, в том, что ее отец «никогда себя не приукрашивал», существует бок о бок с неспособностью увидеть в его характере ничего, кроме набора ходульных добродетелей, отрицать которые не имеет смысла хотя бы потому, что они, как все ходульные истины, смысла не имеют.

— Был Довлатов порядочным?

— В каком-то смысле был.

— Был справедливым?

— Не без того.

— Был щедрым?

— Случалось и такое.

— Был добрым?

— А как же без доброты?

И тут прямо-таки напрашивается довлатовское завершение по известной формуле. «Вот посмотри, Катя, отец твой был порядочным, справедливым, щедрым и добрым человеком и был пессимистом. А ты — такая неспособная, в прошлом „приниженное существо“, ничего еще не добившееся в жизни, — и ты такой оптимист. Не ввели ли тебе, на манер Сережиного героя, писателя Наровчатова, вакцину доктринерства?»

— И последний вопрос. Из области фантазий. Если бы... он жил бы в России, как вы думаете, как сложилась бы его творческая судьба? В отсутствие идеологической конъюнктуры, но при конъюнктуре рынка, которая хоть и меньшее (по Довлатову), но тоже зло. Он сам признавался, что в Америке вряд ли стал бы писать «Заповедник», — шансов издать его по-английски было мало...

— Однажды, — отвечает Катя с виной за то, что осмелилась напомнить отцу о его основном долге перед семьей, — по глупости лет в 14 я сказала папе: «Ну почему бы тебе не написать что-нибудь такое, чтобы стать богатым и знаменитым, чтобы и у нас была другая жизнь?» Он страшно оскорбился. Наверное, несмотря на ту фразу о «Заповеднике», он все равно писал бы то, что писал.

В «Истории одного города» у Салтыкова-Щедрина есть герой, который всю свою жизнь не знал ничего лучше, чем подчинение избитым истинам. За каждым поступком он находил вольнодумную глупость и предосудительность. Дело дошло до того, что он не осмеливался утереть себе нос, если в законе отцов не было сформулировано ясно, что всякий, имеющий склонность утереть себе нос, да утрет его. Дерево доктринерства, какими бы цветками ни было усыпано, всегда приносит одни и те же плоды.

Мне непременно попеняют, вернее, уже попеняли, и не раз, за столь свирепый комментарий. К чему, дескать, вводить в расход невинное детское чувство, к тому же еще и родственное, дочернее? А коли уж отважилась это чувство потревожить, то поча на лобном месте и со всей что ни на есть присущей лобному месту публичностью? Ну, я тут было уж собралась склонить повинную голову, приноравливаясь к плахе, вознамерилась признаться и пока-

яться, что, дескать, бес попутал, хотя если уж начистоту разобраться, то сама я лобного места не отыскивала. То был Катин выбор. Конечно, насчет повинной головы, признаний и покаяний, Бог велит досказывать, я могла и приврать чуток, что греха таить. Мне ведь тоже, как и дитяти, на публичное покаяние сломать голову нести не с руки. Однако не успела я в своих провинностях против невинного Сережиного потомства разобраться, как, глядь, само потомство мне на помощь спешит. Причем буквально спешит. Можно сказать, на всех парусах несется.

Не успел мой мемуар появиться в эмигрантской прессе, то есть то-то и оно, что успел, то бишь едва мемуар мой поспел к печати, пополнив майский номер «Время и мы» за 1998 год, как Катя уже дает другое интервью, вдогонку и с поправками к первому. Короче, в августе, ах, кабы 14-го, а то вовсе 1998-го Катя дает интервью «Огоньку», уже не скупясь на живые впечатления о почившем отце. Ну, как бы вопрошает меня Катя, коли есть спрос на воспоминания, лишённые хрестоматийности или там какого-никакого оправдательного тона, то мы и так можем. И воздала Катя дань отцу наново, на сей раз с дерзующим, чуть ли даже не дерзким подзаголовком:

У НЕГО НЕ ОЧЕНЬ ПОЛУЧАЛОСЬ БЫТЬ ХОРОШИМ ОТЦОМ

«А о детстве у меня эпизодические воспоминания,— пишет, послушно вняв читательской критике, Катя.— Например, помню чувство надежности, спокойствия, когда переходила с папой через дорогу. Мама всегда ее суетливо перебегала, и я страшно нервничала, идя с ней. Наверное, боязнь автомашин у меня от нее. Я не боялась их, только идя с папой. Даже на

малюсеньких улицах, где ездили на велосипедах, он брал меня, взрослую, за руку и вел на другую сторону».

Ну, и так далее. Все в таком, как бы это выразиться, сказовом стиле, как, к примеру, у Хармса, то есть живо, образно, наглядно, с огоньком. Короче, журчит Катина беседа, врезается в читательскую память, сементируется. Казалось бы, чего еще желать? Надо, думаю, покаяться. Настал и мой черед. Не век же критику наводить? Любишь кататься, говорят в народе, и не зря говорят. Ну, кайся же, шепчу, поспешая набрать побольше воздуха для полного, как говорится, эффекта. Но надышалась-то я ведь вовсе басурманского воздуха, то есть по месту временной прописки в Мюнхене. Вот и наступило полное раздвоение личности. Сознать-то я сознаю, что самое время покаяться перед Катей, но где-то под левым ребром, то есть совсем в области желудочка сердца, кто-то другой, набравшись чумного тевтонского озона, тоже октябрьского, как у поэта, затеял теребить мое читательское сознание таким прерывистым, нераскаявшимся дискантом: мол, дескать, повремени с раскаянием. дочитай до предела. Тут уж совсем немного осталось. Сподобься. Ну, я вняла. Повременила. И что же? Под самый что ни на есть занавес Хармс исчез, как в старом анекдоте. А на месте без вести пропавшего Хармса поместили надгробный текст. Под Катину диктовку, надо понимать.

«И мне очень неприятно,— сокрушается Катя,— что образ Сережи (не о Хармсе же речь, в самом деле) в России представлен как-то однобоко. С одной стороны, культ (по этой части у Кати претензий к России нет) — его много издают, без конца цитируют. Но...»

И в этом самом «но», пропетом из-за приспущенной кулисы, надо полагать, сошлись все аккорды незатухающей Катиной скорби по Довлатову. Так чем же, спросим мы в своей участливой причастности к культам, чем культ Довлатова мог досадить столь откровенной любительнице культов? Вот именно что досадить, читаю я в скорбных Катиных строках и между строк. Культовать-то культуют, даже, может быть, и оккультивируют, а толку-то что, если по чести да в переводе на какую-никакую конвертируемую валюту типа доллара?

«Издают без всякого спроса у наследников,— жалуется Катя,— денег не платят даже с очень больших тиражей. Мне по-прежнему приходится работать, не разгибая спины, хотя один четырехтомник... уже принес большой доход издательству „Лимбус Пресс“».

«Обидно, Вань»,— проямлила, не дождавшись интервью в «Огоньке», героиня иного культового автора, чьи наследники настырно отказываются предъявлять счета нищим издательствам России. И тут мне хочется напомнить Кате, что в ее 14 лет, а в Сережины 39 у нее были все основания напомнить отцу о долге перед семьей. Однако теперь, достигнув 29, ей бы пристало самой позаботиться о своих финансах, не взваливая этой ноши на бедного читателя и на воздержавшегося от серьезных капиталовложений отца. Что же касается славы, и особенно культовой славы, то она, если верить грозному царю нашему, тоже почившему в Бозе, весьма и весьма быстро текуша.

Смотри, сломаешь мне ногу

— Древние смеялись над христианами, — говорил Аполлон Безобразов. — Вы преувеличиваете жертву своей жизнью и любите театральные кровавые слезы. Посмотрите, как римские солдаты умирают. Конечно, Христос был еврей и книжник, но когда Эпиктетов хозяин завинтил его в специальный станок, чтобы насильно посредством блоков растянуть его хромую ногу, философ, с некоторой даже заботой о его коммерческом благе, только сказал ему: «Смотри, сломаешь мне ногу». А когда тот действительно разорвал ему последние связки, прибавил назидательно: «Видишь! вот и сломал».

Борис Поплавский

Сереза не был ни в числе провожающих меня друзей, ни в числе людей, одобрявших мой отъезд. Приняв решение эмигрировать довольно импульсивно, то есть отнесясь к эмиграции как к приключению, я мгновенно оказалась в положении человека, висящего по обе стороны Берлинской стены. С одной стороны, со мной повело фантастическую войну мое начальство, которое, опередив меня по части знакомства с моим заграничным вызовом, требовало немедленной и добровольной сдачи их территории, с другой стороны, в моем арсенале появились новые темы, переложению которых пылко и восторженно внимало мое аполитичное окружение. В частности, я развлекала слушателей рассказом о том, как моя начальница СКБ, в котором я числилась переводчицей, совершила нападение на мою сумку, в которой

находилось письменное обязательство конторы оплатить мои переводы, сделанные на полгода вперед.

В шоке от нападения, я вцепилась в свою сумку мертвой хваткой, в результате чего самопроизвольно возникла борьба, стоившая моей начальнице утраченных и разбитых очков, которые подобрал мой замечательный друг Саша Корнилов, при этом присутствовавший. Очки вернулись к моей начальнице на следующее утро. Расторопный Саша сфотографировал некую модель, согласившуюся на демонстрацию тех очков, которых их бывшая владелица не насчитывалась. Наскоро облачив портрет в рамку, Саша закрепил его на стене присутственного учреждения, которое носило имя моей начальницы, за час до ее ритуального в нем появления. О чем размышляла моя начальница, завидев свой обрамленный портрет вкуче с утраченными во вчерашней схватке очками, сказать затрудняюсь, особенно учитывая тот факт, что в качестве модели для портрета Саша выбрал своего бульдога, отличавшегося, как и владелица очков, преданной службой своему хозяину. В связи с актуальностью темы и непредсказуемостью моего, вернее, нашего российского будущего, на мою одиссею собиралась толпа слушателей, в числе которых однажды оказался Сережа, который позволил себе не разделить всеобщего восторга моей храбростью и занять уникальную позицию:

— Она все думала, что начальники созданы для того, чтобы заботиться о своих подопечных, что к ней отнесутся с материнской теплотой и будут охранять ее так, как в мечте у Обломова: Илья Ильич придет на работу, начальник поприветствует его с порога и заботливо спросит, хорошо ли он спал ночью, отчего у него такие мутные глаза и не болит ли у него голова.

Впоследствии, перечитав «Обломова», я убедилась в том, что Сережа почти дословно цитировал любимого им автора.

В числе встречавших Сережу в эмиграции меня тоже не было, хотя, узнав о его приезде, я с радостью и неоднократно с ним встречалась, звоня ему всякий раз, когда оказывалась в Нью-Йорке.

Под белым осенним солнцем Лос-Анджелеса, на фоне многоречивых возгласов участников славянской конференции, моя с Сережей встреча была довольно сумбурной. Сережа, приехавший туда с заданием, которое с учетом всех оговорок, попавших в эту печальную повесть, может быть названо «журналистским», был поглощен чувством ответственности. У меня же завершалась очередная война с моим университетским начальством. Подобно Сереже в день нашего знакомства в Ленинградском университете, я находилась под давлением уже сложившихся тяжелых обстоятельств, в число которых входила тяжба со Стэнфордским университетом, вернее, одним из его профессоров, отказавшимся подписать мою диссертацию, что грозило потерей уже предложенного мне профессорского места в Йельском университете. Эдвард Браун, чья подпись росла в цене на моем рынке пуше акций Майкрософта, декадой позже присутствовал на этой конференции, равно как и мой друг, Томас Венцлова, уже преподававший в Йеле и занявший враждебную мне позицию по ему одному известным мотивам.

Встреча с Сережей была одной из первых наших встреч в эмиграции. С момента, когда, приехав в Штаты, Сережа прислал мне короткое письмо с экземпляром изданного Карлом Проффером «Компромисса», я виделась с ним в каждый свой приезд в Нью-Йорк, считая своим долгом оповещать его о прибытии. Он всегда реагировал с энтузиазмом на

мой звонки, включал меня в свое расписание свободного от каких бы то ни было обязанностей человека и в заключение приглашал в гости, куда я неоднократно отправлялась либо в сопровождении моей подруги Нины Перлиной, либо одна. Наши отношения были сердечными, почти братскими, однако, и это особенно чувствовалось в присутствии Сережиной новой свиты, каких-то сослуживцев по радио «Свобода», у Сережи проскальзывала высокомерная пренебрежительность, которая исчезала так же мгновенно, как и появлялась, но не бесследно. Нечто аналогичное произошло и в Лос-Анджелесе.

Сережа возник передо мной в обществе Димы Бобышева, который, в отличие от Сережи и меня, нес свои неполных полвека без больших потерь и который показался мне вышедшим из далекой детской сказки: помню заснеженный двор и нас с Сережей, поднимающихся по лестнице в квартиру хозяина Бобышева, который открывает нам дверь, оказавшись в атмосфере домашнего тепла не по-русски хрупким юношей, с бархатом темно-карих глаз и нежно очерченной припухлостью губ. Они хлебосольно нас принимают, кормят по-русски домашними вареньями и печеньями, и Дима читает свои вдохновенно-воздушные стихи, посвященные своей красавице жене Наталье, которая сидит рядом и вторит его чтению легким покачиванием головы, и нам всем тогда кажется, что ничто не сможет нарушить гармонии этого вечера.

Дима встретил меня ласково, со словами, в которых звучала готовность принять желаемое за действительное: «Красавица ты наша», и в нас во всех чудом вселилось ощущение безопасности, присущее нам в дни нашей ушедшей молодости, то ли по причине одиночества, которое эмигранты несут в себе с болезненностью людей, одиночества не выбиравших,

то ли от сильного желания что-то вернуть из необратимого прошлого. Нищий и сильно постаревший Сережа, облачившись в старый кавказский камзол, повел всех кормить, категорически отказавшись от моего предложения о принятии расходов на себя. Просчитав дважды свои ресурсы, он купил всем по порции мороженого, по формуле которого стал таять энтузиазм нашей встречи.

То ли годы разлуки давали о себе знать, то ли реальность американской жизни, где каждый занятый одним делом уже планирует окончание другого. Так или иначе, все вскорости стали разбредаться в разные стороны. Условившись о встрече вследствие какой-то инерции, нежели по желанию, мы с Сережей отправились по своим делам и продолжали видеться каждый день до конца конференции, хотя у меня, по какой-то логике абсурда, всегда связанной только с Сережей, возникло приключение с молодым юношей, не оставленное Сережей, обвинившим меня в дурном тоне, без внимания.

В последний день конференции помню едущих в одной машине Синявских, Сережу, предложившего довезти меня до аэропорта, и, кажется, Роберта Хьюза, с которым я затеяла нелепый разговор о литературе при полном неучастии остальных сторон. К счастью, эта встреча не была последней.

Как остров смерти

Он как будто всегда находился вне себя и часто даже поправляя себя, как завалившегося актера, он превращался в свою противоположность и в противоположность этой противоположности. Но эта новая противоположность не была его первоначальным «я», а каким-то новым третьим состоянием, подобным окончательному возвращению духа к самому себе перед самой смертью, но не в самого себя, ибо «я» человека тогда не объемлет, а объемлемо, не окружает со всех сторон, как атмосфера, а, наоборот, как бы окружено со всех сторон нашим бытием, как золотой остров, как остров в закате, как остров смерти.

Борис Поплавский

В июле 1988 года умер Гена Шмаков, который долгие годы был моим единственным другом. Наше сближение началось с откровенной вражды и закончилось такой дружбой и такой близостью, которая едва ли возможна между людьми разного пола с постфрейдовским сознанием и под-. Остановливаясь у Гены в каждый мой визит в Нью-Йорк и получая в избытке все, чего мне не хватало ни до, ни после Нью-Йорка,— сумасшедших походов, человеческого тепла, острого разговора, совершенного понимания с полу- и без слова,— с его утратой я чувствовала себя вычеркнутой из жизни. При этом вспоминались какие-то совсем нелепые эпизоды. Например, Гена рассказывает мне, как к ним приехала чья-то бабушка из Костромы. Гена показывает ей город. Долго

гуляли и вышли к Неве. Гена подвел гостью к набережной.

— Вот, бабушка, это Нева.

— Что вдруг? — поступил лаконичный вопрос.

В Нью-Йорке оказался Женя Рейн, который впоследствии посвятил Гене главу стихов в память Михаила Алексеевича Кузмина, которого оба любили:

Я рассказать хочу тебе, учитель,
о том, как это было, как случилось,
но не могу понять всего, что знаю...
Ты более, я думаю, поймешь.
Как он любил балетные ужимки,
как он варил сибирские пельмени,
как шли ему вельветовые куртки
и усики холеные «пандан»...
Был крематорий пуст, и горстку пепла
рассыпали по улицам Нью-Йорка,
он сам придумал это, приказал.
Тут что-то древнеримское, учитель,
сказать «александрийское», учитель,
пожалуй, и покажется манерно...
Но все это детали. В них ли суть?
Он все искал последней вашей книги
рассыпанные милые страницы
и, наконец, я думаю, нашел.

С Сережей мы встретились после похорон.

— Поди, на мои похороны ты бы не примчалась с такой поспешностью,— заявил он мне вместо приветствия.

— А твои похороны, возможно, и не будут такими поспешными,— ответила я, имея в виду нечто вроде того, что Сережа попадет в число бальзамируемых пророков или экспонатов кунсткамер.

Сереза, истолковавший мое высказывание иначе, то есть в смысле указания реального срока смерти, тут же развил предложенный сюжет в правильном направлении, но с неизменно комической развязкой. В сагу о запоях последнего времени был включен рассказ о том, как врач поставил ему диагноз (как потом мне говорили — преднамеренно фальшивый) — цирроз печени, положив ему жить не более трех недель в случае, если пьянство не прекратится.

— А если с пьянством будет покончено, — продолжал читать свой приговор Сереза, — помру ровно через три недели. Так что особого выбора у меня нет.

Вероятно, мысль об отсутствии выбора показалась Серезе в высшей степени комической, ибо свое повествование он заканчивал, уже хохоча с попеременным прикрытием живота и подхватыванием какой-то папки, которая норовила выскользнуть из рук.

Из всего повествования следовало, что в процессе диагностирования доктор запускал иглу в дотоле безжизненную половую принадлежность Серези и, будучи осведомленным о его причастности к литературному труду, одновременно почитывал из Серезиной книги в надежде получить автограф в благоприятный для себя и пациента момент, который тут же представился. Результат осмотра показал, что летального исхода не предвидится. Продемонстрировав свою осведомленность по части российской словесности и воздав Серезе должное как ее достойному представителю, доктор все же выполнил свою миссию, добившись оживления необходимой половой принадлежности, которая составляла предмет его непосредственного наблюдения.

Сама погибая от смеха, я все же умудрилась процитировать Доната: «Боль адовая?» Моментально оценив аналогию, Сереза согнулся пополам от смеха

и стопа и в такой позе стал искать места, куда можно было бы присесть, и сел на урну. Все это происходило в предланчевом Нью-Йорке, на 42-й улице, где разношерстная людская масса движется с плотностью, равновеликой плотности вязкой жидкости, но которая, при виде Сережи и как бы поняв значительность его монолога о жизни и смерти, вдруг расступалась, с любопытством его разглядывая.

Позднее тот приезд в Нью-Йорк был классифицирован хроникером Сережей как нашествие «советских граждан»:

«По Нью-Йорку бродят в неисчислимом количестве советские граждане, причем это выглядит так естественно, что я уже несколько раз слышал восклицания: „Где же Гордин?“, „Где Валерий Попов?“, как будто Бродвей — самое подходящее место для них. Здесь Женя Рейн, дня за три до него прилетел Толя Найман. 1 октября прилетает Кушнер. Из Калифорнии на похороны Генки Шмакова явилась Ася Пекуровская. Бродский по тому же грустному поводу (Шмаков умер от СПИДа) вернулся из Лондона, в общем — сошла вся улица Рубинштейна...»

Почему члены нашего анклава, случайно сойдясь на Бродвее, оказались причисленными к категории «советских граждан»? Что заставило чувствительного к слову Сережу занести товарищей своей юности в грубо сколоченную клетку, никому не бывшую впору? — спрашиваю я себя без надежды получить вразумительный ответ.

Жизнь, построенную на знаменитости

Подумай только... Выдержал бы твой дух иную судьбу, иную жизнь, построенную... на знаменитости, счастье, деньгах, власти... Не рано ли тебе об этом думать, тебе, столько раз моментально предававшему свой золотой город за одно движение ярких розовых губ, за одно жирное сияние красивой, надушенной головы...

Борис Поплавский

На первый взгляд, в который справедливость требует включить многочисленные взгляды, брошенные в сторону литературного опыта Сережи его наивным читателем, почитателем и критиком, авторский рассказ, как и сам рассказчик, просты, незамысловаты, доступны каждому и, как кто-то где-то подметил, понятны и смешны даже детям. Таким образом, на первый взгляд, Сережин читатель видит мыслительный процесс писателя Довлатова так, как автор хотел ему представить, то есть как процесс сознательный, включающий в себя подлинные мысли, чувства и желания рассказчика. Разумеется, в формировании такого первого взгляда читателю помог сам автор, и помог в какой-то степени просто и бескорыстно, то есть, скорее всего, простодушно считая, что (и тут я позволю себе цитату из Довлатова):

«Всякая литературная материя делится на три сферы:

1. То, что автор хотел выразить.

2. То, что он сумел выразить.
 3. То, что он выразил, сам того не желая.
- Третья сфера — наиболее интересная».

Если взять за образец Серезину модель, признав им предложенное бескорыстное деление «литературной материи» исчерпывающим, то за пределами понимания литературного процесса окажутся существенные моменты, начиная от желания и способности автора контролировать процесс самовыражения и кончая читательским интересом к неосознанным желаниям и инстинктам автора. Автоматически будет вынесена за скобки та сфера «литературной материи», кстати Серезе известная больше других, в которой автор пожелал что-то скрыть от своего читателя. Короче, за пределами Серезино «деления», скромного, как и задумал ему быть автор, оказались такие «сферы», как:

А. То, что автор хотел скрыть, но не сумел.

Б. То, что автор хотел и сумел скрыть.

В. То, что автор скрыл, сам того не желая.

Самоочевидно, что «то, что автор хотел и сумел скрыть» (сфера «Б»), и «то, что автор скрыл, сам того не желая» (сфера «В»), в любой момент могут превратиться, стоит только читателю сильно над этим потрудиться, в «то, что автор хотел скрыть, но не сумел», то есть в сферу «А». Самоочевидно также, что этот процесс необратим, ибо то, что однажды стало явным, не может снова укутаться в палантин тайного. Хорошо понимая опасность такого превращения, Сереза, как уже говорилось, относился к своему литературному архиву с исключительной бдительностью, которая не ускользнула от наблюдательных читателей.

«В чем заключалась литературная судьба Довлатова? — вопрошает Владимир Бондаренко.—

Почему он так решительно незадолго до смерти пишет другу в Петербург: „Повсюду валяются мои давние рукописи, устаревшие, не стоящие внимания... Самое дикое, если что-то из этого хлама просочится в печать, это много хуже всяческого непризнания... Мой страх перед возможностью такого дела столь велик, что я готов быть смешным...“»

Получается, что к страстному желанию представиться всем тем, чем он не являлся, то есть скрыть то, что составляло предмет его вечного и неуемного аппетита, следует присовокупить страх перед тем, что читатель станет свидетелем его литературной беспомощности, так сказать, убожества стиля.

«Несомненное убожество он находил в себе самом,— пишет Бондаренко.— Убожество постоянного профессионального газетного поденщика, пишущего на любую тему и в любое время».

Однако не исключено, что довлатовские опасения простирались далеко за пределы его литературного имиджа, нося более глубинный характер.

«Литературная деятельность — это попытка преодолеть собственные комплексы, изжить или ослабить трагизм существования»,— признавался Сережа в те моменты, когда был свободен от сведения счетов с другими талантами.

Не исключено, что опыт анализа «литературной материи» служил для Сережи лишь новой ширмой, позволяющей уязвимому автору защитить свои собственные комплексы и «трагизм существования» от глумливого читательского взора. Ведь не случайно

довлатовское деление литературной материи построено с учетом лишь одной не контролируемой автором стороны творчества, то есть с учетом подмены того, что «сумел» / «не сумел» скрыть от читателя автор, тем, что «выражено» / «не выражено» его произведением, как бы воплотившимся без участия автора. Мне возразят, что в моих запутанных раскладках нет резона и в еще меньшей мере присутствует справедливый учет Сережиных бесспорных талантов. Ведь если что и приспичило скрыть от нас, потомков, скромному и простодушному автору, так это свой талантливый талант, талант талантливого к талантливому, из которого он возродился, как птица Феникс из пепла.

Репутация человека, склонного скорее занизить свои возможности, нежели наоборот, пытаюсь я защитить свой островок здравого смысла, создавалась Сережей если не в надежде, что потомство ему воздаст за скромность (хотя исключить такую возможность было бы делом предосудительным), то для того, чтобы обезопасить себя от упреков в завышенной самооценке.

«У Чехова всю жизнь была проблема, кто он: рассказчик или писатель? — пишет Сережа, притворно озабоченный чужими проблемами. — Во времена Чехова еще существовала эта грань...» — продолжает сетовать он, сам теряя равновесие, спотыкаясь и путаясь в том, писатель он или рассказчик.

Создание репутации, работающей на занижение своих возможностей, как это видно на примере работы любой коммерческой биржи, является тем же расчетом, известным под названием стратегии «медведя», что и расчет на завышение акций (стратегия «быка»).

И те и другие стратегисты имеют в виду умножение своего капитала. У стеснительного, но расчетливого Сережи обе стратегии всегда были наготове, что говорит о незаурядном таланте к расчету и хорошей физической подготовке.

«Не думайте, что я кокетничаю, но я не думаю, что считаю себя писателем,— нарочито кокетничал Сережа.— Я хотел бы считать себя рассказчиком. Это не одно и то же. Писатель занят серьезными проблемами. Он пишет о том, во имя чего живут люди. А рассказчик пишет о том, КАК живут люди».

Талант Сережи к расчету был не только талантом от Бога, но и благоприобретенным, так сказать, человеческим свойством, подлежащим усовершенствованию по мере трудов и сил:

«Главный поэт Ленинграда... (он же городской сумасшедший) избрал новую тактику. Он восклицает: „Я — посредственный советский литератор! Отчего бы меня не издать?“ Правда, иногда он забывается и невнятно говорит: „Очередное заседание ПЕН-клуба посвящено мне“», — пишет он, возможно имея в виду Бродского, хотя и провоцируя упрек в самоидентификации.

Расчет «городского сумасшедшего», принявшего установку на занижение собственного таланта, при этом не позабыв о возможной поправке в сторону завышения, как нельзя более подходил Сереже, который использовал систему поправок, оговорок и аналогий с целью подведения к общему балансу стратегий «быков» и «медведей». Подавая себя в облатке то

неприметного рассказчика, то знаменитого писателя, ожидающего от литературы заработков, славы и признания, а порой — непризнанного гения, которого «литературная профессия выбрала сама», Сережа оставлял за собой право человека, за которым закрепилось произнесение последнего слова.

Скажем, однажды Сережа пожаловался навестившему его Евгению Рейну, что американский прозаик Курт Воннегут весьма странным образом уклонился от выполнения его, Сережиной, просьбы о помощи. «Чем я могу помочь человеку, который постоянно печатается в „Нью-Йоркере“? Ведь сам я там не печатаюсь», — якобы сетовал автор, известный чуть ли не каждому читателю в Америке, другому автору, чья популярность в какой бы то ни было стране не превышала дюжины родственников и двух дюжин знакомых. Как бы ни напоминала эта история старый довластовский прием, запатентованный в поединках с Шемякиным и Коржавиным, в истории позднейшей чеканки оказалось место для усовершенствования.

История с Рейном—Воннегутом послужила Сереже для более скромных целей, нежели истории с Шемякиным и Коржавиным. Она понадобилась ему на тот случай, если Рейн, подобно Юле Губаревой, читательнице «Филиала», по привычке, за ним уже известной, пожелает создать легенду о писателе Довлатове, легко обошедшем Воннегута в марафоне литературной известности. Ведь в отличие от Сережи, томившегося по признанию в России, живя в Америке, и в Америке, живя в России, Воннегут был признан и тут, и там. В соответствии с Сережиным расчетом, мифотворцу Божией милостью Рейну было слабо выполнить любую мифотворческую миссию, включая ту, которую мимоходом возложит на него Сережа. И рейновская легенда была запущена

в свет, встав в один ряд с другими легендами, предание гласности которых ждет своих первопроходцев:

«В молодости он повторял с восторгом и надеждой: „Если бы я мог написать один рассказ, как Куприн!“ В другой раз он говорил о своем сверстнике, поэте, моем тогдашнем друге: „Мне позвонил Н. Представляете себе? Это как если бы вам позвонил Николай Угодник“».

«Вы не знаете всех степеней низости ленинградской литературы. Вообразите, есть люди, которые, как я уважаю вас, уважают меня», — передает Серезино удивление Анатолий Найман.

«Написал мстительный рассказ о журналистах „Высокие мужчины“... Ну, и кукольную пьесу с лживым названием „Не хочу быть знаменитым“», — вспоминает о Серее Елена Скульская.

Расчету, как таланту, не обучаются. В Серезин расчет входили, как было замечено, соображения мести, саморекламы, мифотворчества и, полагаю, многого другого, исключая, пожалуй, то, что получалось само собой, что, говоря языком Серези, автор выразил, сам того не желая («...сфера — наиболее интересная»), и на что Сереза потратил свое драгоценное время, свободное от соображений мести, саморекламы, мифотворчества и многого другого. Короче, все, что автор хотел скрыть, хотел и сумел скрыть и что скрыл, сам того не желая, то есть все, что было случайно обронено, оговорено или возникло в виде языковых ляпсусов, провалов памяти, подтверждает мысль о том, что существенная часть Серезиново расчета поступала из глубин подсознания. То же, что возникло в муках кропотливого расчета, обросло

тайнами, загадками и интерпретациями потомков и послужило созданию той легенды, о размерах которой сам Довлатов мог вряд ли помыслить даже в своих самых вожделенных мечтах, получило оправдание со ссылкой на то же подсознание. Кстати, эта мысль была уже отражена одним из наблюдательных мифотворцев.

«Сергей Донатович, видите ли, считал, что художник, творя свою вторую художественную реальность, в подсознании освобождает себя от законов первой реальности, которые оказываются для него как бы не писанными...» — сообщает Игорь Смирнов-Охтин.

В представлении теоретиков психоаналитической школы фрейдистского направления, наше подсознание, с которым связаны случайности, то есть оговорки и ляпсусы, и только они, а не наше сознание, не расчет, не логические выкладки оказываются наиболее пригодными для анализа нашего мыслительного процесса. Согласно Фрейду, между нашей мыслительной деятельностью и нашим сознанием невозможен знак равенства, ибо существуют неосознанные желания и подсознательные мысли, частным случаем которых служит, по Фрейду, класс явлений, включающий в себя оговорки, описки, опечатки, оплошности слуха, зрения, памяти и так далее, так называемый «парапраксис».

В противовес общепринятому мнению, согласно которому явления парапраксиса, будучи явлениями случайными и единичными, объясняются нарушением внимания в моменты рассеянности, возбуждения или, наоборот, усталости, Фрейд видел причину и цель за каждой оговоркой, каждым провалом памяти, каждой опиской. Он где-то писал о том, как в ре-

дакционной статье об убийстве кронпринца Франца Фердинанда сербским националистом, послужившем, как принято считать, началом Первой мировой войны, он заметил опечатку. Статья, помещенная в австрийскую народно-демократическую газету, начиналась словами: «Его высочество, корнпринц» вместо «Его высочество, кронпринц».

Трансформация титула из «крон» в «корн», учитывая то, что «корн» в переводе с немецкого означает «зерно», объяснялась Фрейдом конфликтом между убеждениями демократической газеты, где опечатка возникла, и убеждениями коронованной особы, в титул которой закралась опечатка. На следующий день, как сообщает нам наблюдательный читатель Фрейд, редакция газеты сделала попытку поправить допущенную оплошность и внесла коррективы: «Его высочество, корнпринц... следует читать: Его высочество, Кноррен принц», притом что «Кноррен» в переводе означает «грубиян, невежда».

Не являясь исключением из правила, описанного Фрейдом, хотя так никогда и не воздав Фрейду за психоаналитический багаж, которым он постоянно пользовался, Сережа был непримирим по части оговорок, ляпсусов, описок, опечаток, оплошностей слуха, зрения, памяти и так далее, а также всего, что могло подпасть под понятие «парапраксиса», при этом именно явлением парапраксиса можно объяснить многие сквозные темы Сережиного творчества.

Помню, как-то, провожая меня в Москву, Сережа, для большей интимности, вскочил на подножку моего вагона, что было интерпретировано суровой проводницей как попытка проезда без билета. «А ну-ка проваливай, верзила», — грубо сказала она. Сережа, так никогда и не научившийся быстро реагировать на отчаянную грубость, хотя спускаться нагрубившему тоже не входило в его правила, подчинился

окрику, спрыгнул с подножки и замолк на минутудругую, после чего приблизился к проводнице, которая начисто забыла о его существовании, с отменно вежливым вопросом: «Товарищ проводник. Разрешите нашу дилемму: моя жена утверждает, что вы боретесь с несовершенством существующего мира, а я стою на том, что у вас оклад слишком маленький».

Казалось бы, ничего особенного не произошло. Случайная проводница решила отвадить случайного пассажира, назвав его случайным именем и отведя ему случайное место. Однако есть основания предположить, что этот случайный эпизод преследовал Сережу не один десяток лет. «Верзилой», как бы рассуждает Сережино подсознание, меня назвали неспроста. Проводница была не случайным человеком, а тем несчастным существом с маленьким окладом, которое своим несчастным нутром признало во мне человека того же порядка.

Годы и годы спустя диалог с проводницей, которая сумела разглядеть то, что скрывал Сережа весь свой век в полной убежденности, что скрывал удачно, просачивается через прозрачную ткань автобиографического нарратива.

«Редактор наш был добродушный человек. Имея большую зарплату, можно позволить себе такую роскошь, как добродушие...»

«Майор без улыбки кивнул. Видимо, его угнетало несовершенство окружающего мира». (Сергей Довлатов. «Приличный двубортный костюм».)

«— А ты — дерьмо, Гурьяныч! Дерьмо, невежда и подлец! И вечно будешь подлецом, даже если тебя назначат старшим лейтенантом... Знаешь,

почему ты стучишь? Потому что тебя не любят женщины...» (Сергей Довлатов. «Заповедник».)

Роль рассказчика во всех этих эпизодах заключается в деконструкции закомплексованных персонажей (редактора, майора, Гурьяныча, проводницы), которые либо не подозревают о своих «комплексах», либо, подозревая, отказываются их признать. Характерно, что в число их «комплексов» попадают именно те, которыми в изрядной мере был наделен сам рассказчик и стоящий за ним автор. Комплекс проводницы с маленьким окладом принадлежит к числу таких стыдливых моментов, в существовании которых Сережа вряд ли бы согласился кому-нибудь признаться.

Применительно к миру взрослых у Фрейда есть понятие «фантазии», которое по всем показателям сродни тому, что у детей называется «игрой». По аналогии с тем, как понятию «игры» противостоит понятие «реального мира», а не серьезной, неигровой деятельности, «фантазия» строится на отрицании законов реального мира, сопряженном с незащищенностью самых интимных сторон жизни взрослого человека. Взрослые, в отличие от детей, чьи игры не представляют секрета для прочего мира, стыдятся своих «фантазий», пряча их как можно дальше от сторонних взглядов людей. Известно, что человек скорее готов признаться в смертных грехах, чем рассказать о том, что украл из вазы яблоко.

Являясь центральной темой нарратива о Шемякине, тема «проводницы с маленьким окладом» оказалась не чем иным, как тайной «фантазией» Довлатова. Когда-то отозвавшись болезненно на строгий окрик проводницы («Проваливай, верзила»), распознавшей Сережу через бросающийся в глаза исполинский рост, Сережа повторяет уже знакомый цикл

болезненных восприятий, реагируя на реплику Шемякина «Какой вы огромный» как на цитату из своего травматического прошлого. В рамках запретного фантазирования «верзила» есть несчастное существо с обманчивой внешностью, презираемое даже проводницей с мизерным окладом. В рамках довлатовского фантазирования шемякинское восхищение его ростом является тайным оскорблением.

В контексте того же комплекса проводницы с маленьким окладом ответная реплика Шемякину («Готов поменять свой рост на ваши заработки») проигрывается как вариант обмена предмета запретной фантазии в доходное дело («шемякинские заработки»). За ширмой фантазирования, не исключающего возможность шуточного отступления, скрывается идея реванша над проводницей с маленьким окладом, причем реванша не только в собственных глазах, но и в глазах оскорбившей его проводницы. Последующий за этим фиктивный обмен «заработков» на «талант» как бы реально отменяет ненавистный комплекс проводницы, делая прецедент исчерпанным. К концу истории-фантазирования Сережа оказывается утвержденным в своей талантливости, а несчастная проводница — поверженной за грубость, то есть оба помещены на два не подлежащих пересечению полюса, что и требовалось доказать.

В другой стране

И вот то, что готовилось, случилось наконец. С утра, уже привыкший к дождю, я проснулся как бы в другой стране, а в раскрытом окне небо было чисто, прозрачно-лазурно, и все было отчетливо видно, даже на дальней итальянской стороне. Ярко вдали виднелись свежескрашенные крыши дач, с улицы слышались голоса, и все было так чисто и отчетливо, что мне стало ясно, что пришла осень.

Борис Поплавский

Нина Перлина, периодически встречающаяся с Сережей в его нью-йоркский период, однажды, встретив его похудевшим до неузнаваемости, фунтов на тридцать, попросила его открыть ей секрет метаморфозы. Нине хотелось помочь подруге, Жене Беркович, которая, страдая от чрезмерной полноты, нуждалась в хорошей диете. Выслушав Нину, Сережа отвечал уклончиво, что, дескать, ввиду сложности диеты и возможности ее искажения в процессе передачи нужен непосредственный контакт. Женя, которой был выдан Сережин телефон, прошла через телефонное интервью, по окончании которого осталась совершенно довольной и Сережей, и диетой.

Позвонив Сереже с благодарностью за услугу и настроившись услышать ответную благодарность, Нина была поражена Сережиной реакцией.

— Боюсь, что у вашей подруги, Нина, ничего с диетой не выйдет. Случай, так сказать, совершенно безнадежный, — начал разговор Сережа.

— Да почему же, Сереженька? — спрашивает Нина.

— У нее нет основного, без чего даже самая магическая диета помочь не в состоянии. У нее совершенно отсутствует ненависть к себе. Пока я ей рассказывал жизненно важные подробности своего воздержания, она отчаянно со мной кокетничала.

Возможно, самым главным человеческим пороком Сережа считал отсутствие ненависти к себе, с которой связывал завышенную самооценку. На том, что Сережа презирал людей с завышенной самооценкой, сходится большинство его критиков, ибо неприятие завышенной самооценки хорошо сочетается с идеей скромности, простоты и демократичности довлатовского стиля, пленившего многих. Тогда в чем же заключается подвох? Подвох заключается, как и всегда в деле подвохов, в подмене шербурских зонтиков галошной стойкой.

Начнем с того, что сама по себе завышенная самооценка не являлась в Сережиных глазах делом предосудительным. Моральных требований ни к себе, ни к тому, что не являлось им, Сережа не предъявлял. Мизантропом тоже не был. Так что попытка подвигнуть людей на «ненависть к себе» или, тем более, друг к другу не входила в круг его мотивов, как это может показаться на примере многих его историй. Порок заключался не в завышенной самооценке как таковой, равно как и не в заниженной, а в такой самооценке, которая подается, так сказать, «без божества, без вдохновенья», то есть как товар без нужной рекламы или подарок без обертки.

Эта тонкость могла ускользнуть от внимания даже хорошо знавших Сережу людей, в связи с чем литературный диагноз, поставленный Игорем Ефимовым: «Умер от безутешной и незаслуженной нелюбви к себе», верен только отчасти. Он не учитывает того нюанса, что Сережа только то и делал, что создавал свой литературный имидж, состоявший

в большой мере из завышенных самооценок, но делал это, с его точки зрения, и с божеством, и с вдохновением, так что колебаниями его оценочного пендулюма многие пренебрегали.

Однако если провести классификацию материала, касающегося вопроса Сережиной самооценки, то, скорее всего, подтвердится такое наблюдение. Свою заниженную самооценку Сережа предлагал своим сверстникам или наставникам предшествующего поколения, в то время как завышенная самооценка припасалась для более молодого поколения. При этом результат такого расчета, построенного на таком отборе и такой мутации, оказывался подчас неожиданным. Те, кому предназначался довлатовский герой и победитель Голиафа, не могли не увидеть в гарцующем двойнике Довлатова-неудачника.

«Однако себе — герою, себе — авторскому персонажу Довлатов был не то что не равен, не мог даже приблизиться, — пишет Петр Вайль, представитель более молодого поколения. — Как-то не то я, не то Саша Генис сказал ему: „Единственный недостаток твоего лирического героя — излишняя душевная щедрость“. Довлатов обиделся».

Те же, перед кем Сережа лицедействовал как комплексующий неудачник, не замедлили восполнить недостающий в авторской самооценке соль-диез мажор и воздали Довлатову за скромность.

«Поза поэта — с неизбежно завышенной внутренней самооценкой — Сергею была чужда, — пишет друг и современник Довлатова Андрей Арьев, — как никому из знакомых мне литераторов. Я бы сказал, что отличительная черта

писателя Довлатова — это поразительная корректность самоидентификации. Уровень самооценки им был даже занижен...»

Возможно, в памяти Арьева может всплыть, если уже не всплыла в преддверии его оценок, такая подробность Сережиной биографии. Сущий пустяк, а немаловажный. Оказавшись вхожим в ресторан Союза литераторов, а позднее начав посещать его открытые заседания, Сережа сделал наблюдение, на которое был способен лишь человек, болезненно чувствительный к успеху и находящийся от него на недосягаемом расстоянии, то есть человек с «заниженной» самооценкой.

— Какой-то Остапенко придет, рассядется, вымастерит советскую власть,— жаловался Сережа полушутя,— наплюет вокруг себя, всем нахамит и с достоинством уйдет, в то время как Довлатов, интеллигент, нервный, чувствительный к слову, всем услужит, каждого рассмешит, поразит вниманием, предупредительностью и уйдет оплеванным, после чего еще поймает краем чуткого уха слух о том, что с Довлатовым надо быть поосторожнее, ибо он какой-то не свой.

Слышно пение труб

Наконец раздался последний взрыв, беспорядочный, как расставание человека со сном, и уже ясно стало слышно пение труб... взвизгивание кларнетов и частый, как похоронный звон, удар цимбал. Теперь небо было синим, вода черной... и наши лица темно-серыми.

Борис Поплавский

Завещание, как сообщает нам наблюдательный Арьев, висело у Сережи над его письменным столом. Арьев поначалу усмотрел в такой демонстрации артистическую позу.

«Надпись на конверте „вскрыть после моей смерти“ показалась мне жутковатой аффектацией», — пишет Андрей.

Однако, поразмыслив, тот же автор истолковал Сережино завещание как «демонстрацию той последней, высшей степени точности и аккуратности, что диктуется... нравственной потребностью». Учитывая то, с какой точностью и аккуратностью Сережа создавал себе фальшивый литературный имидж при жизни, нет сомнения, что то, что Андрей называет «нравственной потребностью», было потребностью заполучить для себя посмертный «билет» в историю, которая, как значилось в его записных книжках, начинается «после смерти». Но что же могло быть обозначено в программке?

«... Я пришел в этот мир, чтобы ГОВОРИТЬ», — пишет живой Сережа, уверовавший в свой талант, перед смертью и вдогонку мертвому.

Сереза говорит с позиции талантливом наблюдателя о себе, талантливом наблюдателе, с позиции талантливом жреца о себе, талантливом жреце, с позиций талантливом Голиафа, Давида и Дон Жуана о себе, талантливом Голиафе, Давиде и Дон Жуане, с позиции ученика Атридов о таланте Атридов. Он пишет о таланте настоящего с точки зрения прошлого, о таланте будущего с точки зрения настоящего и прошлого, о таланте настоящего с точки зрения будущего, то есть пишет тотемное славословие таланта и талантливом. Но талантом Сереза одалживается у всех.

«Главной страстью Довлатова была страсть к талантливому, в искусстве, в людях, в отношениях, в себе. Талантливое всегда неповторимо и непредсказуемо... Или: „все неповторимое и непредсказуемое — талантливо“. А чуть проступит где-то рутина, повтор, узнаваемость — можно зачеркнуть и отбросить...» — пишет о Серезе Игорь Ефимов.

Но что же могло стоять за спиной этой непобедимой страсти к талантливому, как не смертельный страх непризнания за ним таланта?

«Довлатову была свойственна острая рефлексия и одновременно боязнь обнаружить ее. Он удивительно болезненно реагировал на любой отзыв приятелей о написанном им...» — вспоминает Борис Рохлин.

Не исключено, что за литературу Сереза взялся только для того, чтобы убедить всех в своей талантливости.

«...Вернувшийся из Таллина общий наш приятель передал Серезину фразу, мне кажется,

очень довлатовскую фразу: „Скажи им там всем, что у меня книжка выходит“, — пишет тот же Рохлин.

А для тех, кто не сдюжил распознать Сережиного таланта, у него оказывалось наготове поучение, причем с позиции особого знания о том, что же такое есть литература.

«Что касается автодекларации по поводу моих рассказов, то запомни раз и навсегда. Литература цели не имеет. Вернее, к ней применима любая цель... Для меня литература — выражение порядочности, совести, свободы и душевной боли», — пишет Сережа Люде Штерн, очевидно оценившей Сережино творчество по заниженной шкале.

Так чем же была литература для Довлатова?

«Всякая литературная материя, — писал он, — делится на то, что автор хотел выразить, то, что он сумел выразить, и то, что он выразил, сам того не желая».

В результате дележа «литературной материи» вышло, что Довлатова его профессия сама выбрала. И выбрала она его, прельстившись не ростом, как могут подумать его злоумышленники, а чем-то более значительным, например талантом, склонившим даже знаменитого Шемякина на неравноценный торг. Но даже если история о Шемякине слегка присочинена, это вовсе не значит, что талантом Сережа не обладал. А уж всем, чем он обладал, он обладал, как известно, в избытке. Он обладал талантом насмешить ближнего. Талантом насмешить, умерщвляя. Талантом

романтического увлечения и романтической расчетливости. Талантом к деторождению. Нарциссистским талантом. Талантом к фантазированию в терминах Фрейда.

Короче, литература была его кумиром, не то что у других. Другие цеплялись за литературу из корысти. Тянули из нее деньги, тыкали ею в нос своей родне, мол, дескать, смотри, с кем дело имеешь. Хами-хами, да не забывайся. А Довлатова литература сама заприметила, сама в люди вывела и, позволим себе такую вольность, одарила всем, чем была богата, как женщина.

— А при чем тут женщина? — спросят меня, раздражась, любители чистого таланта.

— То-то и оно, — скажу я им, перекрестясь. — Люди цеплялись за женщин из корысти. Тянули из них деньги, тыкали ими в нос своей родне, мол, дескать, смотри, с кем дело имеешь. Хами-хами, да не забывайся. А Довлатова женщина сама заприметила, сама в люди вывела и, позволим себе такую вольность, одарила всем, чем была богата, как литература.

Бог Троицу любит. И Троица всегда была у христиан первым догматом. Однажды разделив литературу на три части, так сказать, на своих троих, Сережа все делил примерно в той же пропорции. Делил и женщин, нашедших прибежище возле «русского писателя».

«Три вещи может сделать женщина для русского писателя, — соображал он. — Она может кормить его. Она может искренно поверить в его гениальность. И наконец, женщина может оставить тебя в покое. Кстати, третье не исключает второго и первого».

Так созрело, возможно, самое стремительное, чуть ли не центростремительное признание Довлатова.

Чем бы, вы думали, представлена литература в нашем, в российском лексиконе, как не ею, не женщиной? От литературы, как и от женщины, скромный Сережа многого не требует, а то, чего требует, не требует категорически.

Во-первых, она может его кормить, что очевидно. Во-вторых, ей разрешается поверить в его гениальность (уж если кормит, то должна знать за что). Это как бы напрашивается само собой. Причем на случай такого серьезного признания скромный «рассказчик» уже не довольствуется своим титулом «рассказчика», а хочет, на худой конец, обернуться «русским писателем», то есть попасть в тот клуб, где он сам окажется почетным членом. «И наконец, литература может оставить тебя в покое. Кстати, третье не исключает второго и первого».

— Ну уж литературе-то Сережа служил до конца, можно сказать, до последнего дыхания, так что ваша аналогия «женщина — литература» трещит по всем швам, распадается при первом же дуновении северного ветра, — радуется недремлющий наследник довлатовского наследства.

— Так то ж при первом дуновении, — отвечаю ему я, — а оно, первое дуновение, может вполне быть в обманчивую сторону. Ведь не следует забывать, что литературой Сережа прикрывался, как ширмой, а ширма, как и женщина, даже еще в большей степени, чем женщина, есть предмет ограниченного пользования. Когда приспичит, защитился или, наоборот, напал, так сказать, пустил в оборот в борьбе с собратом по перу, а потом взял ее да и отставил. До лучших времен. Пока снова не приспичит.

— Вообще, если бы так случилось, что я заработал бы большие деньги, — поясняет Сережа, отставив ширму про запас, — я бы, наверное... литературную

деятельность... прекратил. Я бы прекратил всяческое творчество.

«Довлатов часто говорил, что цель его жизни — это то, чтобы его внук... мог бы снять с полки книгу и сказать: „Вот! Эту книгу... написал, сочинил, придумал... мой дед, Сергей Донатович Довлатов!“»

Мечта моралиста скроить человека по единому стандарту есть миф, ежедневно разрушаемый каждым моралистом. Сам факт служения литературе был для Сережи и дилеммой, разрешаемой эстетическим чутьем, и орудием для создания легенды, и способом самоистребления. Например, ему, как воздух, нужна была аудитория восхищенных зрителей или восхищенных слушателей, так сказать, свита. Наличие свиты было мерой Сережиного успеха, того успеха в облатке, без которого он не мыслил литературы. Параллельно с пристрастием к свите как к атрибуту успеха его позиция по части успеха всегда была окрашена противоречиями. Успех он обожал, с мыслью о нем просыпался, к нему тщетно и стремительно летел в ночных сновидениях, его презирал и о его превратностях терялся в догадках.

Вот и умер при свите и под барабан успеха... Говорят, человек умирает, когда сам осознал, что свою функцию выполнил, так сказать, произнес последнее слово. Если это так, то смерть Довлатова, будучи его последним словом, ему зачем-то понадобилась. На языке нашего апокалиптического мышления она, возможно, понадобилась ему для того, чтобы кого-то в чем-то убедить, причем убедить так, чтобы сомнений не осталось ни у того, кто убеждает, ни у того, которого.

Однако в лексике дородовых понятий, из которой вышло наше апокалиптическое мышление, а следом

за ним и довлатовский пафос — его смех и слезы, — нет понятия «последнего слова». СЛОВО двуедино. Оно включает в себе начало и конец, функцию «славы», то есть вечно живого слова (у греков понятие «быть» и «говорить» выражается одним и тем же словом). СЛОВО также включает в себе хтоническую функцию «проклятия» и «умирания». В своих двух функциях СЛОВО есть молитва, причем молитва в ее дорелигиозном понимании («молиться» значит «молить», «молотить», «умерщвлять»). Сережа оставил нам и себе СЛОВО. Пора говорить (быть?).

Едва закончив свою миссию и поставив точку, вернее, вопрос и скобки, слышу заботливый голос моего критика С.Ш.

— А что же Маша? — спрашивает он.

— А что Маша? Ее интерес к моему сочинению весьма и весьма умерен, — даю мысленный ответ, еще не решаясь на громогласное признание.

— Чем же она так занята? — подхватывает мои мысли другой читатель, пожелавший остаться анонимным.

— Да так. Пишет кинорекламы в окрестностях Голливуда.

— Ее отец, говорят, тоже что-то туда писал...

— И что же?

— Что «что же»?

— Что из этого вышло?

— Разве вы не знаете?

— Нет, не знаю.

— Не притворяйтесь. Он же умер.

Пекуровская, Ася

П24 Когда случилось петь С. Д. и мне.— СПб.: «Симпозиум», 2001. — 432 с.

ISBN 5-89091-160-0

Книга первой жены Сергея Довлатова Аси Пекуровской будет интересна не только поклонникам творчества писателя, но и всем любителям малоизвестных, но увлекательных подробностей из жизни литераторов поколения «шестидесятников». Авторская оценка поступков героев книги, многих фактов и событий подчас может показаться чрезвычайно субъективной. Но при этом читатель имеет возможность получить представление о «рецептах» литературной кухни, по которым создавались довлатовские шедевры, из первых рук.

Ася Пекуровская

Когда случилось петь С. Д. и мне

Ответственный редактор *Е. Светозарова*

Технический редактор *Е. Каплунова*

Художник *А. Бондаренко*

Компьютерная верстка *И. Петрова*

Корректоры *Т. Андрианова, Е. Шнитникова*

OCR Давид Титиевский, апрель 2019 г., Хайфа

Издательство «Симпозиум».

190000, Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 5.

Тел./факс +7 (812) 314-46-13, 314-84-49

e-mail: symposium@online.ru

ЛР № 066158 от 02.11.98 г.

Подписано в печать 21.04.01. Формат 84×100/32.

Гарнитура Ньютон. Печать высокая. Усл. печ. л. 20,93.

Тираж 7000 экз. Заказ № 582.

Отпечатано с диапозитивов

в ФГУП «Печатный двор» Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

197110, Санкт-Петербург, Чкаловский пр., 15.